ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+I

СЬЮЗЕН ЗОНТАГ

В Америке



В Америке
Сьюзен Зонтаг

Аннотация
Сьюзен Зонтаг. В Америке
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Аннотация

В центре последнего романа выдающейся американской писательницы Сьюзен Зонтаг «В Америке» — судьба актрисы Хелены Моджеевской, покорившей континенты и ставшей одной из первых театральных звезд мировой величины. «В Америке» — книга уникальная по замыслу и размаху, тонкости прорисовки психологических портретов, это исторический роман и история человеческих страстей. Но превыше прочего эта книга — об актерах и театре, где сценой стали Европа и Америка. Впервые на русском языке.

Сьюзен Зонтаг
В Америке

Этот роман вдохновлен эмиграцией в Америку в 1876 году Хелены Моджеевской, знаменитой польской актрисы, вместе с мужем графом Каролем Хлаповским, пятнадцатилетним сыном Рудольфом, молодым журналистом и будущим автором «Quo vadis» Генриком Сенкевичем и несколькими друзьями; их недолгим пребыванием в Анахайме, Калифорния; и последующей блистательной карьерой Моджеевской на американской сцене под именем Хелены Моджеской.

Вдохновлен — не больше и не меньше. Большинство персонажей романа вымышлены, а невымышленные радикальным образом не расходятся с их реальными прототипами.

Я признательна книгам и статьям Моджеевской и Сенкевича (и о них), откуда почерпнула много материала и биографических сведений. А также искренне благодарна за помощь Паоло Дилонардо, Карле Эофф, Касе Гурской, Питеру Перроне, Роберту Уолшу, и в особенности Бенедикту Йомену. Благодарю также Минду Рей Амиран, Ярослава Андерса, Стивена Барклея, Энн Холлендер, Джеймса Леверетта, Джона Мекстона-Грема, Ларри Макмертри и Миранду Спилер. Особую благодарность приношу Рокфеллеровскому центру в Белладжо, который предоставил мне

месяц работы в 1997 г.
С. 3.

Моим друзьям в Сараево

«Америка будет жить!»

Ленгстон Хьюз

0

Нерешительно, нет, скорее дрожа от холода, я пришла без приглашения на званый ужин в частной гостиной одного отеля. В помещении тоже было свежо, но никто из женщин в вечерних платьях и мужчин во фраках, расхаживающих по длинной темной комнате, кажется, холода не замечал, так что изразцовая печь в углу оказалась в полном моем распоряжении. Я прижалась к этой громадине высотой до самого потолка — я, конечно, предпочла бы очаг с ревущим пламенем, но здесь комнаты обогревались печками, — и принялась растирать щеки и ладони. Немного согревшись (или успокоившись), я отважилась выйти из своего угла. Выглянула в окно и сквозь густую пелену беззвучно падающих снежинок, подсвеченных луной, увидела ряд саней и наемных экипажей. Закутанные в толстые одеяла кучера дремали на сиденьях, а припорошенные снегом лошади застыли со склоненными головами. Неподалеку церковные колокола пробили десять. Несколько гостей собрались у большого дубового буфета рядом с окном. Я прислушалась

к беседе. Они говорили в основном на языке, которого я не знаю (я находилась в стране, где побывала лишь раз — тринадцать лет назад), но почему-то понимала их. Шел бурный разговор о женщине и мужчине — крупица информации, которую я тотчас дополнила тем, что они (а почему бы и нет?) женаты. Далее гости с не меньшим жаром заговорили о женщине и двух мужчинах, и я, не сомневаясь, что это — та же самая женщина, предположила, что если первый из них — ее муж, второй должен быть любовником, и тут же упрекнула себя в отсутствии воображения. Но шла ли речь о женщине и мужчине или о женщине и двух мужчинах, я не могла взять в толк: почему их так горячо обсуждают? Если эта история известна всем, конечно, незачем ее пересказывать. Но, возможно, гости нарочно говорили так, чтобы их сложно было понять, поскольку, предположим, и женщина и мужчина (или оба мужчины) тоже присутствовали на ужине. Поэтому я решила рассмотреть всех женщин в комнате — с пышными прическами и, насколько я могу судить о вкусах того времени, модно одетых — и попыталась найти ту, что среди них бы выделялась. И стоило мне посмотреть на них с такой точки зрения, я сразу ее заметила

и даже удивилась, почему не видела ее раньше. Уже не первой молодости, как говорили тогда о привлекательных женщинах старше тридцати, среднего роста, с прямой спиной, копной пепельных волос с несколькими наспех подоткнутыми непослушными прядями, — писаной красавицей она не была. Но чем дольше я смотрела на нее, тем неотразимее она становилась. Возможно — нет, наверняка она и есть та женщина, которую обсуждают гости. Ее обступали люди; когда она говорила, к ней всегда прислушивались. Показалось, что я расслышала ее имя — не то Хелена, не то Марына. Скорее всего, проще будет разгадать тайну, если я определю участников пары (или тройки), начав, естественно, с имен. И я решила мысленно называть женщину Марыной. Затем перешла к мужчинам. Сначала принялась выискивать человека, который подошел бы на роль ее мужа. Если он любящий супруг, какой, по моим представлениям, должен быть у этой Хелены, то есть Марыны, он при ней находился бы неотлучно. И теперь, не упуская Марыну из виду, я поняла, что именно она устроила званый ужин или ужин устроен в ее честь, и увидела, как за ней по пятам следует худой мужчина с бородкой и красивыми светлыми волосами, зачесанными

назад и открывавшими высокий, выпуклый, благородный лоб. Мужчина любезно кивал каждому ее слову. «Должно быть, это и есть муж», — подумала я. Теперь следовало найти второго мужчину, который, если он любовник (или, что не менее интересно, оказался бы вовсе не любовником), вероятно, моложе этого приветливого аристократа. Если мужу около тридцати пяти и он на год или два младше своей жены, хотя выглядит, конечно, намного старше, то этому человеку, думала я, должно быть около двадцати пяти, он довольно красив и не уверен в себе из-за молодости или, скорее, низкого социального положения, одет несколько безвкусно. Он может быть, например, подающим надежды журналистом или юристом.

Из нескольких гостей, отвечавших подобному описанию, больше всего мне приглянулся дородный малый в очках, который в тот момент, когда я его высмотрела, флиртовал со служанкой, сервирующей широкий стол на другом конце зала лучшим гостиничным серебром и хрусталем. Он шептал ей что-то на ушко, касался ее плеча, теребил за косу. Будет забавно, если именно он и окажется любовником моей пепельной блондинки: не замкнутый холостяк, а отъявленный повеса. «Это наверняка он», — решила я с бес-

печной уверенностью, все же оставив про запас стройного юношу в желтом жилете, слегка «а ля Вертер», — на тот случай, если вдруг приду к выводу, что здесь больше подходит целомудренный или, по крайней мере, осмотрительный ухажер. Затем я переключилась на другую группу гостей, несколько минут напряженно подслушивала, но так и не смогла узнать никаких подробностей этой истории, которую они тоже обсуждали. Возможно, вы подумали, что я уже узнала имена обоих мужчин. Или хотя бы мужа. Но никто из тех, кто обращался к человеку, стоявшему теперь недалеко от меня в толпе, что плотным кольцом окружала женщину (я была убеждена, что это ее муж), ни разу не обратился к нему по имени. Тогда, ободренная неожиданным даром — именем женщины (да, возможно, ее звали Хелена, но я сказала себе, что она должна быть Марыной), я решила узнать его имя без подсказок. Как его, мужа то есть, могут звать? Адам. Ян. Зигмунт. Какое имя подошло бы ему идеально? Ведь у каждого человека есть такое — обычно это имя, полученное при рождении. Наконец, я услышала, как кто-то назвал его… Каролем. Не могу объяснить, почему это имя не понравилось мне; возможно, меня раздражало, что никак не удается постичь

тайну, и я попросту срывала досаду на этом человеке с вытянутым бледным лицом правильной формы, для которого родители подобрали столь благозвучное имя. Поэтому, несмотря на то что имя мужчины я расслышала четко, в отличие от имени его жены (Марыны или Хелены), я постановила, что ослышалась, он не может быть Каролем, и позволила себе переименовать его в Богдана. Да, такое имя звучит менее приятно, чем Кароль, на том языке, на котором я пишу, но ничего, я привыкну и надеюсь, что оно будет хорошо «носиться». Затем я мысленно обратилась к другому мужчине — присевшему на кожаную софу записать что-то в блокноте (записка оказалась слишком длинной и предназначалась явно не для служанки). Его имени я еще не слышала, у меня не было ни верных, ни ложных подсказок, и пришлось выбирать произвольно. Поэтому я превратила его в Ричарда, точнее, в *их* Ричарда — Рышарда. Его «дублера» в желтом жилете (теперь я стала расторопнее) назвала Тадеушем; хотя уже начинало казаться, что от него не будет никакого проку, по крайней мере в этой роли, но проще дать ему имя сейчас, пока я в настроении. Потом я снова начала прислушиваться, пытаясь вникнуть в смысл истории, которую горячо об-

суждали гости. Речь шла не о том (хотя бы это стало ясно), что женщина собиралась бросить мужа ради другого мужчины. В этом я была уверена, если даже писака на софе — действительно любовник дамы с пепельными волосами. Я знала, что на этом ужине непременно должно быть несколько романов и адюльтеров, как в любом зале, переполненном оживленными, франтовато одетыми людьми — друзьями, коллегами и родственниками. Но хотя именно этого ждешь от рассказов о женщине и мужчине или о женщине и двух мужчинах, в тот вечер гости обсуждали другую проблему. Вот что я слышала: «Ее моральный долг — остаться. Это безответственно и…» — и еще: «Но он попросил его поехать раньше. Правильно, что он…» — и еще: «Но ведь каждая возвышенная идея сродни безумству. В конце концов, она…» — и решительное: «Да хранит их Господь!» Последнюю фразу изрекла пожилая дама в розовато-лиловой бархатной шляпке, после чего перекрестилась. Едва ли так обсуждают любовные интриги. Но, подобно некоторым, эта история несла на себе отпечаток безрассудства и привлекала как критиков, так и доброжелателей. И если поначалу интрига касалась только женщины и мужчины (Марыны и Богдана) или

женщины и двух мужчин (Марыны, Богдана и Рышарда), то теперь казалось, что в ней участвуют не только эти двое или трое. Некоторые гости, стоя с бокалом в одной руке, говорили, жестикулируя другой: *мы* (а не *они),* и я услышала другие имена: Барбара, Александр, Юлиан и Ванда. Эти люди, похоже, не принадлежали к числу оценивающих наблюдателей, но являлись участниками самой истории, даже заговорщиками. Возможно, я слишком забегаю вперед. Но мысль о заговоре сама собой приходила в голову. Ведь этих людей, несмотря на весь шик и роскошь, угораздило родиться в стране, которую несколько десятков лет всячески угнетали три иноземных оккупанта.

И многие простые действия — те, что в моей стране считаются нормальным проявлением свободы, — носили бы там заговорщический характер. И если даже то, что они сделали или планировали сделать, было легальным, мне все равно удалось понять, что в этой истории о женщине и мужчине или о женщине и двух мужчинах (имена вы знаете) участвует немало других людей, включая тех, кто продолжал спорить, «правильно» это или «неправильно». Не знаю, почему заключила эти слова в кавычки. Наверное, не только потому, что услышала их

от других, но еще и потому, что в наше время такие слова произносят не столь уверенно, люди даже просят прощения, употребляя их, если, конечно, вы не самодовольный фанатик или сторонник кровной мести. А обаяние тех людей и того времени как раз в этом и состояло — они знали, или думали, что знают, как «правильно», а как «неправильно». Они бы почувствовали себя обнаженными без этих своих «правильно — неправильно» и «хорошо — плохо», которые продолжают влачить грустное посмертное существование в наше время, наряду с полностью дискредитированными «цивилизованный — варварский», «благородный — вульгарный» и непонятными сейчас «бескорыстный — эгоистичный». Простите за кавычки (скоро я перестану их ставить), просто я хочу придать этим словам их собственное, острое звучание. И мне пришло в голову, чем можно отчасти объяснить мое присутствие в этой комнате. Меня тронуло то, как они обращались со словами, полагая, что те обязывают их к определенным действиям. Только искренность и пыл слышались в их негромких «должны ли мы», «они не должны», «как он может», «как она может», «как они могут», «будь я на их месте», «она все равно имеет право», «но честь

требует»… Я наслаждалась, слушая эти повторения. Осмелюсь ли сказать, что чувствовала себя заодно с теми людьми? Почти заодно. Эти грозные слова, которых боялись другие (но только не я), ласкали слух. Я погрузилась в приятное оцепенение, меня уносила их музыка… пока лысый мужчина с заостренной бородкой не заметил с резкостью, которой дотоле не звучало: «Конечно, смогут, если она захочет. Ведь он богач». Глоток отрезвляющей реальности. О чем бы ни спорили они, это предприятие требовало денег, причем крупных. Далее, казалось более чем вероятным, что никто здесь не был особенно богат — хотя у одного имелся дворянский титул (у того человека, которого я посчитала мужем), и все они щеголяли традиционными символами процветания. Еще одно свидетельство их социального положения: в разговоре они постоянно сбивались на один иностранный язык, на котором я хорошо говорю. Ибо я знала, что в это время и в этой части света мелкопоместное дворянство, а также представители свободных профессий часто беседовали на языке авторитетной и далекой Франции. И не успела я почувствовать облегчение от того, что там и тут слышалась французская речь, как женщина с пепельными волосами, моя Марына,

воскликнула: «Все, давайте больше не будем говорить по-французски!» Какая жалость, ведь она говорила по-французски живее всех! У нее был глубокий грудной голос, который восхитительно замирал на последних гласных. И двигалась она так же, как говорила, в присущем лишь ей одной ритме: делая паузы в конце каждого плавного жеста, каждого ловкого поворота уже не стройного тела, когда она переходила от одной группки гостей к другой, словно собирала дань уважения. Но иногда Марына казалась раздраженной. И порой мне было заметно (уж не знаю, замечал ли это кто-нибудь еще), что она очень устала. Может, недавно болела? Она редко улыбалась, разве что маленькому мальчику, — забыла сказать, что в комнате находился ребенок со взрослым взглядом и белокурыми волосами, и пришлось предположить, что это сын Марыны. Он был очень похож на мать, но совершенно не походил на человека, которого я выбрала ее мужем и назвала Богданом, что заставило меня засомневаться, не ошиблась ли я мужчиной. Но часто случается, что в детстве человек похож на одного из родителей, а в зрелом возрасте — на другого и не являет уникальной замысловатой смеси черт их обоих. Мальчик пытался привлечь к себе внимание Марыны.

Где же его нянька? И не пора ли ребенку (ему было около семи) ложиться спать? Эти вопросы напомнили о том, как смутно я представляла себе их жизнь за пределами этой большой, холодной комнаты. Наблюдая за ними на званом ужине, где все старались быть благовоспитанными и обаятельными, я не могла узнать, например, уснут ли в этот вечер мужья и жены на одной просторной кровати, или на двух кроватях, составленных вместе, или же на двух кроватях, разделенных ковром-пропастью или закрытой дверью. Я волей-неволей догадывалась, что Марына не спит в одной комнате с Богданом, следуя обычаю его, а не своей семьи. И я по-прежнему не могла определить того дела или проекта, правильность или неправильность которого обсуждали гости, даже когда на меня обрушился целый поток новых ключей к разгадке. Теперь они сыпались слишком быстро, и я тоже заключу их в кавычки, но лишь затем, чтобы запомнить: «бросить свою публику», «национальный символ», «нервный срыв», «непоправимо», «благородный дикарь» и «Нипу». Да, Нипу. По счастливой случайности, я читала (во французском переводе) книгу под названием «Приключения мистера Николаса Уиздома», в которой описывается жизнь этого

Уиздома в идеальной, полностью отрезанной от мира общине, расположенной на острове под названием Нипу.

Но я не ожидала, что кто-нибудь здесь вспомнит это классическое произведение их национальной литературы, созданное ровно за столетие до того, как гости собрались в частной гостиной отеля. Этот бесхитростный рассказ о жизни в совершенном обществе, написанный под влиянием Вольтера и Руссо, отражал все причудливые иллюзии минувшей эпохи. Понятно, что собравшиеся далеки от подобных просвещенных взглядов, «Просвещенных» с большой буквы. История их безжалостно разорванной на части страны, думала я, сделала этих людей невосприимчивыми к вере в человеческое совершенствование или идеальное общество. (И навсегда излечила от другой великой Иллюзии с большой буквы: как сказал однажды их величайший поэт, горький опыт научил его страну тому, что «европейское слово не имеет политической ценности. На стороне этой нации, атакуемой грозным врагом, — все книги, все газеты и все красноречие языков Европы; и от всей этой армии слов не исходит ни единого действия».) Но в этой роскошной комнате с высоким потолком и персидскими

коврами, в самом центре величавого древнего города, они вспоминали Нипу — суровый проект простой жизни в идеальной деревенской общине. Я начала сомневаться, не попала ли на сборище запоздалых романтиков (ведь век романтизма давно прошел), и испугалась за них — испугалась тех иллюзий, которые они могли до сих пор питать. Но, вероятно, они были просто необычайно пафосными патриотами. Возможно, следует упомянуть, что я несколько раз слышала слово *отчизна*, но ни разу — *Христос среди народов,* как патриоты того времени обычно именовали свой мученический народ. Я знала, что память о несправедливости окрашивает все чувства этих людей, чья страна исчезла с карты Европы. Меня ужаснул фатальный всплеск националистических и расовых настроений в наше время, в частности (нельзя находиться в двух местах одновременно), судьба одного маленького европейского народа, сплотившегося на клановой основе и за это безнаказанно уничтоженного при молчаливом согласии или попустительстве великих европейских держав (я провела почти три года в осажденном Сараево). Может быть, эти люди так же измучены, как и я, национальным вопросом и предательством,

обманом Европы? Но что означает, когда кого-то — женщину с пепельными волосами, которую я окрестила Марыной, — называют *национальным символом*? Если ее так высоко ценят не потому, что она чья-либо дочь или вдова, а за собственные заслуги, каковы эти заслуги могут быть? Я не вправе переписывать историю: следует признать, что женщина ее времени и ее страны, известная и вызывавшая восхищение у широкой публики, скорее всего, выступала на сцене. Ведь тогда, всего за восемь лет до рождения главной героини моего раннего детства — Марии Склодовской, будущей мадам Кюри, — женщине вряд ли была открыта другая завидная карьера (ведь не может она быть гувернанткой, учительницей или проституткой!). Для танцовщицы Марына старовата. Правда, она могла быть певицей. Но в те времена намного более предпочтительной и патриотичной считалась профессия актрисы. Это объясняло, почему ее миловидность воспринималась окружающими как красота; объясняло ее изящные жесты, властный взгляд и то, как она иногда безнаказанно погружалась в раздумье и грустила. Другими словами, она была *похожа* на актрису. И я сказала себе, что нужно больше доверять очевидному: в большинстве случаев

по людям видно, чем они занимаются. Я наблюдала еще за одним человеком (которого решила называть Хенриком) — худым мужчиной, сгорбившимся в кресле, который слишком много пил. Благодаря своей эспаньолке, естественной позе и меланхолическому взгляду, он был похож на доктора из чеховской пьесы, которым вполне мог оказаться на самом деле, поскольку в те времена имелось много шансов встретить врача в любом образованном обществе. И если Марына действительно актриса, то наверняка здесь находились и другие люди театра: скажем, исполнитель главной роли в ее нынешней пьесе, — я выбрала высокого безбородого мужчину со звонким голосом, который почему-то начал задирать Тадеуша, — но вряд ли здесь были другие актрисы, по крайней мере, ровесницы Марыны (они стали бы соперницами). Вполне вероятно, нашелся бы генеральный директор главного городского театра, где Марына каждый год оживляла сезоны своими гастрольными выступлениями. И она могла безошибочно причислить к своим друзьям театрального критика, всегда готового написать восторженную рецензию, которой она заслуживает (его давно, впрочем, мягко отвергли). Далее, как и приличествует светскому рауту, кто-то

должен быть банкиром, а кто-то — судьей…

Возможно, я опять забегаю вперед. Я повернулась к печке и, глубоко вздохнув, приложила руки к горячим темно-зеленым изразцам, хотя, на самом деле, мне уже не было холодно, а затем вернулась к окну и стала всматриваться в темноту. Шел снег с градом, который барабанил по стеклу. Когда я обернулась взглянуть на гостей, полный мужчина с лорнетом сказал: «Послушайте!» Никто и не думал его слушать. *«Mes enfants*[1] — взревел он, — вот как стучит град. А не как сухой горох, что сыплется на литавры!» Марына улыбнулась. Я тоже улыбнулась, но по другой причине (мою правоту подтвердили): все же я находилась среди людей театра. Я решила, что этот человек — режиссер, потому что он так беспокоился насчет эффектов. И окрестила его Чеславом, в честь своего любимого современного поэта. Перейдем к остальным участникам, сказала я себе с растущей уверенностью. Нужно установить личности оставшихся женщин — шестеро из них могли быть женами исполнителя главной роли, директора театра, критика, банкира, судьи и режиссера. Взъерошенный доктор (я приняла его за

---

[1] Примечания: 1

Дети мои *(фр.). — Здесь и далее прим. переводника.*

доктора, потому что он был похож на Астрова из «Дяди Вани») показался не просто неженатым, но и вообще неспособным жениться. (Мне пришлось оставить своего Рышарда тоже холостым, чтобы он мог свободно флиртовать и томиться от любви, хоть я и подозревала, что в более зрелом возрасте он окажется не только способным жениться, но и трижды женатым.) Затем, вернувшись к женщинам, я на мгновение остановилась и задумалась, правильную ли оценку дала Марыне. Если она добилась достаточно большого успеха, чтобы держать под боком бывшего наставника, но еще не настолько стара, чтобы побаиваться молодежи, то все же могла включить в круг своих друзей одну молодую актрису. И я быстро ее нашла — бледную хрупкую женщину с большим медальоном на груди: она постоянно откидывала назад каштановые волосы жестом, очень напоминающим Марынин. Да, ведь одна из женщин могла оказаться близкой родственницей, и та, которая была настолько похожа на Богдана, что я приняла ее за его сестру, в этот самый момент разговаривала с доктором, склонившись над его креслом; думаю, она заметила, что он немного пьян. Мне стало интересно, есть ли здесь евреи, например, молодой художник Якуб, который

недавно вернулся из Рима, где два года посещал космополитическое художественное общество. Но, насколько я могла судить, здесь находился только один художник, да и тот не еврей, по имени Михал: рыжеволосый хромой мужчина лет тридцати, который потерял ногу в восемнадцать лет во время Восстания. Наконец, на таком ужине должны присутствовать как минимум два иностранца. Но, внимательно разглядывая гостей, я сумела найти только одного, которого уже приметила: упитанного мужчину с окладистой бородой и бриллиантом в галстуке. Несколько человек, стоявшие у другого высокого окна, говорили с ним по-немецки. Он мог быть импресарио, который собирался предоставить юной протеже Марыны ангажемент на ряд маленьких ролей в его венском театре следующей весной. Я предположила, что он приехал из Вены, потому что узнала акцент (у меня хорошая слуховая память), несмотря на то что никогда не училась говорить или понимать по-немецки. Конечно, я не удивилась тому, как превосходно все они владели языками; образованные люди этой страны, вновь появившейся на карте Европы лишь восемьдесят лет назад, и поныне слывут полиглотами. Однако же я, владея только романскими языками (я чуть-

чуть разбираюсь в немецком, знаю названия двадцати видов рыб по-японски, нахваталась немного боснийского и не знаю почти ни слова на языке той страны, в которой находился этот дом), каким-то образом умудрялась понимать большую часть разговора. Но по-прежнему не понимала, о чем же шла речь в действительности. Ведь если даже я права (в отношении того, кто был актрисой, кто режиссером и так далее), это нисколько не поможет мне постичь суть их спора: правильным или неправильным было то, что женщина, Марына, и мужчина, Богдан, или двое мужчин, Богдан и Рышард, делали или собирались сделать. (Как видите, я обошлась без своих маленьких костылей — кавычек.) Но даже те, кто считал это неправильным, смягчали свои суждения, когда дело касалось Марыны.

Видно было, что ею восторгались все, а не только муж и человек (Рышард или, возможно, Тадеуш), который мог быть, а мог и не быть любовником. Я не сомневалась, что все мужчины и некоторые женщины хотя бы чуточку влюблены в Марыну. Но это больше (или меньше), чем любовь. Они очарованы ею. Интересно, а я могла бы очароваться ею, будь я одной из них, а не просто наблюдателем, который пытается их

вычислить? И я решила, что у меня достаточно времени для их чувств, для их истории, равно как и для моей собственной. Они казались, — и я поклялась быть похожей на них, выступая от их имени, — неутомимыми. Но я по-прежнему испытывала нетерпение. Ждала скорой развязки: хотела услышать какую-нибудь фразу, которая подсказала бы, в чем подспудный смысл их забот. Возможно, я прислушивалась слишком жадно. Возможно, вместо этого следовало поразмыслить над тем, что я уже узнала. (В голове вертелась фраза «нервный срыв».) Возможно, мне нужно просто уйти. (А как же «бросить публику»?) Возможно, если бы я спустилась по лестнице, вышла в метель и немного прогулялась (или попросту посидела бы в сугробе рядом с кучерами на козлах и их терпеливыми лошадьми), мне бы удалось понять, что же их так занимало. Признаюсь, хотелось глотнуть свежего воздуха. Когда я вошла в комнату, никто из гостей не обращал внимания на холод, а теперь они не обращали внимания на жару. Церковные колокола пробили одиннадцать раз, затем я услышала далекое нестройное эхо других городских церквей. Толстая, краснощекая женщина в таком же красном переднике вошла с охапкой дров, проскользнула мимо, открыла ма-

ленькую дверцу печки и подбросила их в огонь. Хорошо, если исправно работает вытяжная труба, поскольку я ничего не ждала от газовых рожков — газ подавался неравномерно, рожки протекали и шипели, как было всегда до открытия природного газа. Я человек эпохи неона и галогена, поэтому должна была оценить по достоинству цвет газового пламени, но, в отличие от людей в этой комнате, я не привыкла к его едкому запаху. Ну и, конечно, многие мужчины курили. Рышард рисовал карикатуры на гостей, развлекая сонного ребенка, которого я приняла за сына Марыны, и попыхивал большой, украшенной богатой резьбой пенковой трубкой — как раз таким фетишем и должен обладать неуверенный в себе, амбициозный молодой человек. Несколько пожилых мужчин курили сигары «Вирджиния». А Марына сидела теперь в большом кресле с подголовником и держала в томной руке длинную турецкую сигарету — довольно сомнительное пристрастие, правом на которое может обладать лишь прославленная актриса. Она могла бы даже носить брюки, как Жорж Санд, если бы захотела, и я прекрасно представляла ее в роли Розалинды; из нее получилась бы чудесная Розалинда, хоть она и старовата для этой роли, но возраст не

помеха для знаменитой актрисы: пятидесятилетние женщины выступали и добивались триумфа в роли Джульетты. Я могла также представить Марыну в роли Норы и Гедды Габлер, поскольку это эпоха Ибсена… Но, возможно, ей хотелось бы сыграть Гедду ничуть не больше, чем леди Макбет. В таком случае она не была бы поистине великой актрисой, которая никогда не боится играть чудовищ. Я надеялась, что благородство или самоуважение не умаляют ее артистических достоинств. Она разговаривала с импресарио из Вены, который осторожно улыбался, а все остальные подтягивались ближе, послушать их. Мой Тадеуш наконец-то избавился от велеречивого исполнителя главной мужской роли — их последние слова: «Чистое безумие» (актер) и «Нет ничего непоправимого» (Тадеуш) — и стоял теперь у кресла Марыны, сунув большие пальцы рук в проймы своего желтого жилета: абсолютно не вертеровский жест. Но кто стал бы упрекать его в том, что он вышел из роли, что он счастлив и уверен в себе, потому что стоит рядом с ней? Рышард, оставаясь немного в стороне, снова вынул блокнот. Она подняла глаза и спросила: «Что вы пишете?» Он поспешно спрятал блокнот в карман и пробормотал: «Ваш словесный портрет.

Вставлю его в роман, — он покачал головой, — если, конечно, у меня будет время писать роман, учитывая, что нам предстоит». Человек, которого я приняла за театрального критика, хлопнул его по спине. «Еще одна причина, молодой человек, не пускаться в эту глупую затею», — сказал он жизнерадостно. Но Марына уже опустила глаза. Она обращалась к импресарио со спокойствием повелительницы. «Это вовсе не так хорошо», — сказала она. Передо мной представала властная женщина, которой не нужно было никого убеждать, слово которой закон.

Помню, как я в первый раз увидела вблизи примадонну: более тридцати лет назад, я только приехала в Нью-Йорк, была без гроша в кармане, а богатый поклонник пригласил меня обедать в «Лютецию». И вскоре после того, как на моей тарелке оказались первые лакомства, моим вниманием завладела (подумать только!) чем-то знакомая женщина с высокими скулами, черными как смоль волосами и полными, ярко накрашенными губами. Она обедала за соседним столиком с пожилым мужчиной, которому громко говорила: «Мистер Бинг. [*Пауза.*] Или мы будем

работать, как работает Каллас,[2] или не будем работать вообще». И этот мистер Бинг умолк на несколько минут — я тоже. Теперь я знала, что и Марына, моя Марына, временами ведет себя подобно Каллас, если она та, за кого я ее приняла. Впрочем, сегодня вечером, в кругу друзей, она предпочитала действовать лестью. Но я замечала, как ее серо-голубые глаза расширялись от раздражения. Как ей, должно быть, хотелось (кажется, я начинала ее понимать), как ей хотелось встать с кресла и выйти из комнаты, приведя всех в замешательство! Сбежать, уйти со сцены, но не подышать свежим воздухом, как хотела я. Ибо я с удовольствием улизнула бы на четверть часа и даже побродила бы под градом — хотя обычно боюсь холода (я выросла в южной Аризоне и Калифорнии). Но я не отваживалась уйти из страха пропустить какую-нибудь фразу, которая все для меня прояснила бы. И сейчас настал самый неподходящий момент, чтобы выйти на заснеженную улицу. На дальнем конце длинного стола метрдотель подал украдкой сигнал Богдану, а четверо официантов почти одновременно наклонились и зажгли четыре тройных сереб-

[2] Примечания: 2

Мария Каллас(1923–1977) — американская оперная дива (профессиональный псевдоним: Мария Анна София Сесилия Калогеропулос).

ряных канделябра. Марына встала, разгладила одной рукой свое серо-зеленое платье, а другой затушила сигарету. «Дорогие друзья, — начала она. — Вы так долго ждали. Так долго терпели». Она лукаво глянула на Богдана. «Да», — ответил он. К выражению супружеской заботливости на его лице добавилась неспешная нежность, и он взял жену за руку. Как хорошо, что я пересилила себя и осталась на месте! Я надеялась, что, как только гости сядут за стол, подслушанные обрывки разговора сольются воедино и я наконец пойму, чем же они так увлечены. Ведь я даже допускала, что каждый, кто поворачивался, вставал, медлил и боком пробирался к длинному столу в конце комнаты на первом этаже отеля (в моей стране это был бы второй этаж), посвящен в это дело или план. Но сколько бы их ни оказалось, если в некоем деле участвуют даже только двое, кто-то из них несет больше ответственности (хотя никто от нее не освобождается полностью: дал согласие, значит, принял ответственность). А если участников, например, двадцать, — я насчитала двадцать семь человек в комнате, — то один человек не только понесет больше ответственности, но и станет у руля, как бы этот человек, если он — женщина, ни отрекался от звания вождя.

Однако чем объяснить, почему люди за кем-то следуют? Или не менее трудный вопрос: почему люди отказываются за кем-то следовать? (Когда пишешь, то одновременно идешь за кем-то и ведешь за собой.) Я наблюдала, как все подчинились долгожданному приказу сесть за стол. Я не возражала просто наблюдать и слушать, я никогда не возражаю, особенно на званых ужинах; но я могла представить, что если бы гости знали о моем присутствии, о приходе столь экзотической незнакомки, то усадили бы меня за стол. (Мысль о том, что меня могли выгнать на заснеженную улицу, даже не приходила в голову.) Непрошеная и невидимая, я могла сколько угодно смотреть, даже разглядывать их: подобной невежливости я обычно избегаю, поскольку это может повлечь за собой ответный пристальный взгляд.

В детстве, как и многим единственным детям в семье, мне часто хотелось стать невидимкой, чтобы удобнее было наблюдать — точнее, чтобы за мной никто не мог наблюдать. Но иногда я играла в слепую. В тринадцать лет, когда мои родители собрали скромные пожитки и перебрались из Тусона в Лос-Анджелес, прогулки по новому дому с закрытыми глазами, когда я оставалась одна или когда за мной не следили, были

моей любимой игрой. (Самым незабываемым приключением, связанным со «слепотой», стал полуночный поход в ванную во время землетрясения.) Мне нравится, когда все зависит только от меня. Когда приходится преодолевать трудности. «Пора бы уж», — раздраженно прошептал судья своей жене. Она улыбнулась и приложила два пальца к губам. «А мороженое будет?» — спросил мальчик. Гости подходили к столу, и Рышард протискивался вперед — ему не терпелось узнать, насколько близко к Марыне он будет сидеть. Тадеуш следовал за ним по пятам, но Рышард, ускорив шаг, добрался до стола первым. Я видела, как он бегло просмотрел свою карточку с указанием места, и по его усмешке поняла, что он остался доволен. Как только гости расселись и начали разворачивать накрахмаленные салфетки, официанты принялись разносить изысканные первые блюда. Я тоже подошла в эту часть комнаты и села, скрестив ноги, в проеме высокого окна. Пока я пыталась во всем разобраться, первые же слова, произнесенные за столом, заглушили те, что звучали у меня в голове: «щавелевый суп», «карп по-еврейски», «запеченный морской язык», «хряковина в вишневом соусе»… кавычки обозначают лишь то, что у меня сейчас не хватает

терпения описывать; время еще будет, когда я пойму суть истории. Хотя я знала, что их заставили ждать (как и меня, но в другом смысле), меня удивило немного, что все они недолго думая набросились на еду. Может, я ожидала, что они прочтут молитву? Наверное, да. И действительно, невзрачная сестрица Богдана долго шептала что-то про себя перед тем, как взяться за вилку, — наверняка молилась. Я надеялась, что им еще не надоело спорить, хотя в данный момент все были увлечены роскошной едой. За столом — целый спектр поведения: от разборчивости до жадного поглощения пищи, с яркими комментариями по поводу еды и даже вьюги. Господи боже, только не о погоде! Вернитесь, возвышенные идеалисты, которых я вызвала из прошлого! Если быть точным, ели не все. Доктор, например, предпочел второму блюду венгерское вино и шампанское. («Индейка, фаршированная грецкими орехами», «запеченный черный тетерев с куропатками»…) А молодая актриса, не отрывая глаз от чистейшего, гладкого лица Марыны, жевала очень и очень медленно; она почти не прикоснулась к еде. Подобно ей и большинству других гостей, мне было трудно не сосредоточить все внимание на Марыне. Интересно, сколько ей лет на самом

деле; ведь она все-таки актриса. Если бы дело происходило в наше время, я сказала бы, что ей за сорок (полная грудь и тяжелый подбородок, размеренные движения, широкое платье). Но даже состоятельные люди тогда старели быстрее, каждый небедный человек страдал, по нашим меркам, от избыточного веса, и я дала ей не больше тридцати пяти. Я еще не рассказала, как прикидывала возраст людей, находящихся в комнате: поскольку Рышарду на вид где-то под сорок, ему должно быть двадцать пять, и так далее. Совершая путешествие в прошлое, я рассчитывала столкнуться там с некоторыми неудобствами (высоченная закрытая печка вместо пылающего камина не выше пояса), поправками (чтобы определить возраст человека старше двадцати, необходимо вычесть десять лет), а также с приятными неожиданностями и озарениями. Беседа плавно перетекла от шуток насчет еды к шумным восхвалениям сегодняшнего выступления Марыны. Она принимала комплименты со скромностью, казавшейся столь же суровой, сколь и притягательной. «Это было великолепно!» — восклицал Рышард с раскрасневшимся от восторга лицом. «Вы превзошли себя, если такое возможно», — говорил молодой художник. «Она всегда

превосходит себя», — снисходительно, с упреком возразил исполнитель главной роли. Марына не участвовала в этих слюнявых славословиях, сидела совершенно неподвижно (казалось, она почти не дышит), поднеся к левой щеке батистовый платок. «*E sempre brava*»[3], — доверительно сказал доктор озадаченному официанту, который вновь наполнил его бокал.

После паузы в разговоре, когда все принялись еще самозабвеннее поглощать пищу (я, конечно, ждала чего-то большего), встал, пошатываясь, критик с рюмкой водки в руке. «За вас, мадам». Все, кроме Марыны, подняли бокалы. «За сегодняшний триумф!» Доктор поднес бокал ко рту. «Постойте, не спешите так, Хенрик! — воскликнул критик с притворной суровостью. — Я еще не закончил». Доктор со вздохом отвел руку в положение для тоста. Критик прочистил горло и произнес нараспев: «И за то возвышенное, патриотическое искусство, которое вы почтили своей красотой и гением. За театр!» Марына, поджав губы, кивнула ему и остальным, а затем прошептала что-то импресарио, сидевшему справа. «Это нечестно — три тоста под видом одного! — весе-

---

[3] Примечания: 3
Она всегда великолепна (*um.*).

ло сказал доктор. — Три тоста — это три глотка вашей превосходной водки!» Он окликнул официанта. «Только не подумайте, дорогая Марына, что я не разделяю от всей души только что выраженных чувств», — сказал он, когда его рюмку наполнили, затем снова поднял тост: «За ваше завтрашнее выступление!» И осушил рюмку снова. Потом встал Богдан, сидевший на другом конце стола. «Чтобы не досаждать нашему жаждущему другу, — сказал он, — я ограничусь лишь одним тостом. И этот тост будет… — он поднял бокал, — за дружбу!» «Одобряю!» — выкрикнул Рышард. «Да, — сказал Богдан, — за дружбу и братство». Братство, подумала я. Что это означает? «Только посмотрите, и он туда же!» — прокричал доктор, поднес водку к губам и так жадно ее проглотил, что даже пролил немного на льняную рубашку. «И выпить по-человечески не может», — со смехом воскликнул судья. «Это я-то не могу?» — возмутился доктор, вытирая рот. Все засмеялись, кроме Марыны и Богдана. «Я хочу выпить за то, — торжественно сказал Богдан, — что мы способны совершить вместе». Аплодисменты. «Одобряю! — сказал Тадеуш. — Я готов». Неловкая пауза, во время которой все взоры обратились к Марыне. Она взяла бокал и

прижала его ко лбу. Затем, не вставая, подняла над головой. «Я хочу предложить один тост, а не три под видом одного, — она нежно улыбнулась Богдану. — Я пью за одно… разделенное на три. Которое когда-нибудь станет одним… — Драматическая пауза. — За нашу родину!» Раздался взрыв аплодисментов. «Браво!» — воскликнул художник. Все эти тосты на публику, в конце концов, нагнали на присутствующих уныние. Мальчик (Петр? Роман?) встал со стула, на цыпочках подошел к Марыне и прошептал ей что-то на ухо. Она покачала головой, немного раздраженно (как ни печально об этом говорить), и он вернулся на свое место рядом с сестрой Богдана, которая взяла его на руки, и он уснул у нее на груди. Из последовавшего неясного разговора я почти ничего не запомнила. Наверное, просто задумалась, закрыла глаза, чтобы впотьмах подняться на следующую ступеньку. «Вы дали мне много пищи для размышлений», — сказал чей-то угрюмый голос. «Конечно, я хочу расширить свой кругозор», — произнес мелодичный голос. «Никаких дурных предчувствий?» — спросил раздражительный, самоуверенный голос. «Как я восхищаюсь вами!» — воскликнул печальный голос. «Непоправимо», — вновь услышала я. И

открыла глаза. Возможно, это произнес доктор, обхвативший голову руками. Я что-нибудь пропустила? В голову полезли дурацкие мысли. Уловив обрывок фразы (это все, что я запомнила): «…вместе с моим молочным братом Мареком, их сыном», и увидев, что ее произнес мужчина с пухлыми небритыми щеками, сидевший рядом с женой банкира, я подумала: как жадно ты, наверное, припадал в детстве к груди крестьянки-кормилицы! Поглощение пищи казалось нескончаемым, и я не следила за подачей блюд, предположив, что это был «трехактный» ужин *a la française*[4]. Я могла в любой момент заглянуть в маленькое, написанное от руки меню, что прилагалось, подобно театральным программкам, к каждому прибору, и можно было посмотреть, сколько еще осталось. Словно прочитав мои мысли (несмотря на то что я сама должна была читать его мысли), Богдан пробормотал: «Нам не нужны такие обеды. Лично я предпочел бы что-нибудь попроще». Я надеялась, что они уже приближаются к десерту. Богдан положил вилку и нож. *«Quo vadis?»*[5] — спросил судья. «Камо грядеши?»

---

[4] Примечания: 4
По-французски *(фр.).*

[5] Примечания: 5
«Куда идешь?» *(лат.).* Название романа Г. Сенкевича.

— улыбнулся Рышард и вынул блокнот. «Да, куда. И как? — произнес банкир. — Все нужно хорошо продумать. Для спешки нет причин». На миг наступила тишина, словно бы все действительно задумались. Затем я услышала монотонный голос, который пел примерно следующее:

С высоты гор, с тяжелым, страшным крестом на плечах,

Они видели вдалеке землю обетованную.

Они видели голубой свет в долине,

К нему устремлялся их народ…

Песню исполняла пожилая женщина в розовато-лиловой шляпке. «Нам нужно фортепьяно, — перебил ее режиссер. — Я могу слушать эти стихи только на музыку Шопена». Казалось, пожилая дама обиделась. Я так и не выяснила, была ли она чьей-то женой или незамужней тетушкой, возможно Богдана. «Прошу вас, продолжайте», — попросила юная актриса Крыстына (я забыла сказать, что узнала ее имя). «Именно это я и намеревалась сделать», — резко сказала пожилая дама. «Чем кончилось? — воскликнул художник. — Вы же прекрасно знаете». И он продолжил своим звучным баритоном:

Но сами они не дойдут, не дойдут?
И никогда не попадут на пир жизни,
И будут, возможно, забыты навеки.

Он прекрасно читал. «Вот именно», — сказала пожилая женщина. То, что произошло потом, немного сбило всех с толку. Марына воздела руки и продекламировала своим пылким контральто:

Как движется к земле морской прибой,
Так и ряды бессчетные минут,
Сменяя предыдущие собой,
Поочередно к вечности бегут[6].

В первый момент я даже не поняла, что читает она по-английски. Трудно сказать, какой язык мне послышался, на этом ужине я не удивилась бы любому (за исключением русского — языка самого ненавистного из трех угнетателей этого народа). Еще один иностранный язык, которого я не знаю, но в этот вечер почему-то понимаю? Тем временем юная актриса внезапно начала:

Давай же думать, как нам убежать,
Куда идти и что нам взять с собой.

---

[6] Примечания: 6
У. Шекспир. Сонет 60 *(пер. С. Маршака).*

Не пробуй на себя одну взвалить
Несчастий бремя, отстранив меня.
Клянусь я небом, побледневшим с горя;
Что хочешь говори — пойду с тобой[7].

Ясный голос задрожал и замер. Если вы знакомы с пьесой «Как вам это понравится», то, должно быть, узнали эти строки, — разумеется, она играла Селию в паре с Марыной-Розалиндой, — хотя слова я разобрала с трудом, поскольку акцент у нее был еще сильнее, чем у Марыны. Сама Марына казалась недовольной. «Я испортила прекрасный английский Шекспира», — сказала она театральному критику, сидевшему слева. «Вовсе нет! — воскликнул он. — Вы читали превосходно». «Нет», — резко оборвана она. И это было правдой. Возможно, дела у них пойдут лучше, если они начнут больше говорить по-английски. Именно этим, по моим предположениям, они и собирались заняться, если я хоть немного разобралась в том, что они обсуждали. Несомненно, они и впредь говорили бы по-английски с акцентом, как многие люди в моей стране, как мои прапрадедушка и прапра-

---

[7] Примечания: 7
«Как вам это понравится», акт I, сцена 3 *(пер. Т. Щепкиной-Куперник).*

бабушка (по материнской линии) и прадедушка и прабабушка (по отцовской линии), несмотря на то что их дети, естественно, говорили уже без акцента. Ведь нужно сказать (и почему бы не сейчас?), что оба моих дедушки и обе бабушки родились в этой стране (то есть в стране, которой не существовало уже лет восемьдесят), и родились приблизительно в тот самый год, в который я мысленно перенеслась и очутилась в этой комнате послушать старинные разговоры. Впрочем, родители той пары, что произвела на свет меня, были совершенно не похожи на этих людей — бедные несветские поселяне: коробейники, трактирщики, лесорубы и талмудисты. Предположив, что евреев здесь нет, я все же надеялась (новая мысль), что не услышу ни от кого антисемитских выпадов; так и случилось, и я интуитивно догадалась, что все присутствовавшие, скорее «семитофилы». Тот факт, что именно из этой страны мои предки отбывали в переполненном трюме третьего класса, едва ли связывал меня с этими людьми. Хотя вполне возможно, что название страны нашло отклик в моей душе и притянуло именно сюда, а не в какую-нибудь другую комнату; не удалось мне представить гостиную отеля той же эпохи в Сараево, и пришлось

вернуться туда, где я остановилась. Но прошлое — самая большая страна на свете, и есть причина, по которой мы поддаемся искушению поместить свои рассказы в прошлое: нам кажется, что почти все хорошее остается в прошлом, возможно, это иллюзия, но ностальгирую по всем эпохам, предшествовавшим моему рождению. В прошлом мы свободнее от современных запретов, наверное, потому, что не в ответе за прошлое, ведь иногда мне просто стыдно за то время, в котором живу. И это прошлое тоже станет настоящим, потому что я сама рассыпала семена предсказаний в частной гостиной отеля. Я не принадлежала этому кругу, была здесь чужой, мне приходилось наклоняться, чтобы расслышать слова, и я не все понимала, но даже то, чего я недопонимала, было своего рода истиной, хотя и не того времени, в котором происходило действие, а, скорее, того, в котором живу я. «Мы всегда должны требовать от себя большего, — услышала я суровый голос Марыны. — Всегда. Или это относится только ко мне?» Ее слова подкупали. У меня слабость к серьезным энергичным людям. Будь Марына персонажем романа, мне захотелось бы наделить ее чем-то от Доротеи Брук (помню, как я

первый раз читала «Миддлмарч»[8]: недавно мне исполнилось восемнадцать, я одолела третью часть книги и вдруг расплакалась, поняв, что я не только сама была Доротеей, но и несколько месяцев назад вышла замуж за мистера Касобона), но в этой женщине с пепельными волосами и искренними, внимательными серо-голубыми глазами не было ни покорности, ни стремления стушеваться. Она хотела делать добро другим людям, но не забывала и о себе. Для женщины, мечтающей попасть на сцену, пол не мог служить помехой: она состязалась и побеждала. Но казалось, что я смогу смириться с ее тщеславием и эгоизмом, если у нее сохранится стремление к самосовершенствованию — а стремление это у нее было, судя по контрасту между нетерпеливым, настороженным выражением лица и странной привычкой держаться совершенно неподвижно.

Трудно представить, что кто-то мог бы подобным образом описывать меня — как я уютно примостилась в глубокой амбразуре окна. На самом деле я очень импульсивна (я вышла замуж за мистера Касобона через десять дней после знакомства с ним) и люблю иногда рисковать. Но

[8] Примечания: 8

Роман известной английской писательницы Джордж Элиот (1819–1880).

я также склонна долго отсиживаться в углу, этого требуют мои обязанности (девять лет я не могла решить, имею ли право — моральное право — развестись с мистером Касобоном), поэтому мне не составило труда снисходительно отнестись к этим людям, занятым своим обедом и спорами о будущих действиях. Никто не суетился. Никаких шалостей под скатертью. Никто никуда не исчезал, за исключением, конечно, маленького мальчика, который свернулся на коленях у второй женщины и потирал глаза, вместо того чтобы укрыться одеялом у себя в кроватке. Наверное, он единственный ребенок в семье и зачем-то понадобился матери сегодня вечером, хотя я не заметила, чтобы она обращала на него внимание последние два часа за столом. Несмотря на всплески воодушевления насчет занимавшего их предмета, гости казались слишком невозмутимыми. Чем объяснить их неподвижность? Жирной пищей, которую продолжали выставлять на стол? Извечной бесплодностью мыслящих классов? Тяжеловесностью конца девятнадцатого столетия? Моей собственной неохотой представить что-нибудь поживее? Правда, еще не поздно для настоящего, живого события. С кем-нибудь мог бы случиться сердечный приступ, кто-нибудь мог

ударить соседа по голове, зарыдать и разохаться или плеснуть вином в лицо обидчику. Но это казалось столь же невероятным, как если бы я спрыгнула с подоконника и пустилась в пляс на столе, плюнула в суп, погладила чье-нибудь колено или укусила кого-нибудь за лодыжку. Затхлые мысли, хочется глотнуть свежего воздуха. По сигналу Богдана официант открыл окно в дальнем конце комнаты, где я притаилась, когда вошла. В комнату ворвались уличные крики и лошадиное ржание. Судя по звону церковных колоколов (и по моим часам тоже) было уже за полночь, и, признаюсь, это начинало меня беспокоить. В отличие от присутствующих, я не была сегодня в театре на семичасовом спектакле и, конечно, жалела, что не видела его. Некоторые, наверное, тоже беспокоились. Но никто не вставал, пока не встанет Марына. Я почти отчаялась, что спор о правильности или неправильности обсуждаемого предмета разрешится в этот вечер, сколько бы ни сидели они за столом, сколько бы я ни наблюдала за ними, ни слушала и ни думала о них. Ведь подобные дебаты о правильности и неправильности отличаются тем, что на следующий день у вас всегда могут возникнуть опасения и новые мысли, и, вспоминая

вчерашний разговор, вы можете воскликнуть: «Каким же я был дураком, когда сказал то-то или согласился с тем-то! Подпал ли я под влияние такого-то или просто размяк, перестал думать, и мой нравственный термостат охладился?» Так что на следующее утро вы придерживаетесь противоположного мнения. Возможно, вы думаете прямо противоположное тому, что доказывали накануне, поскольку тому мнению необходимо было «проветриться», чтобы освободить место новому, лучшему. Вы испытываете нечто вроде морального похмелья, но остаетесь спокойны, потому что знаете: вы на правильном пути, — хотя и подозреваете с тревогой, что, возможно, завтра будете думать иначе; а между тем неумолимо приближается время принятия решения, приближается путь, которому вы можете следовать или не следовать. Быть может, время наступит прямо сейчас. Затем Марына поднялась, вынула сигарету из расшитого золотистым бисером ридикюля и плавно вышла на середину комнаты. Все остальные встали, и я предположила, что сейчас они уйдут. Но один Рышард с чувством поцеловал руку Марыны, затем обошел остальных женщин, прикоснулся губами к запястью каждой, и я догадалась, что он намеревается завершить

этот вечер в своем любимом борделе. Больше никто, похоже, уходить не собирался. Доктор открыл бутылку токайского, стоявшую на буфете. Маленького мальчика, Петра (как я с опозданием назвала его), который проснулся и собрался уйти, пересадили на кресло с подголовником Марына откинулась в соблазнительной томной позе на спинку стула, ее окружили Богдан, Тадеуш, юная актриса, импресарио, сестра Богдана, доктор и хромой художник. Это была последняя возможность для завершения беседы принятием четкого решения. «Да, конечно, — сказала Марына, наигранно смеясь. — Я не всегда согласна с собой». Обнадеживающая мысль. Они продолжали тихо говорить. А я продолжала слушать.

В детстве я хоть и признавала, что хорошо учусь, но не считала себя «особо одаренной» (не обращайте внимание на кавычки) в том смысле, в каком об этом говорилось в книгах и биографиях. И в нашей округе не было никого «особо одаренного» (та же просьба). Но я все равно считала, что смогу совершить задуманное (я собиралась стать химиком, как мадам Кюри), а упорство и намерение помогут мне попасть туда, куда стремлюсь. И поэтому сейчас я думала, что, если долго слушать, наблюдать и размышлять, я

смогу понять этих людей. Почему-то казалось, что их будущая история обращена и ко мне. На свете есть так много историй, и трудно сказать, почему мы выбираем ту или иную; должно быть, чувствуем, что с помощью данной истории расскажем множество других, что она кому-то понадобится; я понимаю, что плохо объясняю. Не могу объяснить. Чем-то похоже на влюбленность. Любые объяснения того, почему вы решили рассказать именно это, — может, оно связано с каким-нибудь детским огорчением или желанием, — почти ничего не объясняют. Длинная история — роман — похожа на путешествие вокруг света за восемьдесят дней: когда она подходит к концу, вы с трудом можете вспомнить начало. Но даже долгое путешествие должно где-нибудь начинаться, например в комнате. В каждом из нас есть комната, которая дожидается, когда ее обставят и заселят, и если вы внимательно прислушаетесь (возможно, понадобится заглушить все шумы в вашей квартире), то сможете услышать звуки той комнаты у вас в голове Услышите потрескивание дров в камине, тиканье часов и (если открыто окно) крик кучера или тарахтение мотоцикла в переулке. Или можете ничего этого не услышать, если комнату заполонили голоса. Грубоватые

или вежливые люди, возможно, садятся за стол и о чем-то говорят, но вы их не понимаете (будем надеяться, не потому, что включен телевизор, да еще на полную громкость); впрочем, вы уловите суть разговора. Вначале будут лишь отдельные фразы, имя, настойчивый шепот или крик. Если послышатся крики, нет, вопли и вы увидите что-то наподобие кровати, можете надеяться, что в этой комнате никого не мучают, а, скорее, кто-то рожает, хотя эти звуки точно так же невыносимы. Можете надеяться, что вы очутились среди благожелательных людей, страсть — прекрасное чувство, как и понимание — постижение чего-то, и страсти и путешествия одновременно. Слуги принесли Марыне и всем остальным верхнюю одежду. Теперь они готовы уйти. В приятном предвкушении я решила последовать за ними в мир.

1

Возможно, именно пощечина, полученная от Габриелы Эберт вечером, в начале шестого (этого я не видела), кое-что, вернее все (это мне тоже неизвестно), немного прояснила. Приехав в театр с неизменной пунктуальностью за два часа до начала спектакля, Марына направилась в свое звездное логово, разделась до сорочки и корсета и облачилась в подбитое мехом платье и туфли с помощью костюмерши Зофьи. Марына послала ее в соседнюю комнату прогладить костюм, придвинула свечи к зеркалу с обеих сторон, склонилась над беспорядочной палитрой уже откупоренных баночек и флакончиков с гримом, чтобы внимательно изучить слишком знакомую маску — свое настоящее, «исподнее» лицо актрисы. Вдруг дверь за ее спиной распахнулась, и прямо перед собой, в том же самом зеркале, она увидела разгоряченное, злобное лицо своей грозной соперницы, которая надвигалась на нее, выкрикивая нелепые оскорбления. Марына откинулась в кресле, обернулась и заметила опускавшуюся руку, в ту же секунду непроиз-

вольно зажмурилась, обнажила верхние зубы и сморщила нос, затем ощутила острую боль от удара большой окольцованной кисти по лицу.

Все произошло так быстро и так громко — глаза были по-прежнему закрыты, дверь с грохотом захлопнулась, — и в испещренной тенями комнате с шипящими газовыми лампами стало так тихо, словно это был кошмарный сон: у Марыны случались кошмары. Она прижала ладонь к своему вспыхнувшему лицу.

— Зофья! Зофья!

Тихо открылась дверь. И встревоженный шепот Богдана:

— Что этой стерве было нужно? Мы с Яном стояли слишком далеко, в конце коридора, иначе я остановил бы ее. Как она смеет к тебе врываться?

— Ничего страшного, — сказала Марына, открыв глаза и опустив руку. — Пустяки.

Иначе говоря — ноющая боль в щеке. И мигрень, что подступает с другой стороны головы. Мигрень Марына собиралась сдерживать привычным усилием воли до самого конца спектакля. Она нагнулась, чтобы замотать волосы в полотенце, встала и подошла к умывальнику, энергично намылила и вымыла лицо и шею, после чего

промокнула кожу мягкой тканью.

— Я всегда знал, что она не…

— Все в порядке, — сказала Марына. Не ему. Зофье, замершей в нерешительности у приоткрытой двери, держа костюм на вытянутых вверх руках.

Жестом пригласив ее войти, Богдан закрыл дверь немного громче, чем ему того хотелось. Марына сбросила платье и надела бургундский халат с золотой тесьмой («Нет, нет, спину не застегивай!»), медленно повернулась несколько раз перед зеркалом-псише, кивнула своему отражению, отправила Зофью пришить к туфле оторвавшуюся пряжку и разогреть щипцы для завивки, затем снова уселась за туалетный столик.

— Чего хотела Габриела?

— Ничего.

— Марына!

Она взяла пуховку и нанесла толстый слой жемчужных белил на лицо и шею.

— Пришла пожелать мне удачи сегодня вечером.

— В самом деле?

— Как благородно с ее стороны, не правда ли? Ведь она считала эту роль своей.

— Очень благородно, — сказал он, а про себя

подумал: «И очень не похоже на Габриелу».

Он наблюдал, как Марына трижды наносила белила, заячьей лапкой накладывала румяна до самых скул, под глазами и на подбородок, подкрашивала веки, затем трижды снимала все губкой.

— Марына, что ты?

— Порою кажется, что все это лишено смысла, — сказала она безразличным тоном и вновь принялась подкрашивать веки углем.

— Все это?

Она макнула тонкую щеточку из верблюжьей шерсти в чашку со жженой умброй и провела линию под нижними ресницами.

Богдану подумалось, что она наносит слишком много краски, отчего ее красивые глаза кажутся грустными или просто старыми.

— Марына, взгляни на меня!

— Милый Богдан, не буду я на тебя смотреть. — Она положила еще больше краски на брови. — А ты не слушай меня. Тебе уже пора привыкнуть к моим нервным срывам. Актерской истерике. Сегодня хуже, чем всегда, но ведь это премьера! Не обращай внимания.

Если б это было возможно! Он наклонился и прикоснулся губами к ее затылку:

— Марына…

— Что?

— Не забудь, я снял номер в «Саски», чтобы потом отметить…

— Пожалуйста, позови мне Зофью. — Она уже готовила хну.

— Извини, что встреваю со своим ужином, когда ты готовишься к спектаклю. Но ужин можно отменить, если ты слишком…

— Не надо, — прошептала Марына. Она смешала чуточку голландских румян и измельченной сурьмы с готовыми белилами, чтобы припудрить руки и кисти: — Богдан…

Тот не ответил.

— Я жду ужина с нетерпением, — сказала она и потянулась назад за его рукой в перчатке, чтобы положить ее себе на плечо.

— Ты чем-нибудь расстроена?

— Я расстроена всем, — сухо ответила она. — И будь так любезен, позволь мне этим насладиться. Старой актрисе нужна небольшая подпитка, чтобы всегда оставаться на высоте!

Марыне не нравилось обманывать Богдана, единственного человека из тех, кто любил ее или утверждал, что любит, человека, которому она действительно доверяла. Но она не нуждалась в его негодовании или утешении. Она решила,

что лучше будет скрыть это чрезвычайное происшествие.

Порой необходима настоящая пощечина, чтобы твои чувства сделались настоящими.

Когда жизнь бьет тебя по лицу, ты говоришь: «Такова жизнь».

Ты чувствуешь себя сильной. Ты хочешь быть сильной. Главное — идти вперед.

Как шла она — целеустремленно, на многое закрывая глаза. Но если ты обладаешь стоическим характером и даром уважать себя, если ты упорно трудилась над другим даром, который дал тебе Господь, и получила за усердие и настойчивость именно ту награду, на которую смела надеяться, успех придет к тебе быстрее, чем ты ожидала (или, быть может, втайне считала, что заслуживаешь), и тогда покажется мелочным помнить унижения и смаковать обиды. Оскорбляться — значит проявлять слабость, все равно что волноваться о том, счастлив ты или нет.

Сейчас ты ощутила неожиданную боль, вокруг которой могут сосредоточиться заглушенные чувства.

Ты должна воспарить над землей, чтобы спасти свои идеалы от осквернения. Избавиться от неудач и обид, пока они не укоренились и не

придавили твою душу.

Если воспринять пощечину в прямом смысле — неистовый отзыв завистливой соперницы на неизбежный успех Марины, — то можно рассказать все Богдану и вскоре выбросить из головы. Но если воспринимать ее как символ, как призыв утолить неясные потребности, которые Марина много месяцев носила в себе, тогда стоило ее утаить и даже взлелеять. Да, она будет лелеять пощечину Габриелы. Будь эта пощечина улыбкой младенца, она улыбалась бы, вспоминая о ней; будь пощечина фотографией, вставила бы ее в рамку и хранила на туалетном столике; будь пощечина волосами, она заказала бы из них парик… «Да я с ума схожу! — подумала Марина. — Неужели все так просто?» Она рассмеялась про себя, но брезгливо заметила, как дрожит рука, наносящая на губы хну. «Нищета — это зло, — сказала она себе. — И моя нищета — такое же зло, как нищета Габриелы. Ведь она просто хочет того, что есть у меня. Нищета — это всегда зло».

Кризис в жизни актрисы. Игра была подражанием другим актерам, а затем, к твоему удивлению (на самом же деле, ты вовсе не удивилась), обнаружилось, что ты лучше их всех, лучше той несчастной, что дала тебе пощечину. Неужели

этого недостаточно? Нет. Уже недостаточно.

Ей нравилось быть актрисой, потому что театр являлся для нее истиной. Высшей истиной. Играя в пьесе — одной из великих пьес, — ты становишься лучше, чем на самом деле. Произносишь только отточенные, необходимые, возвышенные слова. Ты всегда была прекрасна — насколько в твоем возрасте это позволяли искусственные средства. Все твои движения исполнены глубокого, высокого смысла. Ты ощущаешь, как становишься лучше благодаря тому, что тебе дано выразить на сцене. Теперь же случалось, что посреди возвышенной тирады из любимого Шекспира, Шиллера или Словацкого, кружась в неудобном костюме, жестикулируя, декламируя и сознавая, что зрители покорены ее искусством, актриса не чувствовала ничего, кроме самой себя. Давнее преображавшее ее волнение прошло. Ее покинул даже страх перед выходом на сцену — а эта встряска необходима истинному профессионалу. Пощечина Габриелы разбудила ее. Час спустя Марына надела парик и корону из папье-маше, последний раз взглянула в зеркало и вышла из гримерной, чтобы показать игру, которая по ее собственному признанию и по ее же меркам была не так уж плоха.

Богдана так поразила величавая осанка Марыны, шедшей на казнь, что, когда начались овации, он так и сидел, прикованный к обитому плюшем креслу у переднего края ложи, вцепившись в перила. Теперь он оживился, проскользнул мимо своей сестры, импресарио из Вены, Рышарда и других гостей и к моменту второго вызова пробрался за кулисы.

— Ве-ли-ко-леп-но! — воскликнул он, когда актриса вернулась после третьего вызова, чтобы подождать рядом с ним за кулисами, пока шумные аплодисменты зрителей не вызовут ее вновь на усыпанную цветами сцену.

— Я рада, что ты так думаешь.

— Только послушай!

— Их? Да что они понимают — они ведь никогда не видели никого лучше меня!

После того как Марына еще четыре раза вышла к зрителям, Богдан проводил ее до двери в гримерную. Казалось, теперь-то она получит удовлетворение от собственной игры. Но, очутившись внутри, Марына разразилась немыми рыданиями.

— О, мадам! — Зофья тоже готова была расплакаться.

Потрясенная страданием на лице Зофьи, Ма-

рына бросилась в объятия девушки, желая ее успокоить.

— Ну, не плачь! — шептала она. Зофья прижимала ее к себе, нежно гладила туго уложенную копну Марыниных волос.

Марына неохотно освободилась из крепкого кольца рук Зофьи и с любовью посмотрела ей в глаза:

— У тебя доброе сердце, Зофья.

— Не могу видеть, как вы печалитесь, мадам.

— Я не печалюсь, я… Это ты не печалься обо мне.

— Мадам, я стояла за кулисами почти весь последний акт, и вы еще никогда так красиво не шли на смерть. Вы были так прекрасны, что я просто не смогла сдержать слез.

— Ладно, хватит нам плакать, — Марына рассмеялась. — За работу, негодница! Что это мы с тобой бездельничаем?

Сняв королевский костюм и переодевшись в подбитое мехом платье, Марына смыла лицо Марии Стюарт и быстро наложила скромную маску, которая подобает супруге Богдана Дембовского. Зофья, все еще негромко всхлипывая («Зофья, хватит!»), стояла за креслом и прижимала к груди серо-зеленое платье, в котором Марына реши-

ла в тот день появиться на ужине, устроенном Богданом в отеле «Саски». Актриса медленно надела платье перед зеркалом-псише, вернулась к туалетному столику, расплела и расчесала локоны. Потом свободно уложила их, внимательно всмотрелась в зеркало, нанесла немного расплавленного воска на ресницы, снова встала, еще раз осмотрела себя, прислушиваясь к нараставшему гулу в коридоре, сделала несколько глубоких вдохов и распахнула дверь навстречу волне криков и рукоплесканий.

Среди поклонников, имевших достаточно связей, чтобы попасть за кулисы, оказалось несколько знакомых, но, за исключением Рышарда, который прижимал к широкой груди букет шелковых цветов, она не увидела близких друзей: приглашенных на ужин попросили отправиться прямиком в отель. Еще более сотни человек, невзирая на непогоду, ждали за дверью служебного входа. Богдан предложил укрыться под его зонтиком-шпагой с ручкой из слоновой кости, так что Марына смогла пятнадцать минут простоять под снегопадом и простояла бы еще пятнадцать, если бы он не отстранил самых робких поклонников с так и не подписанными программками и не провел Марыну сквозь толпу к поджидавшим их

саням. Рышард, все-таки передав ей свой букет, сказал, что «Саски» отсюда всего в семи кварталах и он доберется туда пешком.

Странно — в родном городе принимать друзей в гостинице! Но последние пять лет (после того как ее таланты неумолимо привели к вершине — пожизненному ангажементу в Имперском театре Варшавы) у нее больше не было квартиры в Кракове.

— Странно, — сказала она. Богдану, никому, самой себе. Богдан нахмурился.

Раскат грома, подобный артиллерийской канонаде, когда они подъехали к отелю. Вопль, нет, просто крик: это бранится кучер.

Они поднялись по мраморной лестнице, покрытой ковром.

— Как ты, Марына?

— Все прекрасно. Это всего лишь выход на сцену.

— И мне предоставлена честь открыть для тебя дверь.

Теперь нахмурилась Марына.

Богдан отворил дверь (в ответ на ее вопрос: «Богдан, а сам ты как?» — он лишь вздохнул и взял ее за руку), она вышла к гостям, и ее встретили аплодисментами и улыбками — обычное

приветствие на званом ужине в честь премьеры (ведь она действительно блестяще играла). Петр бросился в ее объятия. Она обняла сестру Богдана и передала ей цветы Рышарда; затем позволила обнять себя Крыстыне, глаза которой блестели от слез. После того как тесно обступившие ее гости отдали дань восхищения ее игре, она обвела их взглядом и радостно пропела:

Не знать вам лучших пиршеств никогда,

Друзья обжорства![9]

Все рассмеялись. Видимо (это случилось до моего прихода), она произнесла Тимоновы слова по-польски, а не по-английски, и никто, кроме Марыны, не читал «Тимона Афинского», поскольку пир в этой пьесе не был счастливым, в особенности для того, кто его устраивал. Гости разбрелись по просторной комнате и стали обсуждать ее игру, а затем более насущный вопрос (примерно в это время пришла я, вся озябшая, и принялась выяснять, о чем речь), Марына же предалась более смиренным и менее язвительным мыслям. Завистливых соперниц здесь не было. Только дру-

[9] Примечания: 9
«Тимон Афинский», акт III. сцена 6 *(пер Н. Мелковой).*

зья, желавшие ей добра. Где же ее благодарность? Она устала от своей неудовлетворенности. «Если у меня будет новая жизнь, — думала она, — я никогда не стану жаловаться».

— Марына!

Тишина.

— Марына, что случилось?

— А как вы думаете, доктор?

Он покачал головой:

— Ах да, понимаю.

— Хенрик…

— Уже лучше.

— Я беспокою вас…

— Да, — улыбнулся он, — вы беспокоите меня, Марына. Но только не в моем кабинете, а в моих грезах.

И прежде чем она успела упрекнуть его за этот флирт, пояснил:

— Вы превосходно играли вчера.

Он видел, что она все еще колеблется.

— Входите, — он протянул руку, — садитесь, — указал на обитое декоративной тканью канапе. — Рассказывайте.

Пройдясь по комнате, она прислонилась к книжному шкафу.

— Вы не хотите присесть?

— Присядьте вы. А я еще немного прогуляюсь… здесь.

— Вы пришли сюда пешком в такую погоду? Благоразумно ли это?

— Хенрик, прошу вас!

Он сел на угол стола.

Она принялась ходить взад и вперед:

— Я, кажется, хотела расспросить вас о Стефане, действительно ли он…

— Но я же сказал вам, — перебил Хенрик, — состояние легких заметно улучшилось. Борьба со столь грозным противником, которую ведут доктор и пациент, может затянуться. Но я верю, что мы с вашим братом победим.

— Вы несете вздор, Хенрик. Неужели вы сами не понимаете?

— Марына, в чем дело?

— Все говорят вздор…

— Марына…

— И я не исключение.

— Что ж, — вздохнул он, — значит, вы ко мне пришли не по поводу Стефана.

Она покачала головой.

— Можно, я угадаю? — Он отважился на улыбку.

— Вы смеетесь надо мною, мой старый друг, —

печально произнесла Марына. — Вы считаете, что у меня женская истерика. Или что-нибудь похуже.

— Я? — Он хлопнул ладонью по столу. — Я, ваш старый друг (как вы сами признались, и я благодарен вам за это), не принимаю Марыну всерьез? — Он пристально посмотрел на нее. — Что у вас? Головные боли?

— Нет, дело не… — Она внезапно села. — …не во мне. Не в моих головных болях.

— Дайте-ка я пощупаю ваш пульс. — Доктор склонился над ней. — Вы покраснели. И я не удивлюсь, если у вас небольшой жар.

Хенрик с минуту подержал ее за кисть, отпустил и вновь посмотрел ей в лицо:

— Жара нет. Вы совершенно здоровы.

— Я же сказала вам: все в порядке.

— Ах да, это означает, что вы хотите излить душу. Что ж, вы увидите, я — самый терпеливый слушатель. Изливайте, милая Марына! — весело воскликнул он, не заметив слез в ее глазах. — Изливайте!

— Наверное, это все же связано с моим братом.

— Я же сказал вам…

— Простите меня. — Она поднялась на ноги. — Я ставлю себя в глупое положение.

— Ни в коем случае! Прошу вас, не уходите. — Он преградил ей дорогу к двери. — У вас жар.

— Вы же сказали, что нет.

— Перегреться может не только тело, но и разум.

— Что вы думаете о воле, Хенрик? О силе воли?

— Не понимаю.

— Верите ли вы, что человек может делать все, что хочет?

— *Вы,* моя милая, можете делать все, что захотите. Мы все — ваши слуги и помощники.

Он взял ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать.

— Ах! — Она отдернула руку. — Негодный вы человек, не надо мне льстить!

Некоторое время он смотрел на нее с нежностью и удивлением.

— Марына, милая, — сказал он ласково. — Неужели вы не знаете по опыту, как воспринимают вас окружающие?

— Опыт — пассивный учитель, Хенрик.

— Но ведь…

— В раю, — она вплотную подошла к нему, и ее серые глаза засверкали, — не будет никакого опыта. Одно лишь блаженство. Там мы сможем говорить друг другу правду. А может, нам и вовсе

не нужно будет говорить.

— С каких это пор вы уверовали в рай? Я вам завидую.

— Я всегда в него верила. С самого детства. И чем я старше, тем крепче моя вера, потому что рай необходим.

— И вам… несложно поверить в рай?

Она вздохнула:

— Дело не в рае. Дело во мне самой, в моем жалком «я».

— В вас говорит артист. Человек с вашим темпераментом всегда…

— Я так и знала! — Она топнула ногой. — Я приказываю вам, умоляю вас, не говорите о моем темпераменте!

(«Да, она больна. Нервы. Да, она еще нездорова», — говорили между собой все ее друзья, за исключением доктора.)

— Так, значит, вы верите в рай, — успокаивающе проговорил он.

— Да, и у его врат я спрошу: «Это и есть ваш рай? Все эти бесплотные фигуры в белом, парящие среди белых облаков? А куда же я сяду? Где же вода?»

— Марына… — Взяв актрису под руку, он проводил ее к канапе. — Я налью вам капельку коньяку.

Нам обоим не повредит.

— Вы слишком много пьете, Хенрик.

— Вот, возьмите. — Он передал ей рюмку и сел напротив. — Так ведь лучше?

Она отпила немного, откинулась на спинку и молча посмотрела на него.

— Что с вами?

— Мне кажется, я очень скоро умру, если не совершу чего-нибудь безрассудного… великого. Знаете, в прошлом году мне казалось, что я умираю.

— Но вы же не умерли.

— Неужели для того, чтобы тебе поверили, нужно умереть?

Из письма никому, то есть себе самой:

«Не потому, что мой брат, мой любимый брат, умирает и мне не перед кем будет преклоняться… не потому, что моя любимая мать действует мне на нервы, ах, если б я только могла закрыть ей рот… не потому, что я тоже неважная мать (но ведь я же актриса!)… не потому, что мой муж, который не является отцом моего сына, так добр и готов сделать все, чего бы я ни пожелала… не потому, что все аплодируют мне, потому что не представляют меня более живой или не такой, как сейчас… не потому, что мне уже тридцать

пять и я живу в древней стране, но не желаю стареть (не хочу стать такой, как мать)… не потому, что некоторые критики снисходительно сравнивают меня с актрисами помоложе, хотя овации после каждого спектакля все такие же бурные (так зачем тогда нужны овации?)… не потому, что я заболела (нервы) и не могла играть три месяца, каких-то три месяца (мне не по себе, когда я не работаю)… не потому, что я верю в рай… ах, и не потому, что полиция до сих пор следит за мной и доносит на меня, хотя все безответственные заявления и надежды давно в прошлом (боже мой, прошло уже тринадцать лет после Восстания!)… не потому я решила совершить поступок, которого никто не одобряет, который все считают безумием, но которого я жду от других, вопреки их нежеланию; даже Богдан, который всегда хочет того же, что и я (он обещал, когда мы венчались), на самом деле против. Но ему придется это сделать».

— Наверное, таково мое проклятие — всегда откуда-нибудь приезжать. Видите ли, мир, — говорила она, — очень велик. Мир распадается на множество частей. Мир, подобно нашей бедной Польше, всегда можно разделить. И подразделить. Ты занимаешь все меньше и меньше места.

Хотя и чувствуешь себя как дома на этом месте…

— На этой сцене, — подсказал друг.

— Если вам угодно, — холодно сказала она, — на этой сцене. — И нахмурилась: — Надеюсь, вы не хотите напомнить мне, что весь мир — театр?

— Но как вы можете оставить свой дом, ведь он — здесь!

— Мой дом, мой дом! — воскликнула она. — У меня нет дома!

— Бросить своих…

— Друзей? — выкрикнула она.

— Мы с Иреной имели в виду ваших зрителей.

— Кто сказал, что я бросаю своих зрителей? Забудут ли они меня, если я решу уехать? Нет. Примут ли обратно, если я решу вернуться? Да. Что же касается моих друзей…

— Да?

— Уверяю тебя, я не собираюсь бросать друзей.

— Мои друзья, — повторяла Марына, — намного опаснее моих врагов. Я постоянно думаю об их одобрении. Их ожиданиях. Они хотят, чтобы я оставалась такой, какая есть, и я не могу полностью разрушить их иллюзии. Возможно, они разлюбят меня.

Я им все объяснила. Хотя могла бы преподнести

это как причуду. Недавно думала, что уже готова это сделать. На ужине в отеле после премьеры я собиралась поднять бокал: «Я уезжаю. Скоро. Навсегда». Кто-нибудь воскликнул бы: «О, мадам, как же так можно?» А я бы ответила: «Можно». Но у меня не хватило смелости. Вместо этого я предложила тост за нашу бедную, растерзанную родину.

Любовь к родине, к друзьям, к семье, к сцене… да, и любовь к Богу: слово «любовь» легко слетало с уст Марыны, хотя она так мало ждала от романтической любви — привычной темы пьес.

Она росла скромным, послушным ребенком. Верила, что Бог следит за ней и записывает в большую коричневую книгу (такой она ее себе представляла) все ее мысли и поступки. Держала спину прямо и всегда смотрела людям в глаза. Богу это нравится, думала она. Еще в нежном возрасте девочка поняла, что жаловаться бесполезно и лучше всего никому не доверять. Бог знал, как она слаба, но прощал ее, потому что она очень старалась. Взамен она решила не просить Бога ни о чем, чего не могла заслужить либо собственными талантами, либо силой желания. Ей не хотелось злоупотреблять Его щедростью.

Разумеется, она не могла сказать правду. Но в

ней было столько энергии, чтобы сказать *нечто* и заставить других прислушаться! Женщина мало что может сказать. Но примадонна — слишком много. Как примадонна, она может вспылить, попросить о невозможном, солгать.

Возникла ниоткуда и стала звездой — хорошо. И ничуть не хуже — происходить из чудесного, всячески одаренного рода. В придуманной ею семейной истории о счастливом, хоть и бедном детстве искусно сочетались элементы первого и второго.

Она была младшей из десятерых детей ее матери — шестерых от первого брака и четверых от брака со школьным учителем латыни. Как говорила Марына, два ее единоутробных брата уже были на сцене, когда ей исполнилось четыре и она только училась читать, так что ей оставалось лишь последовать их примеру. На самом деле Марына поначалу даже не мечтала об актерской карьере. Она хотела стать солдатом; но, когда поняла, что девушке никогда не разрешат носить оружие, захотела стать поэтом, патриотические оды которого будут выкрикивать демонстранты, требуя свободы для своей родины. И хотя отец не отбивал у нее охоты к чтению, он, похоже, считал, что девушке больше пристала музыка, чем

книги. Подготовившись к завтрашним урокам, он уходил от вечернего семейного шума и играл на флейте.

Из всего этого она рассказывала друзьям лишь о том, что отец научил ее играть на флейте.

Запрещалось рассказывать: о пугающих размолвках между родителями, о маминых тирадах, об отце, засыпавшем над своим Цезарем или Вергилием, о насмешках соседских детей, говоривших, когда ей исполнилось шесть, что ее отцом был не учитель латыни, а какой-то человек, снимавший у них комнату (им всегда приходилось брать жильцов); об одном пожилом мужчине, наполовину немце, наполовину поляке, который переехал к ним на квартиру под видом жильца, когда ей было одиннадцать, два года спустя после смерти отца, и стал приходить к ней (добившись обещания, что она ничего не расскажет матери) только после того, как ей исполнилось четырнадцать — можно считать, что ей повезло, если ее никто до сих пор не домогался, прокомментировала мать.

— Я из многодетной семьи, и все мои братья и сестры с детства влюблены в театр, но лишь четверо из нас — Стефан, Адам, Йозефина и я — стали актерами. Разумеется, только один ока-

зался подлинным гением, но это не я. Нет, — она подняла руку, — не возражайте мне.

Марына любила повторять, что талант Стефана был врожденным, а она всего достигала тяжелым усердным трудом: ее не покидало чувство вины за то, что ее взлет так быстро затмил его карьеру.

— Мы были бедны. И стали еще беднее после смерти отца, когда мне исполнилось девять. После его смерти мать пошла работать в кондитерский магазин, находившийся на той же улице, что и дом, в котором все мы родились и который сгорел во время Большого Краковского Пожара. — Она помолчала. — В юности мне казалось, что я не смогу жить без роскоши и комфорта. — Тщедушный официант разливал шампанское. — Потом казалось, что не смогу жить без друзей.

— А теперь?

— А теперь мне кажется, что я смогу обойтись без всего.

— Это все равно что нуждаться во всем, — возразил ее умный друг.

В семь лет она впервые попала в театр. Давали «Дона Карлоса». По-видимому, речь шла о любви, затем — о разбитом сердце, а в конце показали куда более интересные вещи: Карлос отправлялся

сражаться за свободу порабощенной Голландии. (То, что Карлос никогда не уедет в Голландию, что в финале пьесы король, отец Карлоса, прикажет схватить и казнить своего сына, казалось таким ужасным, что с этим нельзя было смириться.) Ее глубоко потрясла шиллеровская идея свободы, и Марына в конце концов забыла, почему увлеклась театром в столь юном возрасте. Дело в том, что она увидела на сцене своего единоутробного брата Стефана, впервые игравшего в Кракове одну из главных ролей. По ходу пьесы она со стыдом начала понимать, что не узнает его. Она смотрела на всех мужчин, выходящих на сцену и уходящих с нее, но не заметила своего красавца-брата. Один казался слишком толстым, другой — слишком старым (Стефану было девятнадцать), а третий — слишком высоким. Единственный человек, который не был слишком толстым, старым или высоким, мужчина в серебристом парике и с красным гримом на лице, игравший роль верного Позы, оказался совсем на него не похож. Но она не могла спросить у родителей, кто из них Стефан. Ее сочли бы безнадежной тупицей и больше никогда не повели бы в театр.

После спектакля, когда она вместе с матерью прошла за кулисы и появился Стефан — его сия-

ющее худое лицо с выступающим подбородком и высоким лбом уже очистили от грима, — она не решилась спросить, какую роль он играл (не мог же он быть Позой!), и сказала только, что он играл просто превосходно.

Потом ей пришло в голову — и показалось весьма хитроумным, взрослым расчетом, — что существует лишь один способ обеспечить себе доступ в театр: самой стать актрисой. Кто посмеет не пустить актера в театр? Ведь актеры — такие желанные гости, что они, очевидно, не пользуются обычным входом (хоть она и предполагала, что они все равно должны покупать билеты), а заходят через служебный.

— В ту ночь, — рассказывала она другу, смеясь над собой, — я прижалась ртом к заиндевевшему маленькому окошку в комнате, которую делила со своими пятерыми братьями и сестрами… нет, не в той квартире, где я родилась, а в новой (через год после Пожара)… и дала клятву, что буду жить только ради театра. Естественно, я не знала, смогу ли стать актрисой. И долгое время Стефан и даже Адам изо всех сил пытались отговорить меня, рисуя страшные картины актерской жизни: тяжелый, изматывающий труд, низкое жалованье, бесчестные импресарио, неблагодарные, невеже-

ственные зрители, злобные критики. Не говоря уже о необогреваемых, грязных гостиничных номерах и скрипучих половицах, жирной пище и холодном чае, бесконечных поездках по ухабистым дорогам в плохо подрессоренных экипажах, но… — она внезапно умолкла, — именно это мне и нравилось.

— Неудобства?

— Да, скитания! Бродячая жизнь. Приезжаешь куда-нибудь, доставляешь людям радость и больше никогда не обязан с ними встречаться.

— Но теперь-то стало удобнее — вы можете путешествовать на поезде.

— Вы не слушаете меня. Вы не понимаете! — воскликнула она. — Мне хотелось быть бездомной.

— Тот пожар до сих пор у меня перед глазами, — рассказывала она Рышарду, — и я чую его запах. С тех пор я боюсь огня. Мне было десять лет. Мы с другими погорельцами укрылись в дверном проеме доминиканской церкви на той стороне площади и смотрели, как плавятся наши окна, откуда мои братья, бывало, целились из деревянных ружей в австрийских солдат — как это пугало мою мать! Она сказала: нам еще повезло, что мы остались живы — только жизнь и удалось спасти,

потому что все сгорело, даже церковь, а квартира, куда мы переехали после пожара, оказалась еще меньше прежней. Несмотря на это, мать взяла нового жильца — мы всегда брали жильцов в квартиру на улице Гродзкой. Им оказался пан Заленжовский, Генрих Заленжовский, который был очень добр и давал мне уроки немецкого. Понятно, что латынь шла у меня легко — нас натаскивал отец; но я даже не подозревала, что обладаю способностями к языкам. И хотя пан Заленжовский был чужеземцем из Кенигсберга, а его настоящее имя — Зибельмейер, он стал одним из нас и взял польскую фамилию. Пан Заленжовский был патриотом. В семнадцать лет участвовал в Восстании 1830 года. Братья обожали его. И мать, видимо, тоже очень его любила, и некоторое время мы с братьями подумывали: мой бородатый угрюмый учитель немецкого вскоре станет нашим отчимом. Но случилось так, что он влюбился в меня, и, хотя я была еще очень молода и нас разделяла пропасть в двадцать семь лет, у меня не хватило сил отвергнуть любовь такого прекрасного человека, который столь многому мог меня научить. Именно он продолжал верить, что меня ждет большое будущее в театре, а Стефан по-прежнему меня отговаривал, даже

после провального прослушивания у знаменитой варшавской актрисы (нет, я не буду называть ее имени), которая сказала, что я напрочь лишена таланта. Напрочь! Именно он предложил мне заняться сценой. Дело в том, что несколькими годами ранее, скрываясь от полиции, пан Заленжовский руководил бродячим театром и предложил мне поехать на время в Бохню, чтобы возродить эту труппу с помощью нескольких знакомых актеров, которые искали работу. Тем самым он мог помочь мне сделать карьеру.

Поэтому, когда мне исполнилось шестнадцать, с материнского слезного благословения, без которого я никогда бы на это не пошла, мы обвенчались с паном Заленжовским и уехали из Кракова в тот город, где у него оставались связи. Там я в семнадцать лет дебютировала в пьесе «Окно первого этажа» Коженевского, в роли жены, которая, как вы помните, чуть не изменила мужу, но ее спас крик больного ребенка. В те времена публика была еще неискушенной. Любила здоровые чувства и мораль. Но пан Заленжовский хотел, чтобы я играла в великих пьесах — немецких и шекспировских, и за несколько месяцев я выучила роли Гретхен, Джульетты, Дездемоны…

— Зачем я вам об этом рассказываю? — сказала

она раздраженно. — Создается впечатление, что все было очень просто.

— Разумеется, все было непросто, — успокаивающе сказал друг.

— Напротив! — воскликнула она. — Ведь я была вся соткана из амбиций и столь же неискушенна, как публика тех лет. Помню, какое впечатление произвела на меня книжка под названием «Гигиена души», автор которой, некто Фейхтерслебен, пытался доказать, что можно получить все, чего пожелаешь, если очень сильно захотеть. Я вскочила с кровати — была глухая ночь, — топнула ногой и, следуя учению этого утописта, прокричала: «Я должна стать знаменитой!» Возглас разбудил няньку, и мой ребенок расплакался, поэтому я заползла обратно в постель, грезя о будущих лаврах.

— Тогда вы были еще очень молоды.

— Не так уж и молода. Мне уже стукнуло двадцать. А моя дочь, мое дитя — вы же знаете, что с ней случилось. Дифтерия. Когда я была на гастролях.

— Да.

— Я не могла к ней поехать. Пан Заленжовский, мой муж, подчеркивал, что спектакли нельзя давать без меня и что мы больше никогда не по-

лучим ангажемента в театре, если не выполним условий контракта.

— Вы, должно быть, очень страдали.

— Я страдаю до сих пор. И оплакиваю ее каждый день. Я люблю Петра, но никогда не хотела иметь сына. Я всегда мечтала о дочери.

— Но лавры… Вы ведь оказались правы насчет лавров.

— Да, я признаю, что с самого начала играла только главные роли. Но это не помогает. Просто поразительно, как быстро привыкаешь к аплодисментам!

Поскольку Стефан и другие в свое время отговаривали ее саму, Марына считала своим долгом отговаривать молодых людей, которые стремились попасть на сцену и искали у нее поддержки.

— Ты даже не представляешь, какие унижения тебе придется испытать, — предупреждала она Крыстыну. — Если даже ты добьешься успеха, — она покачала головой, — и в один прекрасный день именно потому, что ты добьешься успеха.

И хотя Марына не собиралась никого поддерживать, она помимо воли поддерживала — просто потому, что любила наставлять и рассказывать истории из своей жизни.

— Пан Заленжовский, Генрих Заленжовский, часто говорил: «Нет никакого проку в том, чтобы денно и нощно зубрить роли. Только подорвешь здоровье и нахватаешься разных идей. Поверь мне, актерам не нужно думать!» — Она рассмеялась. — Я считала это полным абсурдом. Мне нравятся идеи.

— Да, — вставила одна из ее протеже, — идеи, они…

— Но я знала, что спорить с ним бесполезно. И поэтому отвечала смиренно (я была еще очень молода, а он намного старше и к тому же мой муж): «Так что же мне делать?» «Трудиться, трудиться изо дня в день!» — кричал он (почему люди, связанные с театром, так много кричат?). Можно подумать, что я не трудилась!

Она прижала пальцы к вискам. Опять закулисная головная боль.

— Одного труда мало. Я могу очень долго разучивать роль, а сыграть ее не готова. Я учу слова, проговариваю их, расхаживаю взад и вперед, представляю, как поверну голову и поведу руками, чувствуя *все то,* что чувствует мой персонаж. Но этого мало. Я должна *увидеть* его. *Увидеть* себя в его роли. И порой, сама не знаю почему, у меня это не выходит. То ли изображение нечеткое, то

ли я не могу сосредоточиться. Ведь это — будущее, которого никто не знает.

В этот момент юная актриса, слушавшая Марыну, немного разволновалась.

— Да, готовить роль — все равно что смотреть в будущее. Или гадать, какой выдастся поездка.

Она произнесла задумчиво:

— Видишь ли, я робкая. Я прекрасно себя знаю. И еще я медлительная. Можно сказать… несообразительная.

— Но…

— Медлительная. Неумная. Чуть выше среднего. В самом деле. Но я всегда знала, — она жестко усмехнулась, — что смогу победить с помощью простого упорства и усердия.

— Может, вам нужно отдохнуть?

— Нет, — сказала она. — Я не хочу отдыхать. Я хочу трудиться.

— Никто не трудится больше вас.

— Я хочу покоя.

— Покоя?

— Я хочу дышать чистым воздухом. Я хочу стирать одежду в сверкающем ручье.

— Вы? Стирать свою одежду? Когда? У вас же нет времени! Да и где?

— Да не эту одежду! — воскликнула она. — Не-

ужели никто не понимает меня?

— Может, Париж? — предложил кто-то. — Хотя там много наших меланхоличных, благородных соотечественников, в Париже весело и к тому же столько возможностей! И там вы никогда не станете эмигранткой *comme les autres*[10]. Вам понравится…

— Нет, только не Париж.

— Я и вправду не удовлетворена. И прежде всего, — добавила она, — собой.

— Зачем же вы…

— Хорошо быть счастливой, но ́пошло *хотеть* быть счастливой. И если ты счастлива, ́пошло знать об этом. Становишься самодовольной. Главное — уважение к себе, которое возможно лишь, пока остаешься верна своим идеалам. Так легко пойти на компромисс, когда вкусишь хоть толику успеха.

— Разумеется, я не фанатичка, — говорила она, — но, наверное, слишком привередлива. Например, не могу отделаться от мысли, что человеку, который смешно чихает, не хватает уважения к себе. А иначе как он мирится со

---

[10] Примечания: 10
Подобной остальным *(фр.)*.

столь непривлекательной чертой? Необходимы сосредоточенность и решимость, чтобы чихать элегантно, искренне. Словно пожимать руку. Помню разговор с одним тонким человеком, которого знаю уже много лет, доктором — его дружбой я дорожу. Когда мы говорили о Фурье и его теории двенадцати основных эмоций, он остановился на полуфразе, словно его внезапно охватило волнение. С пронзительным звуком он сказал: «Пчх!», затем еще раз и закрыл глаза. «Что вы сказали?» — переспросила я, вглядываясь в его веснушчатое лицо. И все поняла, когда увидела, как он полез в карман за носовым платком. Но после этого трудно было продолжать беседу об Идеальной Гармонии и Вычислении Привлекательности!

— Мне кажется… — начала она торжественно и вдруг замолчала.

Как все нелепо!

— Продолжай, — сказал Богдан.

Да, нелепо — то, что она чувствовала. Или нет. Как ужасно навязывать свое несчастье, если его можно так назвать, Богдану, который понимал все, что она говорила, буквально! Почему ее постоянно подмывало сказать что-нибудь такое, отчего он хмурил брови и сжимал челюсти?

— Я думаю о том, как ты добр ко мне, — сказала она и прижалась лицом к его шее. Только его тело могло даровать ей утешение и прощение.

Она помрачнела:

— Да, я терпеть не могу жаловаться, но…

— Но? — подхватил Рышард.

— Я люблю рисоваться. — Она шлепнула ладонью по лбу, простонала: «Ох-ох-ох!» — и лукаво усмехнулась.

Казалось, молодой человек был потрясен. (Да, она больна. Об этом говорят все ее друзья.)

— Я рисуюсь? — спросила она, сверкнув глазами. — Скажите мне, мой верный кавалер.

Рышард не отвечал.

— И если да, — безжалостно продолжала она, — то почему?

Он покачал головой.

— Не волнуйся. Ты же хотел сказать: «Потому что вы — актриса».

— О да, великая актриса, — ответил он.

— Спасибо.

— Я сказал глупость. Простите меня.

— Нет, — сказала она. — Возможно, я и не рисуюсь. Даже если это происходит само по себе.

— Поверьте мне, я пытаюсь совладать со свои-

ми чувствами!

— Совладать со своими чувствами? — воскликнул критик, причем весьма дружелюбный. — Но ради чего, сударыня? Ведь именно избыток ваших чувств доставляет наслаждение публике!

— Мне всегда приходилось отождествлять себя с каждой из трагических героинь, которых я играла. Я страдаю вместе с ними, проливаю настоящие слезы, остановить которые часто не могу даже после того, как опустится занавес, и вынуждена неподвижно лежать в гримерной, пока не вернутся силы. За всю карьеру мне никогда не удавалось сыграть, не испытав всех мук моего персонажа. — Она поморщилась. — Я считаю это слабостью.

— О нет!

— Что бы сказала публика, если бы я решила перейти на комические роли? Ведь комедию, — рассмеялась она, — никто не считает моей сильной стороной.

— Какие комические роли? — осторожно спросил критик.

Если взять слишком высоко, некуда будет подниматься.

— Я помню, — рассказывала она по секрету Рышарду, — как однажды потеряла самооблада-

ние, и в результате произошла катастрофа, хоть мне и не суждено было за нее расплачиваться. Давали мою любимую «Адриенну Лекуврер». Роль актрисы — самая завидная, а Лекуврер была величайшей актрисой своей эпохи. Итак, за мной пришел мальчик, я вышла из гримерной, встала за кулисами, и вот — пора на сцену. И хоть я играла эту роль уже не раз, я почувствовала, что начинаю волноваться. Такое со мной часто случается. Если бы просто заколотилось сердце и вспотели ладони, то не страшно. Наоборот, я считаю это признаком профессионализма. Если я не горю перед выступлением — скорее всего, сыграю плохо. Но в тот вечер я чувствовала себя немного хуже, чем обычно: не парализующий страх (его я тоже испытывала!), а страх, от которого теряешь голову. Я вышла на сцену, весь зал принялся хлопать и продолжал аплодировать несколько минут. В знак признательности я сделала глубокий сценический реверанс, едва коснувшись скрещенными руками правого колена и склонив голову, и, когда рукоплескания смолкли, распрямилась и сказала себе: «Ты еще увидишь, на что я способна». Эту роль создала Рашель, ее голос был сильнее и глубже моего, и люди до сих пор помнят, как она привозила эту

пьесу в Варшаву много лет назад, но все считают, что моя Адриенна великолепна, и в тот вечер мне казалось, что я сыграю лучший свой спектакль. В этом зажатом состоянии я начала играть свою сцену — и слишком высоко взяла первые строки. Я пропала. Невозможно было понизить голос после того, как я уже начала. Адриенна за кулисами «Комеди-Франсез» учит новую роль, но не может сосредоточиться: ее сердце бешено стучит, потому что она мечтает о встрече с мужчиной, в которого недавно влюбилась. И когда она рассказывает своему наперснику-суфлеру, который влюблен в нее, но не смеет в этом признаться, о своей новой, тайной страсти, я ору — ору, как самая бездарная актриса. После того как я начала не с той ноты, вообразите, что произошло со мной, когда в артистическое фойе вошел принц, которого Адриенна еще толком не знала. Любой опытный актер скажет вам, что у меня не оставалось выбора — следовало продолжать в том же духе. Приходилось брать еще выше, когда чувство, которое я должна была выразить, становилось сильнее и патетичнее. Я вздыхала и терзалась с подлинным чувством. К пятому акту, после того как Адриенна поцеловала букет отравленных цветов, присланных

ее соперницей в любви к принцу, я испытывала ужасные физические страдания, и руки, протянутые к исполнителю главной роли, когда я лежала на смертном одре, дрожали от неподдельного желания. Когда опустился занавес, он отнес меня, бесчувственную, в гримерную.

— Я люблю ваши рассказы, — сказал Рышард. Подразумевая, конечно же, «Я люблю вас». — И поскольку я люблю ваши рассказы, — продолжал он (хотя это уже было лишено всякого смысла), — я принесу величайшую жертву, на какую способен писатель.

— О чем это вы?

— Если я даже напишу сто романов…

— Сто романов! — воскликнула она. — Грандиозные планы! А если вспомнить, — она улыбнулась, — что вы написали пока только два…

— Постойте, — сказал он. — Это торжественный момент. Я приношу клятву.

— Артист!

— Я клянусь, Марына, — он поднял руку, — если даже я напишу сотню романов, то ни в одном из них главной героиней не будет великая актриса.

Они находились у нее в гримерной. Рышард сидел на низком табурете и делал набросок с

Марыны. А она шагала из угла в угол — изумительный силуэт.

— Кстати, о гриме, — задумчиво проговорила она. — У меня в голове глупая сцена: словно бы я не накладываю все это, — Марына указала на поднос с баночками и флакончиками, — себе на лицо, свое старое лицо, — она рассмеялась, — не изменяю себя, чтобы казаться не такой, какая есть на самом деле, — актриса вздохнула, — что я могу оставаться собой и при этом играть все те роли, которые люблю, — она покачала головой, — но это невозможно.

— Но почему невозможно? — сказал Рышард. — Почему?

— В тебе говорит писатель, — она улыбнулась. Как ему хотелось сжать ее руку! — Ни один писатель не может понять, что игра не имеет никакого отношения к искренности. И даже к чувствам — это иллюзия. Игра — это видимость. Решимость. Игра должна быть бесчувственной.

— Неправда! Вы же сами говорили мне, что переживаете, вплоть до физического недомогания, все эмоции тех персонажей, которых играете.

— Мало ли что я говорю о себе!

— Но ведь вы…

— Рышард, я говорю о том, как стать хорошим

актером. Я не так уж хороша, просто лучше других. Знаете, почему большинство актеров так плохи? Они полагают, что для показа сильного чувства нужно переигрывать. Они не умеют играть. Не умеют скрывать. Я пытаюсь растолковать это нашим юным актерам. Вспоминаю пана Заленжовского, который не раз повторял, делая мне замечания: «Не принимай свою горячность за гениальность. Многое придется отмести, прежде чем ты чего-нибудь добьешься». Он оказался прав. Но он даже не догадывался, насколько, ведь пан Заленжовский был очень… — она старательно подбирала нужное слово, — старомодным человеком.

— Вообрази, — говорила она Крыстыне. — Ты молодая девушка, живешь с мужчиной, который намного старше тебя, к тому же иностранец. Он пообещал жениться на тебе, но есть одно препятствие — где-то у него осталась жена, однако ты, разумеется, называешь его своим мужем. И вот у тебя появляется ребенок. Порой мужчина бывает груб, но ты любишь его и всегда находишь оправдания для той боли, которую он тебе причиняет. Твой дом — дурно обставленная комната в неприветливом шахтерском городке, вдали от того прекрасного города, где ты родилась, и

любимого дома твоего детства. Представь себе эту комнату. Грязное окно. Печь. Шкаф. Широкая кровать. В углу — колыбель, где блаженно спит твоя маленькая дочь. Простой деревянный стол и два стула. Время ужина. И вот мужчина, с жадностью проглотив ту скудную пищу, которую ты приготовила, утирает рот рукавом и заявляет, что уходит от тебя. Он встает из-за стола. Ты бежишь за ним до самой двери, умоляешь остаться. Он громко хлопает дверью. На самом деле он еще вернется. Да, не так-то легко тебе будет отделаться от этого подлеца, но ты еще об этом не знаешь. Для тебя он ушел навсегда. А теперь покажи мне, что ты будешь делать? Ты — на дне отчаяния. Покажи. Нет. Иди туда, к двери.

Стоя у двери, Крыстына мгновение помедлила, затем принялась всхлипывать. Ссутулившись, она прошла на середину комнаты; потом упала на стул, навалилась грудью на стол, вытянув руки прямо перед собой, и уронила на них голову; затем опустилась на колени, воздела руки под углом в сорок пять градусов и молитвенно сложила их; потом…

— Нет! Нет! Нет!

Крыстына покраснела и поднялась с колен.

— Но, мадам, я видела, как вы сами делали это.

Помните, когда вы играли…

— Нет!

— Расскажите же, что я должна делать.

— Ты медленно возвращаешься в комнату… только не очень медленно… собираешь посуду… садишься на стул, немного грузно. Смотришь в стол.

— И все?

— Да.

— И не молюсь?

— Я же сказала, это все.

«Господи боже мой, — говорит она себе. Марыну нельзя назвать глубоко верующей, если не считать тех моментов, когда она мучается (а когда она не мучилась за последнее время?), — боже всемогущий, будь милостив! Избавь меня от этой неудовлетворенности или позволь мне осуществить свое желание. Боль на время утихла, но теперь Богдан замечает одни лишь препятствия, он решил, что это — безумие, спрашивает, зачем ему нужно все бросать, и просит меня пообещать, что мы еще вернемся. Сегодня вечером я должна поговорить с Богданом. Усажу его на кровать, сожму его милые руки и пристально посмотрю в глаза, но нет, не хочу подкупать его показным чувством, не буду прибегать к актерским хит-

ростям, — о господи, как же я разочарована! И все-таки Богдан должен признать: я сделала все, что позволяли мои способности. Я отдала нашей родине все, что должна была отдать, не забывая о своей патриотической миссии. Подумать только, единственной трибуной в Варшаве, с которой полякам разрешено говорить по-польски, служит сцена! Я была покорной и благоразумной. Благодарной, когда требовалось. И Генриху тоже — за все его измены, за то, как грубо он возвращался в мою жизнь и постель, когда ему только заблагорассудится, — Генриху прежде всего. Он не вправе упрекнуть меня в неблагодарности. И моя милая подруга, жена русского управляющего театрами, знала, как я благодарна ей за покровительство. Все, чего я добилась здесь, в Варшаве, стало возможным только благодаря ее вмешательству. Когда я решила, что пора показать варшавской публике Офелию, а главный цензор отказался дать театру разрешение на постановку „Гамлета“ — только потому, что в пьесе изображалось цареубийство! — она пригласила этого человека домой и убедила его, что убийство — всего-навсего семейная драма, а посему совершенно безобидно. И он дал разрешение. И это лишь один пример ее доброты ко мне. Но

с тех пор как госпожа Демичева умерла, никто мне больше не покровительствовал. Будь она жива, они не посмели бы поставить эту пьесу, эту… комедию о стареющей актрисе, супруге богатого землевладельца, чьи званые вечера по вторникам изображались с такой неприязнью. Теперь-то я понимаю, что популярная актриса, занявшая высокое положение в обществе благодаря своему браку, обречена стать предметом насмешек. Какое бесстыдство! Фривольные салонные пересуды — и наши возвышенные патриотические беседы! Ведь они были настолько возвышенными и патриотическими, что пробудили бдительность русских властей. Эти власти каждый вторник выставляли у нашей двери двоих полицейских, которые следили за нами, записывали имена всех наших гостей, выспрашивали у тех, кто приехал из-за границы, их адреса и какие у них с нами дела. Но меня никогда не удивляло то, что творят наши угнетатели. Вот где настоящие критики! Вот где завистливые актеры и посредственные драматурги! Если б я только умела ненавидеть, возможно, ненависть приносила бы мне облегчение. Нужно обладать стальным характером и каменным сердцем — но у какого подлинного артиста есть такая броня?

Лишь тот, кто чувствует, может вызвать ответное чувство, лишь тот, кто любит, способен внушить любовь. А если бы я казалась хладнокровной и надменной, меньше ли я страдала бы? Нет-нет, мне нужно просто играть! Да, публичная жизнь — не для женщины. Ее место — дом. Там она царит — неприступная, неприкосновенная! Но женщина, которая дерзнула поднять голову выше других, протянула жадную руку за лаврами, не побоялась выставить перед толпой весь восторг и отчаяние своей души, — такая женщина дала право каждому рыться в самых сокровенных тайниках своей жизни. Для любопытных нет ничего занимательнее подслушанных обрывков откровенного разговора актрисы или слухов о ее беспорядочных связях и непонимании в семье. Господи боже мой, неужели моя жизнь должна быть вечным искуплением за грехи — мои и чужие? Впрочем, все это не имело бы значения, если бы касалось одной меня. Но когда жестокость и злоба ополчаются против тех, кто мне дорог, я начинаю ненавидеть этот позорный столб, называемый Сценой. Богдан, бескорыстный, великодушный Богдан не в силах меня защитить. Тот факт, что любящий муж актрисы из этой пьесы родился и вырос в Познани, он приводит

лишь в доказательство того, что актриса — я, словно бы ему безразлично, насколько оскорблен он сам. Но для такого человека, как Богдан, возможно либо молчание, либо то, что произошло два года назад, когда он без моего ведома вызвал на дуэль одного варшавского критика; к счастью для Богдана, критики — трусы. У меня сердце разрывается. Теперь брат Богдана в самом деле меня возненавидит. Я слышу, как все судачат об этом — с тех пор, как на прошлой неделе состоялась премьера, но никто, разумеется, не говорит на эту тему с нами. В субботу мы обедали с критиком из „Газеты польской“, но Богдан ничего не сказал, критик тоже. В следующий раз, когда я увидела этого человека (он всегда приходит на наши „вторники“), мне захотелось отвести его в сторону и спросить, не сердится ли он на меня, — кажется, на меня сердятся многие, потому что я играю в стольких зарубежных пьесах. Но разговор, который вращался вокруг истинной свободы и страданий нашего народа, оказался таким увлекательным, и мне стало стыдно за то, что я озабочена собственными страданиями.

Тогда я написала два письма, спокойных, возмущенных, горделивых, — одно в его газету, а другое директору театра, по его словам, моему

поклоннику, — но так и не отослала их. Следует знать, что, если ты добилась успеха, когда-нибудь, задолго до того, как ты от него устанешь, публика отвернется от тебя — я говорю сейчас не только об этой пьесе. Публика ветрена. Моим зрителям необходимо новое, молодое лицо. Да, наверное, публика недовольна мною, но я не могу играть лучше, по крайней мере — в Варшаве. Нам нужно бежать отсюда. Богдан не должен страдать из-за вражды, что окружает меня, хотя, конечно, многие меня защищают. Друзья будут говорить, что меня выжили этой пьесой, даже те из них, кто знает, что я уже давно собиралась уехать за границу. Но они также будут обвинять меня в том, что я обиделась — обиделась до такой степени, что наконец уехала. Богдан раскаивается в том, что вообще согласился на отъезд, не спускает с меня глаз, видимо, надеется, что сможет управлять моим смятенным духом, — как муж, он наверняка считает это своим долгом. Я должна быть ему благодарна. И я благодарна. Господи боже мой, я так страстно ждала этой перемены — так трудно было все устроить, — и вот теперь все рухнуло! Я больше не мечтаю об отъезде, ведь люди подумают, что я убегаю, но я всегда о чем-нибудь мечтала. В детстве у меня

было Рождество, несмотря на то что мы были так бедны и мне никогда не дарили подарков. Я мечтала о том, как вырасту, о, как я мечтала об этом! Не могу сказать, что была счастлива в той темной крошечной комнатушке вместе с другими малышами, но я не чувствовала себя маленькой и грезила о том времени, когда стану свободной и сильной, уеду далеко, и люди… Нет, не буду клеветать на свое детство. Я *была* счастлива, я знала, что во мне горит свет, и уверенно смотрела в будущее. О Господи, не бросай своего слабого чада! Я запуталась, как я устала играть!»

2

Бог — тоже актер.

Он выступал бессчетное количество сезонов во всем разнообразии старомодных костюмов и вдохнул жизнь во многие трагедии и несколько комедий; он многоликий (но обычно играет мужские роли), всегда величавый, импозантный. В последнее время (на дворе вторая половина девятнадцатого столетия) Он стал получать скверные рецензии, хотя и не настолько скверные, чтобы совсем закрыть спектакль. Его дорогое, привычное имя все еще остается притчей во языцех. А его участие по-прежнему дарует неоспоримую значимость любой драме.

Поднимается ветер. Пульсируют созвездия. Вертится Земля. Плодятся люди. (Скоро шагающих по земле станет больше, чем лежащих под землей!) История усложняется. Темнокожие стонут. А бледнолицые (Божьи любимцы), мечтая о завоеваниях, спасаются бегством. Дельты и устья людей. Он поворачивает их на запад, туда, где больше простора. Европейское время — одиннадцать утра. Сегодня Бог не облачен ни

в царскую мантию, ни в крестьянский наряд, которые Он так любит носить. Нынче Он — Господь Заведующий, одет в шерстяной костюм-тройку, белую накрахмаленную сорочку, нарукавники и галстук-бабочку и (ведь Богу тоже хочется быть модным) жует табак. Преобладающие цвета этой декорации — желтый и коричневый: его вращающийся стул и огромное бюро сделаны из светлого дерева; гладкая медная фурнитура стола, ящики которого набиты бумагами; истертая, с небольшими вмятинами медь лампы на «гусиной шее» и стоящей рядом плевательницы. Положив локти на столешницу, где сложены стопками бухгалтерские книги, Он знакомится с отчетами о численности населения, с экономическими сводками и топографическими съемками. Он только что сделал новую запись в одной из книг.

Отдельные истории сливаются. Препятствия устраняются. Семьи распадаются. Приходят новости. Бог-Агент бюро путешествий разослал гонцов повсюду, чтобы возвестить приближение Нового мира, где бедные смогут стать богатыми, где все равны перед законом, где улицы вымощены золотом (это для неграмотных крестьян), а земля раздается (то же самое) или продается по дешевке (это для умеющих читать). Деревни начинают

пустеть, причем первыми уходят самые смелые или самые отчаянные. Толпы безземельных крестьян устремляются к воде (Бремерхавен, Гамбург, Антверпен, Гавр, Саутгемптон, Ливерпуль) и набиваются в трюмы зловонных судов. Волна переселенцев из покрытых сажей, распластавшихся под пологом ночи городов с горящими огнями не столь заметна, но тоже непрерывно движется. Бог просматривает судоходные расписания. Бог благодарит Себя за то, что отошли в прошлое все ужасы «срединного перехода»: плывут только те, кто *хочет.* Кроме того, — еще раз спасибо, — пересекать Атлантику становится все безопаснее, несмотря на то что в прошлом году погибли пять Его верных францисканских монахинь, когда «Дойчланд» вышел из Бремерхавена, взял курс на Америку и затонул у предательских берегов Кента. Не только безопаснее, но и быстрее: новым пароходам теперь достаточно восьми дней. Разумеется, Бог предвкушает тот день, когда люди смогут пересекать океаны за более короткое время. А потом еще быстрее — по воздуху. Бог любит скорость, как и любой бледнолицый. Сейчас все ускоряется, убыстряется. И, наверное, это хорошо, потому что людей стало намного больше.

Бог притворяется нетерпеливым. Но это не

значит, что Он нетерпелив на самом деле. Просто Он… играет. (Такой тип великого актера, который не чувствует или пытается ничего не чувствовать; бесстрастный, отчужденный. В отличие от Марыны, которая чувствует все, и потому так нервна.) Но люди, которых Бог-Перводвигатель гонит навстречу новой судьбе, и вправду нетерпеливы — им не терпится уехать в те места, которые, в их понимании, не обременены наследием прошлого, места, которые нужно не сохранять в исконном виде, а, наоборот, непрестанно переделывать, избавляясь от ожиданий и начиная все заново с облегченной ношей. И чем быстрее они будут идти, тем легче станет их ноша.

Бог всему этому потакает. Потакает жажде новизны, пустоты, отсутствия прошлого. Мечте о том, чтобы превратить жизнь в чистое будущее. Возможно, у Него просто нет выбора, хотя тем самым Бог-Звезда подписывает Себе смертный приговор как актеру — звезде из звезд. Он больше не сможет рассчитывать на главную роль в какой-нибудь значительной драме, которую будут смотреть наиболее желанные, образованные зрители. Отныне Ему в лучшем случае придется играть роли второго плана, если только он не ока-

жется в живописной гавани, где люди никогда не видели пьес без Его участия. Все это перемещение публики приведет к завершению Его карьеры.

Знает ли об этом Бог? Вероятно, знает. Но это Его не остановит, ведь Он — опытный актер.

Богу плевать.

В мае 1876 года, когда Марыне Заленжовской исполнилось тридцать пять, она в самом зените славы расторгла оставшиеся ангажементы сезона в варшавском Имперском театре, гастрольные ангажементы в краковском Польском театре, познаньском Большом театре и львовском Театре графа Скарбека и сбежала на семьдесят миль южнее родного Кракова — там в декабре 1875 года в частной гостиной отеля «Саски» состоялся известный нам званый ужин, — в горную деревню Закопане, где обычно проводила конец лета. Вместе с ней уехали ее супруг, Богдан Дембовский, семилетний сын Петр, вдовая сестра Йозефина, художник Якуб Гольдберг, *jeune premier*[11] Тадеуш Буланда и школьный учитель Юлиан Сольский с женой Вандой. Эта новость вызвала большое недовольство у публики, и одна варшавская газета отомстила Марыне, заявив,

[11] Примечания: 11
«Первый любовник», актерское амплуа *(фр.)*.

что актриса решила навсегда покинуть сцену, но это немедленно опроверг Имперский театр (с которым был заключен пожизненный контракт). Два недоброжелательных критика предположили: настало время признать тот факт, что самая знаменитая актриса Польши уже пережила свой расцвет. Поклонники же, в особенности пламенные последователи из числа университетской молодежи, боялись, что она тяжело заболела. Год назад Марына перенесла брюшной тиф и, хотя она оставалась прикованной к постели лишь две недели, несколько месяцев не играла. Ходили слухи, будто жар был таким высоким, что у нее выпали все волосы. Волосы действительно выпали. Но потом отросли.

Поэтому друзья из числа непосвященных ломали себе голову над тем, что же произошло на сей раз. Слабые легкие были наследственной чертой в большой семье Марыны. Туберкулез унес ее отца в сорок лет и позже забрал двух сестер; а в прошлом году заболел ее любимый брат, некогда известный актер, слава которого ныне зиждилась на том, что он — *ее* брат. Краковский доктор Стефана, ее друг Хенрик Тышиньский, надеялся отправить его вместе с ними подышать чистым горным воздухом, но брат был настолько слаб,

что не вынес бы этой утомительной поездки — двухдневной тряски в крестьянской телеге по узким, изрытым колеями дорогам. А может, Марына и сама?.. Что, если и она теперь слегла с?..

— Ну, уж нет, — твердила она, хмурясь. — У меня крепкие легкие. Я здорова, как бык.

И это было правдой… Марына с давних пор стремилась компенсировать свою внутреннюю неудовлетворенность стремлением к идеальному здоровью и посвятила себя тому, чтобы стать как можно здоровее. Как и любой многолюдный город, Варшава была нездоровой. Жизнь актера, изматывающая, полная унизительных забот, тоже нездорова. Вместо того чтобы тратить свободное время, отведенное для путешествий, на самообразование в театрах и музеях какой-нибудь большой столицы — Вены или даже Парижа, или же вести светскую жизнь на курорте вроде Баден-Бадена или Карлсбада, Марына в окружении самых близких друзей все чаще выбирала облагораживающую простоту деревенской жизни, которой жили привилегированные классы. Среди множества других деревень Закопане привлекала своим удивительным расположением — в кольце величественных вершин Татр, южной границы и единственной возвышенности

Польши, а также суеверными обычаями и сочным диалектом смуглолицых местных жителей, которые представлялись горожанам не менее экзотичными, нежели американские индейцы. Они наблюдали за тем, как высокие, гибкие горцы плясали в Иванов день с ручным бурым медведем, закованным в цепи. Они подружились с деревенским бардом — да, в Закопане до сих пор был свой бард, с трудом припоминавший певучие старинные истории о смертельных распрях и несчастной любви. За те пять лет, в которые Марына и Богдан проводили там часть лета, они сильно привязались к деревне, к ее горделивым, грубоватым жителям и собирались когда-нибудь переехать сюда жить с ватагой друзей и целиком посвятить себя искусству и здоровому образу жизни. На чистой доске уединенного учтиводикарского Закопане они запечатлели бы свое представление об идеальном сообществе.

Деревня притягивала еще и потому, что туда было трудно добраться. Зимой дороги становились непроезжими, и даже в мае, когда уже можно было предпринять поездку, единственным транспортным средством служила деревенская повозка. Не обычная, простая крестьянская телега, какими пользуются в селах поближе, а

длинное деревянное сооружение с парусиной, натянутой поверх изогнутого орехового каркаса, которое напоминало цыганскую кибитку — нет, скорее, гравюры и олеографии об американском Западе. Несколько таких кибиток можно было перехватить в Кракове на главном продовольственном рынке, куда каждую неделю приезжало несколько горцев из Закопане; выгрузив бараньи туши, овечьи шкуры и причудливых форм головы копченого овечьего сыра, они возвращались в деревню порожняком.

Сама поездка уже была приключением. Утренний свет просачивался в темную, зловонную кибитку, кучер настойчиво предлагал собственную овечью шкуру пани Марыне вместо подушки, и они сидели между мягких мешков, болтая и довольно улыбаясь. Горец нахлобучивал широкополую шляпу и, понукая двух своих першеронов, выезжал из города и спускался в долину к югу от Кракова. «Мир вашему праху!» Затейливый придорожный крест, гробница или, еще лучше, маленькая часовенка Девы Марии на перекрестке служили предлогом вылезти наружу и размять ноги, пока кучер преклонял колена и бормотал молитвы. Затем кибитка поднималась вверх по Бескидовым холмам, а когда холмы за-

канчивались, внизу лошади переходили на шаг. Сделав привал и торопливо позавтракав едой, прихваченной из Кракова, они добирались до деревушки в лучшем случае поздно вечером. По уговору с кучером крестьяне кормили их, и они засыпали крепким сном еще до наступления темноты: женщины в лачугах, мужчины — в амбарах. Еще затемно, в три часа утра, они забирались в скрипучую кибитку, чтобы совершить вторую половину путешествия, которое — после долгой и утомительной тряски, в основном рысцой, под гору — наконец-то прерывалось незадолго до полудня в единственном городишке на пути, Новом Тарге, где они могли умыться, поесть досыта и выпить жуткого вина у еврея-кабатчика. Сытые (и вскоре опять проголодавшиеся), они снова садились в кибитку, которая катилась дальше вдоль пышных зеленых лугов, окаймленных веселым ручьем. Там, впереди, на фоне ясной небесной лазури высилась известняково-гранитная стена Татр, увенчанная двойным пиком горы Гевонт. Они еще дожевывали высохший сыр и копченую ветчину, купленные в Новом Тарге, когда долина суживалась и кибитка начинала свой последний неровный подъем. Те, кто предпочитал идти некоторое время за повозкой (Марына всегда

была в их числе), неизменно бывали вознаграждены тем, что видели мельком сквозь частокол сосен и темных пихт медведя, волка или оленя либо обменивались любезными приветствиями («Благословенно имя Исусово!» — «Во веки веков, аминь!») с пастухом, одетым в длинный белый плащ и характерную мужскую шляпу из черного фетра с орлиным пером, которую он снимал при виде желанных гостей — актеров из большого города. Еще через три часа они выбирались на равнину на высоте около девятисот метров, где приютилась деревня, и уставшие лошади, которым не терпелось вернуться домой и отдохнуть, прибавляли ходу. При удачном стечении обстоятельств они с грохотом въезжали в деревню только на закате, и начиналась их временная крестьянская жизнь.

На несколько недель — иногда до месяца — они занимали низкую квадратную лачугу с четырьмя комнатами, две из которых можно было использовать как спальни: в одной ночевали женщины и Петр, в другой — мужчины. Подобно всем домам в Закопане, эта лачуга представляла собой хитроумное сооружение из еловых бревен (район был богат хвойными лесами), которые соединялись «ласточкиным хвостом» на концах, а тяжелые

стулья, столы и планчатые кровати были сработаны из более дорогой розоватой лиственницы. Сразу же по приезде они распахивали все окна с мутными стеклами, чтобы выветрить затхлый чесночный запах, раскладывали по шкафам и развешивали по стенам свои скудные пожитки (одно из условий приключения состояло в том, чтобы взять с собой только самое необходимое) и спешили насладиться неограниченной свободой. В принципе для горожан деревенская жизнь — прелестная пауза, время, свободное от работы, устоявшихся привычек и обязанностей. Они приехали отдыхать? Разумеется. Появилось ли у них больше свободного времени? Конечно нет. Всепоглощающий, обязательный режим городской жизни в деревне занимал весь день. Прием пищи. Моцион. Общение. Чтение. Игры. И, конечно же, домоводство, ведь еще одно условие приключения — обходиться без слуг. Мужчины подметали, рубили дрова и носили воду для купания и стирки. Стирать же, выбивать белье и вывешивать его для просушки было задачей женщин. «Наш фаланстер», — говорила Марына, вспоминая название главного здания идеальной коммуны, которую рисовал в воображении великий Фурье. И только приготовление пищи было

поручено хозяйке лачуги — пани Бахледе, пожилой женщине, которая переезжала в дом вместе с семьей своей сестры на время этого доходного проживания. Весь день был организован вокруг ее обильных трапез. За завтраком — кислое молоко с черным хлебом — они распределяли задания и планировали экскурсии. Поздним утром вся компания отправлялась на коллективную прогулку в долину и устраивала завтрак из черного хлеба, овечьего сыра, сырого чеснока и клюквы. По вечерам же, поужинав квашеной капустой, бараниной и отварной картошкой, они читали вслух Шекспира. Что может быть здоровее?

Как люди сознательные, Марына и Богдан не могли ограничиться положением дачников и заключили с деревней негласный договор о дружбе, выходящий далеко за рамки простого вливания денег в ее чахнущую экономику за счет их ежегодных приездов. Марына и ее друзья прекрасно понимали, что, какой бы целебной ни была Закопане для них, здоровье двух тысяч ее обитателей оставляло желать лучшего. К счастью, одним из друзей, последовавших за Марыной в Закопане, был верный Хенрик. Вскоре он уже проводил там больше времени, чем она, передоверив свою практику в Кракове одному коллеге на целых три

месяца, и лечил поселян бесплатно. Вначале они относились к нему недоверчиво, не видя никакой беды в гнилых зубах, рахите или зобе и ничего противоестественного — в смерти младенцев или болезнях людей старше тридцати пяти. Его небольшая речь по основам санитарии показалась им городской тарабарщиной, пока они не увидели, сколько жизней удалось спасти благодаря внимательному уходу (и еде, привезенной из Кракова) во второе лето пребывания доктора в деревне, в 1873 году, когда разразилась холера. И он был единственным из друзей Марыны, кто понимал бóльшую часть того, что говорили татрские горцы, даже когда говорили быстро. Их диалект включал в себя десятки слов для обозначения обычных вещей, у которых не было точных соответствий в литературном польском. Его учителем (и благодарным пациентом) был деревенский священник.

Со своей стороны, сельские жители обязывались не изменять своим привычкам (хоть и не принимали условий договора осознанно). Гости-космополиты считали, что смогут им в этом помочь. Богдан мечтал основать фольклорное общество, а Рышард — выучить их диалект, чтобы записать сказки и охотничьи истории

деревенского барда. Хенрик планировал открыть научный музей, где для наставления поселян демонстрировались бы сокровища альпийской твердыни, смутно видневшейся у них над головами, — например, впечатляющая коллекция мхов, собранная им во время восхождений на скалы. Марына выступала за открытие школы кружевниц для деревенских девочек, которая поддержала бы неустойчивую экономику и помогла бы сберечь поставленное под угрозу местное ремесло. Прошлым летом она брала уроки у одной кривой старухи, считавшейся первой кружевницей в Закопане, и под хихиканье поселянок пробовала свои силы в резьбе по дереву.

Благодаря своей труднодоступности, деревне удалось сохранить древние обычаи, общность поведения и богатые традиции устного сказа. Здесь встречалось лишь несколько типов лица и несколько фамилий. По-прежнему имелась одна грязная улица, одна деревянная церковь и одно кладбище. Настоящая коммуна! Но Марына и ее друзья оказались не единственными чужаками. Здесь пока что не появилось ни одной дачи (нарочито подражающей простоте деревянных горных хижин) или санаториев для больных туберкулезом — официальный статус здравницы

Закопане приобретет лишь через десять лет, а железнодорожное сообщение с Краковом будет установлено лишь через тринадцать. Но деревня уже приобретала популярность в летние месяцы, поскольку там проводила отпуск вместе с мужем самая знаменитая польская актриса. Когда они в первый раз приехали в Закопане, там можно было жить, спать и питаться лишь в горной лачуге. Но два года спустя, когда они впервые взяли с собой Рышарда, в деревне уже появились плохонькие меблированные комнаты, а рядом с ними — две избы, где подавали дорогую однообразную еду и вино, которое невозможно было пить. И туда уже проникла горстка туристов, которые жили в гостинице и обедали в ресторанах.

Но как сильно отличались занятия этих туристов от того здорового режима, которого придерживалась Марына! День, независимо от погоды, начинался с купания в ручье позади избы, затем — одинокая прогулка перед завтраком. Она бродила по влажным лугам, срывала незнакомые грибы с гниющих пней и, набравшись смелости, тут же съедала их, а потом читала Шекспира козам. Она пережила великое множество маний, восторженно принимая их, а затем отвергая. Некоторые касались питания: несколько дней

подряд она пила одно овечье молоко, а потом не ела ничего, кроме щей. Марына выполняла дыхательные упражнения из книги профессора Либермейстера, а также упражнения умственные: каждый день по целому часу неподвижно лежала на траве и пыталась вызвать у себя радостное воспоминание. Любое радостное воспоминание! То было начало эпохи «позитивного мышления», к которому специалисты по самоуправлению призывали мужчин, чтобы сделать из них более крепких торговцев, и которое врачи прописывали женщинам, особенно страдавшим от «нервов» и «неврастении», — если не прописывали им просто не думать вообще. Мышление (как и городская жизнь) считалось вредным для здоровья, в первую очередь — женского.

Но Хенрик был не таким, как другие доктора. Он мог сказать: «Доверьтесь благотворному воздуху Закопане, и он окажет на вас целебное воздействие». Хенрик свято верил в воздух. Но он никогда не говорил: «Отдохните, отключите ум, ограничьте себя женскими занятиями, например плетением кружев». Марына ни с кем так не любила разговаривать, как с Хенриком. Если бы он только не был так явно в нее влюблен! Одно дело, когда в нее влюблялись молодые люди вроде

Рышарда или Тадеуша; она знала, что примадонна способна внушать безумную, совершенно искреннюю, однако неглубокую страсть. Но когда такой умный, меланхоличный пожилой человек томится от любви, в которой боится признаться, это причиняет боль. Ей захотелось, чтобы он чихнул.

— Чихните, Хенрик!

— Что вы сказали?

— Я хочу услышать, как вы чихаете. Так вы кажетесь смешным.

— Я и так смешон.

Марына чихнула:

— Видите, как красиво я это делаю?

Был конец сентября, они сидели в залитой солнцем избе, которую Хенрик снял на лето. Стол из лиственницы, два стула, скамья и голые стены, если не считать кричаще-пестрых рисунков на стекле с пастухами и разбойниками, нарисованных местными пастухами и разбойниками, — эту комнату едва ли можно было назвать гостиной, тем более приемной. И только буфет со скальпелями, хирургическими щипцами, катетерами, пилочками, зеркальцами, микроскопом, стетоскопом, закупоренными пузырьками и книгами по медицине с загнутыми уголками — скромная

выборка из его хорошо оснащенного кабинета в Кракове — напоминал о его профессии.

— Говорите, простудились? Что же в этом удивительного, если вы упорно ходите босиком по траве и купаетесь на рассвете в ледяном ручье?

— Я не простужена, — закашлялась она.

— Ну, разумеется. — Он подошел к скамье, где она сидела, и протянул ладонь.

— Ах, благотворный воздух Закопане! — сказала Марына, подавая ему свою тонкую кисть.

Склонившись над ней, он закрыл глаза. Прошла минута. Свободной рукой Марына дотянулась до тарелки с малиной в конце скамьи и медленно съела три ягоды. Прошла еще минута.

— Хенрик!

Открыв глаза, он озорно усмехнулся:

— Мне нравится проверять у вас пульс.

— Я заметила.

— Могу вас еще раз заверить. — Он опустил ее руку. — Вы совершенно здоровы.

— Перестаньте, Хенрик. Съешьте лучше малинки.

— А как ваши головные боли?

— У меня всегда болит голова.

— Даже в Закопане?

— Да, стоит лишь расслабиться. Как вы знаете, у

меня редко бывает сильная головная боль, когда я очень много работаю.

Он вернулся к столу:

— И все-таки инстинкт верно подсказывает вам искать здесь убежища от варшавской суеты и всевозможных гастролей, как только появляется возможность.

— Какое там убежище! — воскликнула она. — Согласитесь, друг мой, это уже не та богом забытая деревня, какой была четыре года назад, когда мы сюда приехали.

— Когда *вы* приехали, дорогая Марына. Позвольте напомнить, что вы — первая известная особа, которая стала приезжать сюда каждое лето. Я просто последовал вашему примеру.

— Я имела в виду не вас, — сказала она, — а всех остальных.

Хенрик наклонил голову, приставил указательный палец к бороде и взглянул через окно на живописный вид горы Гевонт и далекую вершину Каспровы.

— Чего же вы хотели? Всякий раз, когда вы с Богданом приезжаете сюда, еще несколько человек открывают для себя красоты этого места. Вы сами заселили деревню!

— Но, по крайней мере, они — мои друзья. Но

сейчас появились какие-то незнакомцы в этой так называемой гостинице, которую открыл старый Чарняк. Гостиница в Закопане!

— Люди следуют за вами по пятам, — сказал доктор с улыбкой.

— А иностранцы? Вы же не станете утверждать, что они здесь из-за меня? Слава богу, хоть англичане. — Она сделала драматическую паузу. — Если уж без туристов не обойтись, пускай они будут англичанами. По крайней мере немцев нет.

— Подождите немного, — сказал он, — появятся.

В этом году все было по-другому. Во-первых, они приехали намного раньше обычного и не в отпуск. Богдан предложил собрать всех участников предприятия — *их* предприятия: Богдана оказалось нетрудно в очередной раз уговорить. Марына полагала, что нужно пригласить лишь нескольких друзей — колеблющихся. Рышарду же и остальным, на которых, по ее мнению, уже можно положиться, приезжать не стоило.

Съездив в Краков и забрав Петра, — два года назад Марына вывезла ребенка из Варшавы, где преподавание в школах велось по-русски, к своей матери в Краков, там более терпимые

австрийские власти разрешали обучение на польском языке, — Марына и Богдан целую неделю проводили вечера на квартире у Стефана, где к ним часто присоединялся Хенрик и сдержанно подбадривал их. Теперь Стефан бóльшую часть времени был прикован к постели. На следующее утро после приезда Богдан сам пошел на рыночную площадь, чтобы договориться обо всем с одним из горцев, которые наверняка слонялись без дела, распродав партию баранины и сыра. Его окружили знакомые лица, люди наперебой предлагали свои услуги и кибитки. Богдан выбрал высокого детину с прямыми черными волосами, который изъяснялся несколько вразумительнее остальных, и на своей комической смеси литературного польского и местного говора попросил парня передать старой вдове, у которой они снимали избу в прошлом сентябре, просьбу — подготовить дом для прибытия его самого, его жены, пасынка и еще пятерых человек. Этот парень по имени Ендрек должен был доставить их в деревню ровно через неделю. Горец ответил, что для него великая честь — везти графа, графиню и их компанию в своей кибитке.

Они бывали здесь только летом, когда с гор выше лесного пояса уже сходил снег, а луга

отцветали. Теперь же горные вершины оставались заснеженными (зимы в Татрах — долгие и суровые), но, когда кибитка покатилась вдоль зеленых лугов, устланных фиолетовыми с темно-синим оттенком крокусами, пассажиры Ендрека ощутили весну. Марына приехала в деревню возбужденная и раздражительная — эти эмоции она связывала с душевным подъемом, наступающим после принятия великого решения, — и с беспокойством, вызванным привычными неудобствами поездки. Она была уверена, что это не мигрень, хотя головокружение и бесцельная активность отчасти напоминали те ощущения, что появлялись за три-четыре часа до начала головной боли. Нет, это вряд ли мигрень. Но, стоя рядом с Богданом и любуясь закатом, она осознала — у нее что-то не так со зрением. Перед глазами мелькали ослепительные зигзаги, вспышки и светящиеся точки, солнце буквально закипало, и она больше не могла не замечать пульсации в правом виске и давления в затылке. Марына, которая ни разу не отменила спектакля из-за головной боли, буквально свалилась и целые сутки пролежала в неосвещенной спальне, обмотав полотенцем голову и погрузившись в тягостное оцепенение. Петр заходил к ней на

цыпочках и спрашивал, когда же она встанет: он явно нуждался в ласке, и она старалась хоть на время задержать сына. Ей было приятно с зажмуренными глазами гладить его по волосам или целовать руку. Но когда она открывала глаза, Петр казался очень маленьким и далеким — таким же, как Богдан, который суетился у кровати и спрашивал, что ей еще принести; казалось, будто у них на лицах решетки. Множество лиц выглядывало из-за темных балок потолка, который висел прямо над ней и давил, мерцая и искрясь. Ей хотелось лишь одного — чтобы ее оставили в покое. Ее рвало. И клонило в сон.

Мигрени, которая начались у нее позже, не шли ни в какое сравнение с этой — одной из самых страшных на памяти Марыны. Но, поправившись, она стала очень капризной. Марына коротала долгие бессонные ночи, наблюдая за тенями на стене (одну масляную лампу она не гасила) и прислушиваясь к аденоидному дыханию Петра, храпу Йозефины, кашлю Ванды и лаю овчарки. Каждую ночь Петр забирался к ней в постель и говорил, что ему нужно выйти во двор, и приходилось выводить его, потому что во дворе жила жуткая ведьма, похожая на старую пани Бахледу. И когда они возвращались в спальню,

мальчик хотел снова залезть к ней в постель, поскольку боялся, что ведьма может убить его во сне. Напрасно Марына пыталась пристыдить Петра, говоря, что у такого взрослого мальчика уже не должно быть детских страхов. Но вскоре, услыхав сонное сопение, она перекладывала ребенка на его матрац и выходила на улицу посмотреть на усеянную звездами черноту. В конце концов, за пару часов до рассвета, она засыпала. И видела странные сны: о том, как ее мать превратилась в птицу, Богдан поранил себя ножом, а на дереве висело что-то ужасное.

Марына часто уставала. А потом несколько дней чувствовала себя, как она сама выражалась, «угрожающе хорошо», поскольку исключительная активность или хорошее настроение могли служить признаком того, что на следующий день ее выведет из строя мигрень. Игривые мысли, безудержное желание смеяться, петь, свистеть или танцевать — за все это приходилось платить. Убежденная в том, что головные боли вызваны отдыхом от работы, она совершала утомительные, как никогда, прогулки; создавалось впечатление, будто она собрала вокруг себя друзей лишь с той целью, чтобы их бросить.

Она гуляла отчасти для того, чтобы изнурить

себя, — и не нуждалась в компании. Богдан помогал ей одеться, нежно обувал и смотрел вслед, пока она не исчезала на юго-востоке. От деревни до более высокого луга, ведущего к горе Гевонт, было около семи километров. Перейдя луг, она попадала в лес, брела по тропинке и, запыхавшись, выходила на еще более возвышенное плато, поросшее травой, карликовым кустарником и альпийскими цветами. Легкомысленно отдавая дань Адриенне Лекуврер, умершей из-за отравленных цветов, она собирала букетик эдельвейсов, целовала цветы без запаха и подставляла лицо солнцу. Она была бы не прочь совершить восхождение на гребень Гевонта, куда уже взбиралась в прежние годы вместе с Богданом, друзьями и деревенским проводником. Но боялась мрачных фантазий, роящихся в голове, и не решалась сделать это в одиночку. Даже пробраться в предгорье по лоскуткам тающего снега и немного подняться вверх по склону она отважилась бы лишь в сопровождении Богдана — и только Богдана.

Богдан шагал быстрее, Марына не возражала и шла позади. Так она могла чувствовать себя одновременно защищенной и одинокой. Но порой подзывала мужа — если замечала какую-нибудь

деталь, которую он мог пропустить. Ворону на ветке. Силуэт хижины. Крест на холме. Стайку серн или каменного козла на ближнем утесе. Орла, ринувшегося вниз на какого-то незадачливого сурка.

— Постой, — вскрикивала она, — ты видел?

Или:

— Я хочу тебе что-то показать.

— Что?

— Вон там, наверху.

Он смотрел, куда показывала ее рука.

— Отсюда. Иди сюда.

Он шел к ней и на полпути смотрел снова.

— Нет, именно здесь.

Она брала его за руку и вела туда, где сама остановилась полюбоваться видом, чтобы он мог поставить свою ногу именно… туда. Потом, стоя рядом, они видели одно и то же, и он на мгновение задумчиво замирал, показывая, что он действительно это увидел.

«Какая же я тиранка! — думала порой Марына. — Но он, кажется, не возражает. Он такой добрый, такой терпеливый — идеальный муж». То была истинная свобода, истинное удовольствие от брака, верно? Когда ты могла попросить кого-то, законно потребовать от кого-то, чтобы

он увидел то же, что и ты. В точности то же, что и ты.

Из письма, которое Марына передала одному из горцев, отправляющихся на рынок в Краков, чтобы он отослал его сразу же по прибытии:

«Рышард, чем ты занимаешься, о чем думаешь, какие планы строишь? Учитывая, какого ты высокого мнения о себе, мне, наверное, не следовало бы сообщать, что мы все здесь по тебе скучаем. Впрочем, не зазнавайся! Возможно, все дело в том, что мы остались без наших любимых занятий. Вначале целых два дня шел снег — да-да, снег в мае! А теперь вот уже третий день идет холодный дождь, поэтому Богдан, я и наши друзья обречены на домоседство. Я вспомнила, что значит быть ребенком в большой семье, где тебе не разрешают выходить на улицу. Сидя взаперти, мы исчерпали все темы для разговоров, включая самые интересные, как, например, рассказ Богдана о колонии в одном из штатов Новой Англии под названием Брук-Фарм. „Ну, так развлеките же себя!“ — скажешь ты. А чем, по-твоему, мы занимались? Я придумала шарады для тех, кто хотел поупражняться в актерском мастерстве (с моей стороны нечестно было бы в этом участвовать); Богдан выиграл у Якуба и Юлиана в шахматы;

мы сочинили кучу веселых и грустных песенок (Тадеуш учится играть на *гуслях* — струнном музыкальном инструменте, который мы слышали на пастушьих стоянках); мы читали друг другу Мицкевича и проштудировали от начала до конца „Как вам это понравится“ и „Двенадцатую ночь“. И что же? Дождь так и не прекратился!

Догадайся, чем мы сегодня занимались. Нам пришлось развлекать себя стрельбой по мухам. Я не шучу! Утром я нашла среди игрушек Петра два крошечных лука, Юлиан сделал из спичек стрелы с иголками на конце, и мы по очереди целились в сонных мух, украшающих деревянные стены нашей комнаты, и аплодировали самим себе, когда жертвы одна за другой падали к нашим ногам. Представь себе Джульетту или Марию Стюарт за подобным занятием!

Только не подумай, что я приглашаю тебя присоединиться к нам только потому, что мне скучно. Мы наверняка останемся здесь, по крайней мере, еще на две недели, за это время погода улучшится и многое можно будет обсудить. И поскольку Юлиан, по-моему, проникся нашими идеями и жаждет их осуществления, мне кажется, что ты должен быть здесь, чтобы обговорить некоторые детали нового плана, в котором ты будешь играть

ведущую роль. Ты сможешь также заверить Ванду, которая очень волнуется насчет предстоящей разлуки с мужем, что проследишь, как бы он не навлек на себя излишних опасностей, хотя, зная вас обоих, я думаю, что все произойдет ровным счетом наоборот! Так что считай себя приглашенным, если (да, есть одно „если“) дашь мне слово по одному весьма деликатному делу. „Чего бы ни захотела от меня милая Марына, я охотно все выполню“, — подумаешь ты. Знаю, какое у тебя отзывчивое сердце. Но я также знаю кое-что другое. Ты простишь меня за откровенность? Обещай, что с местными девушками будешь вести себя как джентльмен. Да, Рышард, мне известны твои дурные привычки. Но умоляю, только не в Закопане! Ты — мой гость. Я еще могу вернуться сюда и несу ответственность перед этими людьми. Договорились, друг мой? Да? Тогда приезжай, дорогой мой Рышард».

Письмо Марыны задело Рышарда за живое, и он, полный решимости сделать все, о чем она его просила, на следующий же день выехал из Варшавы. Прибыв в Краков, зашел к Хенрику и попросил помочь добраться до деревни. Хенрик не только отправился вместе с ним на рынок, чтобы найти подходящего кучера, но, поддав-

шись мгновенному порыву, решил, что должен поехать с ним. Состояние здоровья Стефана не может серьезно ухудшиться, если доктор отлучится на каких-нибудь десять дней. И коль скоро был приглашен Рышард, к тому же самой Марыной, то как он мог остаться в стороне?

Рышард снял комнату в избе деревенского барда, во-первых, для того, чтобы продолжить начатую прошлым летом работу — собирание стариковских сказок, — а во-вторых, чтобы укрыться от неусыпного ока Марыны, если, несмотря на все его благие намерения, он все же не устоит перед немытыми прелестями какой-нибудь деревенской девчушки.

— Эх, коммуна! — воскликнул Хенрик, когда Богдан предложил ему тюфяк в мужской спальне. — Прошу вас, не обижайтесь, но я остановлюсь у Чарняка.

— В гостинице? — переспросил Богдан. — Вы шутите! Надеюсь, вы положили в свою медицинскую сумку дезинфицирующее средство для тюфяка, который вам там дадут?

За исключением тех случаев, когда его вызывали по какому-нибудь неотложному делу (трудные роды, перелом ноги или разрыв аппендикса), Хенрик почти все время находился в избе, помогал

Марыне и развлекал Петра. Мальчик показался смышленым, и он решил преподать ему новое эволюционное учение.

— Я бы на твоем месте, — говорил он Петру, — хорошенько подумал перед тем, как сказать священникам в школе, что друг твоей знаменитой матушки хотя бы вскользь упоминал имя великого англичанина — мистера Дарвина.

— Да как же я им скажу? — возразил мальчик. — Мама говорила, что я никогда не вернусь в эту школу.

— А знаешь, почему ты больше туда не вернешься?

— Кажется, да, — ответил Петр.

— Так почему же?

— Потому что мы уплывем на корабле.

— А что ты будешь там делать?

— Смотреть на китов!

— Которые относятся к какому классу?

— Млекопитающих!

— Великолепно.

— Хенрик! — воскликнул Рышард, который только что вернулся с прогулки. — Не забивайте парнишке голову бесполезными фактами. Рассказывайте ему сказки. Развивайте его воображение. Воспитывайте в нем мужество.

— Я люблю сказки, — заявил Петр. — Расскажите про ведьму. О том, как ее убили. Зажарили в печке. А потом она…

— Вам нужно рассказывать сказки, — повторил Рышард.

— Я знаю много сказок, — сказал Хенрик, — но мужественней от этого не стал.

Марына, всегда такая словоохотливая, стала молчаливой. Как только друзья ни старались ее порадовать!

Марына видела, с каким обожанием смотрят на нее Тадеуш и Рышард. Ей хотелось влюбиться, ведь безнадежная любовь пробуждает в человеке лучшие качества. Но когда замужество кладет этому конец, любовь становится избавлением. Любовь делает мужчин сильными и уверенными в себе. А женщин — слабыми.

Но дружба… это другое дело. Друзья делают тебя сильной. Как бы она обходилась без Хенрика? Они сидели в бору на еловом пне у зарослей лесных ягод. Петр играл стрелами и луком, сделанными в натуральную величину.

— Никогда не любил лес, — сказал Хенрик. — И вот начинаю в него влюбляться. Нужно просто представить себе, что каждое дерево — человек. Застрял в этом темному лесу. Пустил здесь кор-

ни. Машет листвой. «На помощь! На помощь!» — кричит дерево. — Я…

— Только без патетики, милый Хенрик!

— А почему бы и нет? Мне нравится.

— Тогда больше патетики, милый Хенрик!

— Хорошо. На чем я остановился? Ах да, деревья. Не двинется этот Бирнамский лес на Дунсинанский холм[12]. А потом их срубят — о таком ли спасении они мечтали? Вот, пригубите.

Марына взяла протянутую фляжку с водкой.

— Вообразите, — сказала она через некоторое время, — что вы вбили себе в голову, будто Судьба повелевает вам совершить нечто, будто вы должны идти за своей звездой. Как бы к этому ни относились другие.

— Марына, вы говорите о себе так, словно вы совершенно одиноки. Но меня поражает другое: как вам удается тащить за собой всех остальных?

— Нельзя поставить пьесу в одиночку.

— Я говорю сейчас о Закопане. Вас раздражает, что вы не можете сохранить для себя деревню, которую открыли, но вам должно быть известно: она не может оставаться такой, как прежде. И, по-моему, не должна оставаться прежней. Жизнь

---

[12] Примечания: 12
Аллюзия на «Макбета» Уильяма Шекспира.

местных жителей тяжела. Но они — не племя кочующих североамериканских индейцев. Они — отрезанное от мира поселение европейских пастухов, у которых сокращаются и без того жалкие средства к существованию. Эта земля всегда была непригодна для основательного возделывания, и вы прекрасно знаете, что железорудная шахта через несколько лет непременно закроется. Как же они тогда смогут жить, если не будут торговать своими скромными украшениями и деревянными лошадками, своими горами, видами и здоровым воздухом?

— Вы действительно думаете, что меня не волнует…

— И, как я не раз подчеркивал, — продолжал он с жаром, — именно вы, при содействии нашего дорогого, незаменимого Богдана, привели все это в движение. Впрочем, так или иначе, это должно было случиться. Как бы люди могли не прослышать о Закопане? Вы хотели, чтобы вас окружали друзья. Ваша коммуна.

— Вы считаете меня наивной.

Доктор отрицательно покачал головой.

— Претенциозной.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся он, — в претенциозности нет ничего плохого, Марына. Я и сам могу

признаться в этом восхитительном недостатке. Это польская черта — как идеализм. Но мне кажется, вам не следует путать загородную вечеринку в спартанских условиях с фаланстером.

— Я знаю, что вы не любите Фурье.

— Дело не в том, люблю я или нет вашего утопического мудреца. Я кое-что знаю о человеческой природе, тут ничего не поделаешь. Врачу трудно этого избежать.

— Неужели вы думаете, что я смогла бы стать актрисой, ничего не зная о человеческой природе?

— Не сердитесь на меня, — вздохнул он. — Возможно, я вам завидую, потому что… не могу присоединиться к вашей компании. Мне придется остаться здесь.

— Но если бы вы хотели, то могли бы…

— Нет, я слишком стар.

— Чепуха! Сколько вам лет? Пятьдесят? Нет и пятидесяти!

— Марына…

— Думаете, я не чувствую себя старой? Но это не мешает мне…

— Я не могу. — Он поднял руку. — Не могу, Марына.

На улице потеплело, и вся компания, за исклю-

чением Хенрика и Рышарда, провела вторую половину дня в лесу, а теперь сидела возле избы в гаснущем закатном свете. Приятно устав и вволю наговорившись, они с нетерпением дожидались обеда — супа и грибов двух видов: слегка подсохших бурых, которые они нашли сегодня в сосновом леске, и аппетитных маринованных темно-оранжевых *rydz*[13], собранных во время лесных прогулок в сентябре прошлого года. Богдан положил на траву железную дорогу, чтобы Петр поиграл со своими деревянными паровозиками. Марына писала письмо за маленьким столиком при масляной лампе, которую зажег Тадеуш: на бледном небе появились лунный серп и две планеты. Ванда меняла пуговицы на вышитой льняной рубашке, которую купила для Юлиана. Йозефина и Юлиан шепотом спорили за картами. Якуб делал наброски игроков. Отвечая уханью совы, заблеяли несколько отбившихся от стада овец, а из дома послышалось шипение масла на грубоватой сковородке пани Бахледы — восхитительный звук!

Подошел Хенрик, налил себе немного арака, сел на свободный стул у столика игроков и по-

---

[13] Примечания: 13
Рыжиков (*польск.*).

пытался сосредоточиться на книге. Рышард, который предпочел провести «лесной» день со своим хозяином (убивать зверей в компании другого мужчины — наиболее приятный способ избегнуть тех соблазнов, на которые намекала ему Марына), пришел последним. Он пододвинул стул к столику Марыны, достал блокнот и стал записывать охотничью историю, которую рассказал ему старик, после того как они пристрелили вторую лисицу.

Богдан беспокойно ходил взад и вперед.

— Ничего не делал, а устал, — сказал он.

Хенрик захлопнул книгу:

— Вам нездоровится?

— Вроде бы нет.

— Вы, случайно, не пробовали никаких незнакомых грибов?

— Я пробовал, — сказал Тадеуш.

— И как вы себя чувствуете, молодой человек?

— Лучше не бывает!

— Нельзя же есть все, что попадается в лесу!

— Да знаем мы, — проворчал Богдан. — Но если даже кто-нибудь поступит неосторожно, у нас ведь на целую неделю есть доктор.

— На вашем месте, — сказал Хенрик, — я доверял бы врачам не больше, чем грибам. — Он

повертел в руках пустой стакан. — Хотите, я расскажу вам назидательную историю о тех и о других? — Он рассмеялся. — Страшную историю.

Рышард поднял глаза от блокнота.

— Наверное, вы никогда не слышали о Шоберте. Сейчас никто не исполняет его произведений для клавесина, — Хенрик сделал паузу. — Он жил в Париже и был знаменит на всю Европу.

— Может, вы говорите о Шуберте? — уточнила Ванда.

— Не отвечайте ей, — сказал Юлиан.

— Увы, его звали Шоберт, — проговорил Хенрик.

Он встал, медленно раскурил трубку и застегнул куртку, словно бы собрался прогуляться.

— Так вы будете рассказывать или нет? — не выдержал Рышард.

— Это очень неприятная история. — Хенрик снова сел. — И зачем я только решил ее рассказать?

— Не дразните нас, Хенрик, — сказал Марына.

Хенрик выбил трубку о подошву ботинка.

— Можно ли мне промочить горло? — спросил он.

Йозефина принесла ему бутылку арака.

Хенрик сделал большой глоток.

— Смелее, — сказала Марына.

Хенрик окинул взглядом замерших в ожидании слушателей и улыбнулся.

— Так случилось, что этот человек, неподражаемый, превосходный артист, был весьма неравнодушен к грибам и как-то раз устроил загородную прогулку (кажется, в лес Сен-Жермен-ан-Ле, впрочем, неважно) вместе со своей женой, старшим из двух маленьких детей и четырьмя друзьями, среди которых был доктор. В двух каретах они приехали на опушку леса, слезли и дальше пошли пешком. Шоберт за день насобирал целую корзинку отборных, как ему показалось, грибов. Вечером компания добралась до «Марли» — трактира, в котором хорошо знали Шоберта, и он попросил приготовить обед из собранных грибов. Повар взглянул на грибы, заявил гостям, что они несъедобны, и не стал даже притрагиваться к ним. Но Шоберт велел повару сделать то, что велено. «А может, они и вправду несъедобны?» — спросил один из друзей. «Вздор!» — возразил друг, который был врачом. Раздраженные упрямством повара (хотя, разумеется, упрямством отличались они сами), грибники направились в другой трактир в Булонском лесу, главный официант которого тоже отказался го-

товить грибы. Заупрямившись больше прежнего, поскольку врач упорно настаивал на том, что грибы съедобны, они покинули второй трактир…

— …и устремились навстречу своей беде, — пробормотал Рышард.

— Наступила ночь, все сильно проголодались, поэтому они вернулись в Париж, в дом Шоберта. Там он дал грибы служанке и велел приготовить ужин…

— Боже, — сказала Ванда.

— …и всемером: и доктор, утверждавший, что знает все виды грибов, и служанка, которая, очевидно, попробовала их, пока готовила, и собака, которая, должно быть, попросила кусочек у служанки, — все отравились. Поскольку поддались искушению все, помощь пришла лишь к середине следующего дня, в среду, когда один из учеников Шоберта явился на урок и увидел, как они бьются в конвульсиях на паркетном полу. Им уже ничем нельзя было помочь. Первым умер пятилетний ребенок. Шоберт дожил до пятницы. Его жена умерла только в следующий понедельник. Два человека прожили еще десять дней. Из маленькой семьи Шоберта в живых остался только трехлетний ребенок, которого не взяли на вылазку и который уже спал, когда они

вернулись домой.

Петр громко хихикнул.

— Иди в дом и вымой руки, — сказал Богдан.

Ребенок продолжал возиться с паровозиками.

— Ба-бах! — закричал он. — Крушение поезда!

— Петр!

— Скверная история, — сказал Якуб, стоявший у суковатого дверного косяка. — Надо было прислушаться к совету повара в первом трактире или главного официанта — во втором.

— Прислушаться к слугам? — воскликнул Рышард. — Но в те времена все считали себя выше слуг. Чудесный образец *ancien régime*[14]

— Подумать только, так доверять врачу! — сказал Хенрик.

— Подумать только, врач возомнил себя знатоком грибов! — подхватил Рышард.

— Но Шоберт так любил грибы, — сказал Богдан. — Это он во всем виноват. Он был главой семьи и сам устроил вылазку.

— А врач? — сказала Ванда. — Ведь он был человек ученый.

— Хоть я и не должен разрушать иллюзии моей жены насчет ученых людей, — высказался Юли-

---

[14] Примечания: 14
Старый режим *(фр.).*

ан, — но факт остается фактом: виноваты оба.

— Нет, ответственность целиком лежит на Шоберте, — возразила Йозефина. — Никто не смел ему перечить. Вспомните, какой он был сильной личностью. Великий музыкант, все восхищались им…

— А как вы думаете, — спросил Тадеуш у Марыны, почувствовав неловкость из-за того, что она не принимала участия в разговоре, — если бы кто-то сказал, что грибы, которые мы собрали, ядовиты, а *вы* хотели бы их съесть…

— Разумеется, вы бы не последовали моему примеру.

— А я бы, возможно, последовал.

— Браво! — восклинул Хенрик.

Все выжидающе посмотрели на Марыну.

— Но я не настолько упряма! — вскрикнула она. — Я бы никогда не стала есть грибы, если бы кто-то сказал, что они ядовиты. — Она помолчала. — Да за кого вы меня принимаете? (За кого они ее принимали? За свою королеву.) Ах, милые мои друзья…

Марына не хотела оставаться в деревне после начала июня, когда должны были появиться первые летние туристы. В последние часы перед отъездом мужчины накупили одеял из овечьей

шерсти и шесть крепких топоров, что заменяли горцам оружие. Вернувшись в Краков, Марына навестила Стефана, бледность и худоба которого вызывали тревогу, а затем вместе с Богданом и Петром, в сопровождении Рышарда и Тадеуша, уехала в Варшаву. Там Тадеуш узнал, что ему наконец-то предложили контракт в Имперском театре, который Марына, видя, как он боится ее разочаровать, сердечно посоветовала ему принять и даже не думать присоединяться к ним. Она оказала честь Тадеушу и сопровождала его, когда он подписывал контракт, а затем задержалась для приватной беседы о своих планах с шумливым, но добродушным директором театра, который слышать ни о чем не желал и дал свое согласие только на годичный отпуск. Богдан тем временем добывал деньги для их смелого предприятия, и у приставленного к нему шпика появился новый список имен для других шпиков: это были люди, приходившие смотреть на квартиру и мебель, которые Богдан выставил на продажу.

Однако две недели спустя они поспешно возвратились в Краков к Стефану, который, давно разойдясь с женой, теперь был совершенно не в силах за собой ухаживать и переехал домой, в квартиру матери. В день их приезда, вечером,

Стефан закрыл глаза, глубоко вздохнул и впал в кому. Опустившись на колени у кровати, Марына коснулась губами его лба и беззвучно заплакала. Холодное и влажное лицо на подушке было неестественно моложавым и худым — таким она впервые увидела его на сцене и не узнала любимого друга Дон Карлоса и его порочного отца; лицо необыкновенно красивого молодого человека, перед которым она преклонялась в детстве. Просто невозможно поверить, что теперь он должен умереть!

Мать была убита горем, писала Марына Рышарду, но с нами оставались Адам, Йозефина, Анджей и маленький Ярек. Хенрик ни на минуту не покидал нас, он сделал все, что от него зависело, но спасти моего драгоценного, своевольного брата было уже невозможно. Я всю ночь сжимала его в объятиях, его тело казалось легким и высохшим, как щепка, кровь сочилась у него изо рта, и наконец он отошел.

Смерть Стефана стала также прощанием Марыны с семьей.

Богдану тоже нужно было нанести прощальный визит: он происходил из богатой помещичьей семьи, которая имела обширные владения в западной Польше, находившейся под властью

Пруссии. Марына побывала в главном имении Дембовских один-единственный раз — в 1870 году, после того как приняла предложение Богдана выйти за него замуж, но не останавливалась там, поскольку Игнаци, старший брат Богдана и глава семьи, не захотел даже встречаться с ней, сказав при этом, что самого Богдана он всегда рад видеть. Они сняли комнату на соседнем постоялом дворе.

За два дня до отъезда Богдан привел Марыну в просторный помещичий дом с белыми колоннами, чтобы познакомить со своей бабушкой, написавшей ему, что она, естественно, не возражает против этого брака. Крепко сжав руку жены, Богдан поволок ее за собой по начищенным деревянным полам (она до сих пор помнила их блеск) через все комнаты, словно они были шаловливыми или нелюбимыми детьми, которые убегали от праведного гнева взрослого или тирана-людоеда, — так сильно он боялся столкнуться с братом в этих просторных, скудно меблированных комнатах. Богдан запыхался от спешки — казалось, что он вновь почувствовал тревогу и собственную уязвимость в доме своего детства. Марыне ощущать себя ребенком не нравилось. Она и актрисой стала отчасти для того, чтобы

избавиться от этого ощущения.

Они добрались до бабушкиной гостиной, расположенной наверху. Встав на одно колено, Богдан поцеловал бабушке руку, затем опустился на оба, чтобы она могла обнять его голову. Тем временем Марына сделала реверанс (подчеркнуто несценический) и, в свою очередь, поцеловала старухе руку. После этого он оставил их наедине.

Марына никогда не встречала людей, подобных бабушке Богдана. Та родилась в 1791 году, за год до Второго раздела, когда последний король Польши, Станислав Август Понятовский, еще сидел на троне, и была реликтом далекой, более свободомыслящей эпохи. Своих внуков, возможно за исключением Богдана, она считала глупцами. И в первую очередь старшего — Игнаци, как она объяснила Марыне мимоходом, подмигнув ей слезящимся глазом.

— Он — педант, *ma chère*[15], в этом-то все и дело. Ужасный педант. Даже не надейтесь, что он смягчится или изменится. Благополучие брата не значит для него ровным счетом ничего по сравнению с суетной идеей фамильной гордости. До чего же докатилось наше храброе, мужественное

---

[15] Примечания: 15
Милая моя *(фр.).*

польское дворянство! Омерзительно! Я едва могу поверить в то, что этот лицемерный, поклоняющийся Богоматери дурак — мой родственник. Но ничего не поделаешь, *mon enfant*[16]. *Новые времена. Que voulez-vous*?[17] *И он еще называет себя сыном Церкви! Насколько я знаю, Иисус благосклонно относился к братской любви. Теперь-то вы видите подлинное лицо нашей нелепой религии. Не обязан ли христианин радоваться тому, что такая очаровательная и достойная женщина, как вы, решила осчастливить его брата? Mais non*[18]. *Я надеюсь, вы осчастливите его. Знаете, что я подразумеваю под словом «счастье»?*

Марыну больше поразило пренебрежительное отношение старой дамы к религии — она еще никогда не слышала, чтобы кто-нибудь поносил Церковь, — чем неожиданный вопрос, которым та закончила свою тираду. Богдан рассказывал, что, по слухам, у его бабушки было много любовников за время ее долгого, беспокойного замужества с генералом Дембовским — «челове-

---

[16] Примечания: 16
Дитя мое *(фр.)*.

[17] Примечания: 17
Чего же вы хотите? *(фр.)*

[18] Примечания: 18
Но не тут-то было *(фр.)*.

ком со шпагой». Решив, что у нее есть право не отвечать, Марына с подобающей скромностью покраснела: она могла без труда залиться краской или расплакаться по внутренней команде. Но отделаться от старой дамы было не так-то просто.

— Так что же? — сказала она.

Марына сдалась:

— Конечно, я постараюсь.

— Вот как, постараетесь.

На сей раз Марына не ответила, не хотела отвечать.

— Одних стараний недостаточно, *ma chère.* Привлекательность либо есть, либо ее нет. Я-то думала, вы, актриса, знаете все о подобных вещах. Не хотите же вы сказать, что актрисы вовсе не заслуживают своей любопытной репутации? Хоть чуточку? Ну и ну, — она обнажила свои беззубые десны, — разочаровали вы меня.

— Я не хочу вас разочаровывать, — горячо возразила Марына.

— Это хорошо! Но меня кое-что беспокоит. *C'est sérieux. Trop sérieux peut-être*[19]. Разумеется, Богдан слишком умен для того, чтобы пресмыкаться перед невежественными священниками, что-то

---

[19] Примечания: 19

Это серьезно. Возможно, слишком серьезно *(фр.).*

бормочущими на варварской латыни. В отличие от Игнаци, у Богдана есть ум. У него задатки вольнодумца. Иначе бы он не выбрал вас. Но я все равно беспокоюсь за него. У него никогда не было романов, как у его брата или у других молодых людей его круга. А целомудрие, *ma fille*[20], — один из великих пороков. Дожить до двадцати восьми лет и ничего не знать о женщинах! На вас лежит огромная ответственность. Это — единственный изъян, в котором я его упрекаю, но вы должны его исправить, если, конечно, он… — что объяснило бы загадку, ведь в театре есть такие мужчины, вы, должно быть, знаете, если он не…

— Он очень любит меня, — перебила Марына, охваченная внезапной тревогой. — И я люблю его.

— Я вижу, моя откровенность вам неприятна.

— Возможно. Но вы удостоили меня своим доверием. Вы бы не сказали всего этого, если бы не верили в то, что я люблю Богдана и намерена сделать все, чтобы стать ему хорошей женой.

— Прекрасно, *mon enfant*! Прелестная отговорка. Что ж, больше не буду приставать к вам с этим. Только пообещайте, что не бросите его, когда

---

[20] Примечания: 20
Дочь моя *(фр)*.

перестанете быть счастливы с ним — а это когда-нибудь да случится, ведь у вас беспокойный нрав, а он не из тех людей, которые знают, как всецело завладеть женщиной, — или когда вы влюбитесь в кого-нибудь другого.

— Обещаю, — серьезно сказала Марына. Она опустилась на колени и склонила голову.

Старая дама расхохоталась:

— А ну-ка, встаньте! Вы не на сцене. Понятно, что ваше обещание ничего не стоит, — она протянула костлявую ладонь и схватила ее за руку. — Но я все равно ловлю вас на слове.

— *Grand-mére*[21]! — В дверях стоял Богдан.

— *Oui, mon garçon, entre*[22]. С твоей невестой мы уже поговорили. Можешь забирать ее, и знай, что я вполне ею довольна. Возможно, она слишком хороша для тебя. Вы оба можете навещать меня раз в год, но *rapelle-toi*[23]: только когда твой брат будет в отъезде. Я напишу тебе, когда можно будет приехать.

Марына была в ярости оттого, что семья Богда-

---

[21] Примечания: 21
Бабушка! *(фр.)*

[22] Примечания: 22
Да, мой мальчик, входи *(фр.)*.

[23] Примечания: 23
Помни *(фр.)*.

на не считала ее достойной партией. Из-за того, что она вдова? Но не могли же они знать о том, что Генрих не имел права жениться на ней или что он еще не умер; когда его здоровье пошатнулось, он решил вернуться в Пруссию и пообещал (она надеялась, что искренне) больше никогда не вмешиваться в ее жизнь. Тогда, может, из-за того, что у нее ребенок? Но неужели у них хватило бы низости предположить, что покойный пан Заленжовский, ее муж, не был отцом Петра? Да нет же, был! Скорее всего, причина в том, что Игнаци осуждал страстное увлечение театром, которое его младший брат пронес через всю свою жизнь. Польщенная тем, что вдовствующая графиня Дембовска не разделяла семейного презрения к актрисам, Марына все же знала, что пока ее не признает старший брат, ее не признают и все остальные. Она полагала, что старая аристократка имеет некоторое влияние на Игнаци, но, возможно, на самом деле и не имеет или не желает им воспользоваться, так что Марына никогда больше ее не видела. Всякий раз, когда бабушка вызывала Богдана для ежегодного визита, у Марыны был самый разгар сезона в Варшаве или гастроли.

Они так и не признали ее. В конце концов она

завоевала любовь незамужней сестры Богдана Изабелы, но неприязнь Игнаци с годами только росла, и Богдан разорвал всякие отношения с братом. Из гордости он даже хотел вычесть из своего дохода от различных семейных имений ту долю, которая причиталась от поместья, управляемого Игнаци. Но сейчас у Богдана не оставалось другого выхода, кроме как попросить о надлежащем ассигновании этой суммы. Он написал Игнаци, объясняя причину своего предстоящего приезда. Он упомянул о некоем капиталовложении. Превосходном капиталовложении. А у бабушки попросил разрешения нанести незапланированный визит. Марына сказала, что ей тоже хотелось бы с ней попрощаться.

Едва приехав и расположившись на постоялом дворе, Богдан и Марына взяли экипаж и отправились в помещичью усадьбу. Дворецкий сказал Богдану, что граф примет его через час у себя в кабинете и что графиня-вдова находится в библиотеке.

Она сидела в высоком, глубоком кресле, обвязанная множеством платков, и читала.

— Приехал, — сказала она Богдану. На ней был белый кружевной чепец, и на морщинистом, бугристом лице виднелись пятна румян. — Уж не

знаю, рано ты или поздно. Наверное, поздно.

Богдан пробормотал:

— Я не думал, что…

— Впрочем, не слишком поздно.

Рядом с ней на низком столике стоял высокий бокал с чем-то белым и густым. Марына не могла понять, что это, пока ей с Богданом тоже не принесли по бокалу: то было разогретое пиво со сливками и кусочками мелко порезанного белого сыра.

— *A votre santé, mes chers*[24], — прошамкала старуха и поднесла бокал к запавшему рту. Потом, взглянув на Марыну, нахмурила брови.

— Вы в трауре?

— Мой брат… — и, вспомнив о склонности графини-вдовы к резким заявлениям, Марына прибавила: — Любимый брат.

— И сколько ему было лет? Наверное, он был очень молод.

— Нет, сорок восемь.

— Молодой!

— Мы знали, что Стефан тяжело болен и уже вряд ли поправится, но к этому никогда нельзя подготовиться…

---

[24] Примечания: 24
За ваше здоровье, дорогие мои! *(фр.)*

— Ни к чему нельзя подготовиться. *Ah oui*[25]. Но смерть одного человека — это всегда избавление для другого. Вопреки расхожим суждениям, *la vie est longue. Figurez-vous*[26], *я говорю не о себе. Она слишком длинна даже для тех, кого нельзя назвать долгожителем. Alors, mes enfants*[27], — она смотрела только на Богдана, — вот что я должна вам сказать: мне нравится ваша безумная затея, *çela vous convient*[28]. Но позвольте спросить, зачем вам все это?

— Есть много причин, — ответил Богдан.

— Да, много, — подтвердила Марына.

— Я подозреваю, слишком много. Что ж, действительную причину вы узнаете *sur la route*[29]. — Внезапно она уронила голову на грудь, словно бы уснув или…

— Богдан, — прошептала Марына.

— Да! — Старуха раскрыла глаза. — Долголетие

---

[25] Примечания: 25
Да уж *(фр.).*

[26] Примечания: 26
Жизнь длинна. Представьте себе *(фр.).*

[27] Примечания: 27
Итак, дети мои *(фр.).*

[28] Примечания: 28
Это вам идет *(фр.).*

[29] Примечания: 29
В пути *(фр.)*

ничего не значит для людей, которые быстро расходуют восторг или мечты, когда впереди еще столько лет. Но начать все сначала — это другое дело. Это большая редкость. Если только, как обычно случается, вы не превратите новую жизнь в старую.

— Думаю, — сказал Богдан, — это маловероятно.

— А ты так и не поумнел, — сказала бабушка. — Какие книги ты сейчас читаешь?

— Практические, — ответил Богдан, — по животноводству, виноградарству, плотничьему делу, земледелию…

— Прискорбно.

— Он читает со мной поэзию, — вставила Марына. — Мы вместе читаем Шекспира.

— Не защищайте его. Он — глупец. Вы и сами не так уж умны, по крайней мере, не были умной, когда мы встречались шесть лет назад, но теперь вы даже умнее, чем он.

Богдан наклонился и нежно поцеловал бабушку в щеку. Она подняла крошечную, искривленную артритом руку и погладила его по затылку.

— Он — единственный, кого я люблю, — сказала она Марыне.

— Я знаю. А вы — единственная, кого ему боль-

но покидать.

— Вздор!

— *Bonne-maman*[30]! — вскрикнул Богдан.

— *Pas de sentiment, je te le défends. Alors, mes chers imbéciles*[31], пора вам отправляться. Мы больше не увидимся.

— Но я еще вернусь!

— А я нет, — разжав правую руку, она посмотрела на ладонь, затем медленно ее подняла. — Благословляю вас как атеистка, дети мои.

Марына склонила голову.

— *Bis! Bis!*[32] — весело воскликнула старая дама. — И один маленький совет, если позволите. Никогда ничего не делайте в порыве отчаяния. И, *écoutez-moi bien*[33], не придумывайте слишком много оправданий для своих решений!

«Всем интересно, почему мы уезжаем, — говорила себе Марына. — Ну и пусть. Пускай себе

---

[30] Примечания: 30
Бабушка! *(фр.)*

[31] Примечания: 31
Никаких сантиментов, я запрещаю тебе. Ну что ж, дорогие мои дурачки *(фр.)*.

[32] Примечания: 32
Бис! Бис! *(фр.)*

[33] Примечания: 33
Послушайте меня внимательно *(фр.)*.

сочиняют. Обо мне ведь всегда рассказывают небылицы. Значит, я тоже могу лгать. И не обязана никому ничего объяснять».

Но всем остальным нужны были оправдания, и поэтому они говорили себе:

«Потому что она — моя жена, и я должен о ней заботиться. Потому что смогу показать брату, что я — практичный человек, мужественный сын нашей родины, а не просто любитель театра и издатель патриотической газеты, которую очень скоро закрыли власти. Потому что я не выношу, когда за мной постоянно следит полиция».

«Потому что я любознателен, это моя профессия, ведь журналист должен быть любознательным, потому что хочу путешествовать, потому что влюблен в нее, потому что я молод, потому что я люблю эту страну, потому что мне нужно бежать из этой страны, потому что я люблю охоту, потому что Нина говорит, что беременна, и надеется, что я женюсь на ней, потому что я прочел так много книг об этом — Фенимора Купера, Майн Рида и других, потому что я хочу написать много-много книг, потому что…»

«Потому что она — моя мама и обещала взять меня на Выставку столетия, хоть я и не знаю, что это такое».

«Потому что я — простая девушка — стала ее служанкой. Потому что из всех девушек в сиротском приюте, которые были красивее и умели лучше готовить и шить, она выбрала меня».

«Потому что там зарождается будущее».

«Потому что мой муж хочет уехать».

«Потому что я, возможно, даже там не смогу быть просто поляком, но зато не буду просто евреем».

«Потому что я хочу жить в свободной стране».

«Потому что детям там будет лучше».

«Потому что это увлекательно».

«Потому что люди должны жить в гармонии, как говорил Фурье (судя по тому, что я слышал, это должно воодушевлять), хотя, признаюсь, всякий раз, когда я пытаюсь читать его статью о труде как ключе к человеческому счастью, глаза у меня начинают…»

— Так забудьте же про Фурье. Шекспир! — говорила Марына. — Думайте о Шекспире.

— Но в Шекспире есть все.

— Вот именно. Как в Америке. Америка подразумевает собой все.

И напыщенным голосом старомодной актрисы, который должен быть слышен на последнем ряду верхнего яруса:

— Скорее, скорее! Мимо нас проносятся толпы людей. Рядом гудит история, переходя в географию: открытое пространство, сколько хватает глаз. Кучера крытых повозок гонят лошадей вперед, словно пытаются догнать поезда, которые уже соединили оба побережья, — целая буря брызг!

Так они уехали в Америку.

3

Первыми поехали Рышард и Юлиан, чтобы найти место на западном побережье континента, которое отвечало бы мечтам эмигрантов о будущем. В конце июня они отправились в Ливерпуль — родной порт знаменитых судов, на мачтах которых развевались красные треугольные флаги с раздвоенным концом и белой пятиконечной звездой. Каждый четверг одно из судов уходило в Нью-Йорк. Шесть пароходов линии «Белая звезда», совершавшие рейсы через северную Атлантику, назывались в объявлениях самыми вместительными, быстрыми и безопасными; а судно, на которое они взяли билеты, «Германик» было к тому же и самым новым. Его построили на замену «Атлантику», который в 1873 году, подгоняемый грозными штормовыми ветрами, вошел в полосу штиля, ударился носом о гранитный берег Новой Шотландии и унес вместе с собой на дно пятьсот сорок шесть жизней. Это была самая крупная трансатлантическая катастрофа столетия, количество жертв которой в двенадцать раз превысило число погибших на «Дойчланде»

— судне северогерманского «Ллойда», вышедшем из Бремерхавена.

— Знаешь, — сказал Рышард, — мне бы очень хотелось попасть в кораблекрушение. Но с тем условием, чтобы я остался в живых.

— А я уж лучше испытаю судьбу на суше, — ответил Юлиан.

Именно Юлиан предложил отправиться из Ливерпуля, а не из Бремерхавена, откуда поляки обычно отплывали в Америку. Он прожил год в Англии и овладел основными оборотами вежливой речи на этом важном и трудном языке, в котором почему-то не было ни родов, ни падежей. Рышард, в последние месяцы упорно изучавший английский, почти не ездил за границу: он знал только Вену, Берлин и Санкт-Петербург — столицы стран-хозяев Польши. Он никогда не бывал в Англии и хотел все на свете перепробовать.

Рышард радовался тому, что в этом странствии в неизвестность у него есть попутчик; он не хотел брать на себя всю ответственность за выполнение поручения. Но его раздражало, что неизменно дружелюбный Юлиан, как более опытный путешественник, к тому же старше его на десять лет, сам позаботился обо всех приготовлениях и приключениях. Он приобщил Рышарда к щед-

ротам английского завтрака, прочитал лекцию о тяжелом положении английского рабочего класса, объяснил, к каким переменам приводит все более широкое использование энергии пара в транспорте и в промышленности, и выложил деньги за билеты первого класса в брокерской конторе на Ватерлоо-роуд. Рышард говорил, что можно бы и сэкономить (на «Германике», в отличие от других экспресс-лайнеров «Белой звезды», совершавших рейсы в Нью-Йорк, не было второго класса), но у Юлиана, как всегда, имелись свои представления.

— Экономить будем в Америке, — сказал он, махнув рукой. Так, словно бы Рышард (но только не сам Юлиан) был провинциальным поляком. Или учеником Юлиана. Или, избави господи, покорной Вандой; он слышал, как Юлиан говорил с ней таким же покровительственно-учительским тоном. «Так не может дальше продолжаться, что-то нужно менять», — сказал себе Рышард, когда они прибыли на пристань и сели на великолепное судно с четырьмя высокими мачтами и двумя толстыми оранжево-розовыми трубами, черные верхушки которых были скошены, с крикливыми матросами и молчаливыми, испуганными эмигрантами, которых отправили с их узлами

постельного белья, плетеными корзинами и картонными чемоданами по крутой железной лестнице в трюм корабля; вот тут-то он и превратится в светского человека, который всегда знает, как себя вести. «Человек является тем, кем он себя считает», — сказал себе Рышард. Кем он *осмеливается* себя считать. Считать себя тем, кем ты пока еще не стал, считать себя лучше, чем ты есть, — не в этом ли истинная свобода, обещанная страной, в которую он сейчас уплывал?

Сын конторского служащего и внук крестьянина, Рышард остро ощущал, какое сильное впечатление производят на людей такт и умение держаться в обществе, и не собирался уменьшать требований к себе, хоть и читал (и все путешественники с этим соглашались), сколь мало ценятся в Новом Свете изящные манеры. Он заметил, как Юлиан сунул пару монет носильщику, перетащившему их сундуки и сумки через сходни, и дюжему детине, который донес багаж до их каюты в миделе. Чаевые — вечный предмет раздражения для неопытного путешественника. И когда, черт возьми, Юлиан успел стать таким знатоком правил поведения на корабле? Откуда он узнал, что сразу после посадки необходимо найти себе места за столом, которые будут закреплены

за ними все восемь дней путешествия? Рышард последовал за Юлианом, когда тот уверенно направился в ресторан («обеденный салон», как он сказал Рышарду) — огромный зал во всю ширину корабля со сводчатым потолком, стенами, обшитыми полосатыми кленовыми панелями, с дубовыми пилястрами, инкрустированными красным деревом, с двумя мраморными каминами и сценой с большим роялем в дальнем конце. Вокруг четырех длинных столов располагались мягкие кресла, прикрученные к полу. На входе около десятка пассажиров столпились вокруг возвышения, на котором сидел бородатый мужчина во внушительном черном мундире с двумя золотистыми нашивками, разделенными белой полоской, на рукавах.

— Капитан? — опрометчиво прошептал Рышард.

— Старший стюард, — сказал Юлиан.

Как только Юлиан договорился о местах — они должны были сидеть за вторым столом — и ушел в каюту распаковывать вещи, Рышард нашел себе место за столом номер три. Затем он присоединился к Юлиану, который снова напомнил, что за пределами Польши при знакомстве с женщиной не следует тут же целовать ей руку («Это

считается старомодным, особенно там, куда мы плывем»). И сразу же словно попытался загладить этот намек на ностальгию по Старому Свету, показав полную гармонию с Новым — обратил внимание Рышарда на остроумно спроектированный откидной умывальник и другие удобства, например, газовую лампу и электрический звонок для вызова стюарда, которые имелись только на пароходах «Белой звезды».

— Современные удобства поначалу считаются роскошью, — пояснил Юлиан. — Но будем надеяться, что в скором времени подобные приспособления станут доступны каждому.

— Да, — сказал Рышард, думая, как заставить Юлиана примириться с тем, что он только что сделал.

— Нужно открыть сундук.

— Да.

— Что случилось?

— Ты — учитель и ученый муж. Ты ценишь изобретения. Но я — писатель.

— Ну и что?

— Я люблю игры.

— В самом деле?

Рышард продолжал молча распаковывать вещи.

— Какие игры?

— Если ты не против, — сказал Рышард, чувствуя, как лицо заливается краской, — давай сыграем в небольшую игру — будем делать вид, будто мы путешествуем порознь.

— *Что-о?*

— Скажем, мы можем знать друг друга по Варшаве. Нет, лучше так: мы познакомились перед самой посадкой, — он аккуратно вынул из сундука рубашки Юлиана. — Я назовусь паном Керулом, а ты — профессором Сольским, и мы небрежно прикоснемся к шляпам, повстречавшись на палубе.

— При том, что живем в одной каюте?

— Кто об этом узнает? Я, например, собираюсь все время проводить на палубе — изучать корабль. Только спать буду в каюте.

— И при том, что едим за одним столом?

— На самом деле, мы уже сидим за разными столами. Мне нужно поупражняться в английском. Если ты будешь рядом, я наверняка разленюсь и буду говорить только по-польски.

— Рышард, ты шутишь?

— Нет, я серьезно. Я хочу собрать материал для статей о моих впечатлениях об Америке…

— Но ведь мы еще не в Америке!

— На корабле полно американцев! Я должен пообщаться с ними.

— Ты меня не проведешь, — сказал Юлиан. — Я знаю, в чем тут дело.

— Ну и в чем же?

— Ты не хочешь, чтобы я мешал тебе обхаживать свободных девиц. Неужели ты думаешь, что старый женатый человек будет читать тебе нравоучения о вреде распутства? Господь с тобой!

Рышард ухмыльнулся. (Можно подумать, кто-то способен помешать его жажде обольщения!) Подлинная причина заключалась в том, что ему хотелось остаться наедине со своими мыслями, а не вступать в диалог. Но он остался доволен тем, что Юлиан нашел другое объяснение. Как потом оказалось, не стоило так мудрить, чтобы избавиться от подавляющего присутствия Юлиана. Вечером первого дня Юлиан весело разглагольствовал за ужином (Рышард наблюдал за ним из-за своего стола) на бог весть какие скучные темы с одной англичанкой средних лет; на следующее утро он обильно позавтракал, но к обеду так и не явился. Рышард пошел посмотреть, что случилось, и обнаружил, как тот в одной ночной сорочке беспомощно тужится над полным рвотной массой умывальником. Рышард помог ему

лечь в постель. С тех пор, хотя море оставалось спокойным на протяжении почти всего плавания, Юлиан страдал морской болезнью и редко выходил из каюты.

Рышард ни разу не почувствовал дурноты, даже во время ненастья, и счел это предзнаменованием неограниченных возможностей в будущем. «Это путешествие сделает из меня писателя, — сказал он себе, — писателя, каким я всегда мечтал стать». Если честолюбие — самый мощный стимул для того, чтобы писать лучше и больше, то его необходимо развивать, стремясь к тому, чтобы жизнь была исполнена романтики. Путешествие в Америку не входило в его мечты о романтической жизни, пока Марына не подняла эту тему в прошлом году, и Рышард решил, что именно там, в какой-нибудь прерии или пустыне, он спасет ее от индейцев, отыщет родник и принесет ей пригоршню воды или же голыми руками поймает гремучую змею и поджарит ее на костре, когда они окажутся без средств и будут умирать от жажды и голода, — именно там он наконец-то отобьет ее у изнеженного Богдана. Теперь, на корабле, к мечтам о радужных перспективах в качестве кавалера добавилась уверенность в окрепшем писательском таланте. Из статей,

которые он, как недавно назначенный американский корреспондент «Газеты польской», отошлет в Варшаву, можно будет составить серьезную книгу. Мысленно предав забвению два слащавых романа, которые он опрометчиво опубликовал еще в университетские годы, Рышард ликующе воскликнул: «Моя первая книга!»

Он никогда еще не чувствовал себя настолько писателем, никогда не был так упоительно одинок. Юлиан был унижен морской болезнью и не желал, чтобы его сосед по каюте сидел рядом и ухаживал за ним. Обычно Рышард внезапно просыпался в пять утра, но еще некоторое время оставался в постели — он заметил, что корабельная качка его возбуждает. (В первое утро он мастурбировал, представляя себе толстого коричневого моржа, который медленно перекатывался с боку на бок. «Странно, — подумал он, — завтра представлю себе Нину».) Потом вставал, умывался и брился; Юлиан тихо стонал, раскрывал невидящие глаза и отворачивался лицом к стене. В коридоре не было никого («Какие лежебоки эти богачи!»), и около часа, вплоть до самого завтрака, роскошный курительный салон с кушетками и креслами, обитыми алой кожей, был полностью в его распоряжении — он спокойно

занимался там со своими картами, атласами, английскими словарями и грамматиками. Затем, поглощая безвкусную овсянку и странноватую копченую рыбу, он мог слушать английскую речь и отвечать на этом же языке без единого польского слова. Рышард сидел в дальнем конце стола, и так случилось, что все его соседи оказались англоговорящими: некрасивые, но элегантно одетые американцы, мужчина и женщина; канадский священник, ездивший в Рим за папским благословением, и его молодой секретарь. После завтрака, независимо от погоды, он выходил прогуляться по верхней палубе, — трость из Закопане с резным костяным набалдашником в виде медвежьей головы довольно неестественно смотрелась на качающейся палубе, — затем садился в шезлонг и открывал блокнот. Оставшееся до обеда время Рышард посвящал запискам о том, что видел: о матросах, которые драили палубу и начищали медные крепления, о пассажирах, которые дремали, болтали или играли в серсо, описывал формы облаков и чаек, летящих за пароходом, точный цвет борозд величественного, однообразного океана.

Перед обедом он приходил посидеть с Юлианом, чтобы уговорить его выпить мясного бульона

с рисом, который приносили прямо в каюту, а после обеда снова возвращался с более длительным визитом, рассказать о своих встречах и наблюдениях на борту парохода и послушать лекции Юлиана об Америке. Несмотря на то что тошнота не позволила даже раскрыть экземпляр «Американской демократии», которую он прихватил почитать в дороге, Юлиан неустанно строил догадки о том, что же написал Токвиль в своей прославленной книге. Затем Рышард торопливо уходил в темную комнату с однотипными изданиями сэра Вальтера Скотта, Маколея, Марии Эджворт, Теккерея, Аддисона, Чарлза Лэмба и т. п., которые были заключены в высокие, застекленные книжные шкафы с именами знаменитых писателей, высеченными в свитках на дубовых панелях, и цитатами на морскую тему, начертанными на витражных стеклах. Там, в библиотеке, он писал письма — матери и тетушкам, друзьям, брошенным женщинам, каждой из которых обещал вернуться, ну и, конечно же, Марыне и Богдану (как бы ему хотелось писать одной лишь Марыне!). Через несколько часов он выходил на свободу, возвращался в салон, заказывал виски (новый напиток!), раскуривал трубку и в этом шумном, чисто мужском уголке

предавался целомудренным грезам о Марыне. Затем вновь требовал себе шезлонг и продолжал читать Юлианов экземпляр Токвиля либо оттачивал в блокноте писательское мастерство. Или же рыскал по палубе, всегда готовый оттачивать свое мастерство обольстителя. И, словно бы решив проверить утверждение Токвиля о том, что Соединенные Штаты придерживаются более строгой морали, чем Европа, и что американские девушки более целомудренны, нежели английские, задорно флиртовал с симпатичной, самоуверенной юной американочкой из Филадельфии, которую пытался уговорить называть его по имени.

— Но я не настолько хорошо вас знаю, чтобы называть по имени, — говорила она. — Ведь мы знакомы всего лишь три дня, в один из которых я даже не выходила на палубу, потому что… потому что мне нездоровилось.

— Оно похоже на ваше «Ричард», — настаивал он, мысленно лаская ее, — только пишется иначе.

— А вдруг мама услышит, как я называю по имени джентльмена, которого едва знаю?

— Но произносится точно так же, — сказал он, — *Ришард.* Неужели это так трудно?

«Интересно, сколько понадобится времени, — думал он, — чтобы затащить ее в постель?»

— Но вы произносите его не так, как мы.

— Я научусь, — рассмеялся он, — как только приеду в Нью-Йорк.

— Вы уверены? — дерзко спросила она. — А я не уверена, мистер… ах, не могу произнести! У вас такие смешные фамилии.

— Тогда научите меня произносить по-американски.

— Что, вашу фамилию?

— Да нет же, невозможный вы человек. *Ришард!*

И если Рышард строил планы насчет будущей близости, то с ней это действительно было невозможно.

Писатель наделен счастливой способностью — ему никогда не бывает скучно! Как Рышард узнал из объявлений, вывешенных на верхней палубе и у входа в ресторан, на пароходе устраивалось множество ежедневных развлечений: лекции, религиозные службы, игры и музыкальные вечера. Но самым занимательным оказалось завязывать с попутчиками беседу, — подобно большинству писателей, он был хитрым, обворожительно-внимательным слушателем, — рассказывать же о

себе не имело смысла.

Он считал, что скоро научится их понимать. Но даже не надеялся на то, что они научатся понимать его. Общаясь вместе с Юлианом с незнакомцами в ливерпульских пивных и ресторанах, Рышард обнаружил (и затем это подтвердилось во время первых застольных бесед на пароходе), что иностранцы не имеют ни малейшего представления о Польше, ее истории и муках. Он предполагал, что, благодаря своим почти вековым испытаниям, Польша стала известна всему цивилизованному миру. Но в действительности на него смотрели так, словно он свалился с луны.

Всякий раз за обеденным столом американцы уверяли его, что их страна — самая великая, потому что все о ней знают и все хотят туда приехать. Рышард тоже был родом из страны, считающей себя исключительной. Но мученичество развивало в людях самоуглубленность, а она отличается от эгоцентризма американцев, который проистекал из убежденности в своей исключительной удачливости.

— Если вы внимательно меня слушали, суть заключается в том, что в Америке все свободны, — сказал один из его соседей по столу, угрю-

мый субъект с веснушчатой лысиной, который долго игнорировал Рышарда, а на третий день неожиданно сунул ему визитку, представившись нараспев:

— Огастес С. Хэтфилд, бизнесмен из Огайо.

— Кливленд, — произнес Рышард, пряча в карман визитку. — Кораблестроение.

— Вот именно. Я не был уверен, что вы слышали о Кливленде, и сказал «Огайо», потому что об Огайо слышали все.

— У меня на родине, — сказал Рышард, — люди не свободны.

— Правда? А откуда вы?

— Из Польши.

— А, я слыхал, очень отсталая страна. Как и все страны, в которых я побывал, за исключением разве что Англии.

— Трагедия Польши не в ее отсталости, мистер Хэтфилд, а в том, что мы — порабощенный народ. Как ирландцы.

— Да, ирландцы тоже очень бедны. Вы видели этих грязных бедолаг, что сели на пароход в Корке? Я знаю, «Белая звезда» набивает ими целые трюмы. Прибыльный бизнес. Да и нам они не мешают — у нас здесь великолепная еда и куча персонала. Но как подумаю о том (да простят ме-

ня дамы), как они лежат друг на дружке на голых койках, позабыв всякий стыд! Вы же знаете этих людишек — им только бы этим и заниматься, да еще пьянствовать, да воровать…

— Мистер Хэтфилд, я упомянул ирландцев потому, что у них тоже нет своего государства.

— Да уж, британцам тяжело держать их в узде. Держу пари, когда-нибудь они поймут, что в этом нет смысла. Ей-богу, лучше бы им уступить и уйти восвояси.

— Все хотят быть свободными, — спокойно сказал Рышард, вспомнив, что в светском обществе считается вульгарным выражать негодование. — Но ни один народ не мечтает о свободе так пылко, как тот, который долго страдал под иноземным игом.

— Так пусть они приезжают в Америку. Если, конечно, готовы трудиться — нам не нужны грязные лодыри. Я же сказал вам: в Америке все свободны.

— Мы, поляки, мечтаем о свободе уже восемьдесят лет. Для нас австрийцы, немцы и в первую очередь русские…

— У нас каждый может делать деньги, — оборвал его сосед, завершая разговор.

Как же эти американцы упивались симво-

лами своей привилегированности, неустанно демонстрируя друг другу роскошное оборудование парохода — их части парохода! При этом не обращали никакого внимания на ту жизнь, что протекала у них под ногами, в лабиринте непроветриваемых помещений, между верхней палубой и грузовым трюмом, где находилось семь восьмых пассажиров «Германика» — около полутора тысяч человек. Перед тем как выйти в открытый океан, судно взяло на борт еще несколько сотен ирландских эмигрантов.

Рышард прекрасно понимал, что люди делятся на тех, кто живет комфортно, порой даже очень, и тех, кто испытывает неудобства. Но в Польше суровость классовых отношений смягчалась сентиментальной сплоченностью, вызванной национальной идеей и национальной бедой. В вертикальном, изменчивом мире распределение привилегий было очень жестким: вы находитесь здесь, на свету, в просторных помещениях, сытые и довольные, а они сбились в кучу там, внизу, и делят пайки в зловонной темноте.

О чем думала огромная толпа пассажиров первого класса, слушая вчера утром в ресторане лекцию преподобного А. А. Уиллита под названием «Солнечный свет, или секрет счастья»?

Только о том, что солнечный свет и счастье — это чудесно. И чему он должен удивляться? Светский человек никогда ничему не удивляется.

Писатель (утешительное заблуждение!) никогда не вмешивается в чужие дела — так думают сами писатели. На второй день путешествия, после обеда, Рышард спустился в лабиринт третьего класса. («Обязательно сходи к кочегарам, — сказал Юлиан, когда он сообщил о своем намерении. — Вспомни, что я рассказывал тебе о манчестерских фабриках».) Он позабыл обзавестись планом судна и не знал, куда направляется, лавируя и пошатываясь на качающемся полу. Рышард миновал плохо освещенное помещение, где воняло едой и кишечными газами; сквозь общий гул до него доносились детский плач, грохот оловянной посуды, кашель, крики, проклятия на всевозможных языках и бойкая песенка, которую играли на концертино. Корабельная качка внизу ощущалась сильнее, и, услышав, как кто-то блюет, он и сам ощутил рвотный позыв.

В прежние времена билет третьего класса обеспечивал право на полку размером с кровать в сыром, душном помещении, где находилось несколько десятков человек обоих полов, но после того, как это признали нарушением бла-

гопристойности, на новых судах, таких как «Германик», одиноких пассажиров мужского и женского пола стали изолировать друг от друга и от людей, путешествовавших семьями. Рышард зашел в спальню, где помещалось около сотни мужчин.

— Гляди-ка, барин! — услышал он чей-то голос, доносившийся из зловонной тьмы. А затем смех:

— Пришел поглазеть на зверей в цирке!

С полки четвертого яруса на него посмотрело сверху вниз широкое, бледное, как скатерть, лицо.

— Забыл здесь кого? — спросило лицо.

— Отстань от него, — сказала толстая женщина в косынке, стоявшая в дверях. Когда Рышард выходил наружу, она попросила у него шиллинг.

На следующий день он решил зайти с другого входа. Он замешкался наверху трапа, читая объявление, которое расстраивало все его планы: «Убедительная просьба к посетителям ресторана не давать деньги и еду пассажирам третьего класса, поскольку это может привести к нарушению порядка», — и затем столкнулся с нахальным взглядом палубного матроса, который перекрашивал спасательную шлюпку.

— Я не собираюсь ничего им давать, — сказал

он шутливо.

— Хотите спуститься в третий класс, сэр? — спросил матрос и положил кисть.

— В общем-то, да, — ответил Рышард.

— И хотите, чтобы я провел вас?

— А зачем? Разве я не могу пойти один?

— Как вам угодно, сэр. Но если я пойду с вами, то смогу показать дорогу.

Рышард не мог взять в толк, какая выгода заключалась в том, чтобы сопровождать его, и озадачился еще больше, когда, спускаясь по трапу, услышал:

— В этот рейс вы спускаетесь вниз одним из первых.

Он решил, что подобный визит пассажира первого класса — большая редкость. Моряк распахнул массивную железную дверь. Поначалу, как и накануне, Рышард не смог ничего разглядеть.

— Идите за мной, — сказал моряк.

В этом отсеке, где были расквартированы семьи, помещались каюты поменьше, на двадцать-тридцать человек. Каждая комната, как и каждая живущая в ней семья, была по-своему уныла, весела или смиренна. В одной скрипач играл для трех танцующих пар, а какой-то старик

хлопал в такт музыке; в другой, темной, как подземелье, женщины в платках кормили детей на полу, а с коек доносился громкий мужской храп; в третьей — четверо мужчин сгрудились вокруг масляной лампы, играли в покер и спорили, а старуха убаюкивала плачущего малыша. Матрос провел его по узкому проходу, который в конце расширялся и был занавешен двумя коричневыми одеялами.

— Мик! — прокричал провожатый. Из комнатушки, расположенной за импровизированной занавеской, вышел таинственный человечек с рыжими, нет, прямо-таки красными волосами — Рышард опустил руку в карман и судорожно схватился за корешок блокнота. — Вот кто вам нужен. Оставляю вас на его попечение.

— Очень любезно с вашей стороны, — сказал Рышард.

— Всегда к вашим услугам, сударь, — выпалил моряк и протянул ладонь. Рышард положил в нее шиллинг — ладонь осталась раскрытой; он добавил еще один. — Премного благодарен. Слышь, Мик, не забудь…

— Пошел вон, кобель! — прошипел злобный карлик. — Меня не Миком зовут! Английская сволочь… — зарычал он вдогонку матросу, сжимая

в руках бутылку. — На, отпей, — предложил он Рышарду.

— Я — польский журналист, — начал Рышард. — Пишу статью о нашем пароходе и хотел бы поговорить с некоторыми пассажирами третьего класса.

— Статью, говоришь? — Скалиться карлик тоже умел. — И сколько тебе их нужно?

— Мне бы поговорить с пятью или шестью из ваших друзей…

— Пятью или шестью! — воскликнул не-Мик. — Хочешь поговорить с ними? Со всеми вместе или поодиночке? — Он топнул ногой и фыркнул. «Какой-то нехороший карлик», — подумал Рышард. — Садись сюда!

Когда его подтолкнули к перевернутой корзине рядом с дверью, Рышард не на шутку встревожился: а вдруг на него сейчас нападут и ограбят? Не апачи во главе со статным вождем, что занес над ним томагавк, а карлик-фений с огненно-рыжими волосами, который размахивал бутылкой виски у него над головой? Но не тут-то было…

— Мои племянницы сойдут? У меня их аккурат шесть. Ох и красотки! Вот везу их в Америку.

Рышард почувствовал не столько облегчение, сколько досаду из-за своей наивности.

— На, промочи горло, приятель. За выпивку я с тебя много не возьму. Я вижу, ты — крепыш. Всегда готов, верно я говорю? — Рышард встал. — Эй, ты куда?

— Я как-нибудь потом, — сказал он.

И тогда человечек разразился жалобной тирадой, из которой Рышард мог понять только то, что услугами его девушек успели воспользоваться лишь несколько джентльменов из первого класса и что господину иностранцу незачем волноваться: девушки у него совершенно чистые и здоровые, он за это ручается. Карлик приподнял висящие одеяла. На кушетке с парчовыми подушками и покрывалом, взятыми, возможно, из чьего-нибудь приданого, лежали, прижимаясь друг к другу, несколько девушек с покрасневшими глазами, самой старшей на вид было не больше восемнадцати. Одна плакала.

— Совершенно чистые и здоровые, — повторил карлик.

Худые и несчастные — совсем не похожи на пухленьких, неунывающих девиц из краковских и варшавских борделей.

— Ну, как вам мои красотки?

Одна из них была хорошенькой.

— Добрый день, — сказал Рышард.

— Ее зовут Нора. Правда, девочка моя?

Девушка кротко кивнула. Рышард неуверенно шагнул вперед. В дальнем углу стояла низкая кровать. А что, если он подхватит сифилис — и ему придется навсегда отказаться от Марыны? Впрочем, он уже вошел.

— Меня зовут Рышард.

— Одной хватит, да?

— Смешное имя, — сказала она. — Вы тоже плывете в Америку?

— Все встали, красавицы мои! — прокричал человечек. Он выгнал остальных и опустил занавеску.

Как только Рышард сел на кровать рядом с девочкой, корабль резко накренился.

— Ой! — вскрикнула она. — Я иногда боюсь. — Девушка кусала кончики пальцев, совсем как ребенок. — Я никогда раньше не плавала на корабле, а тонуть, наверно, так страшно!

Когда улеглось океанское волнение, в нем медленно поднялась волна жалости. Теперь он увидел, что она еще моложе, чем он предполагал.

— Сколько тебе лет, Нора?

— Пятнадцать, сэр. — Она возилась с пуговицами штанишек. — Скоро будет.

— Ах, не надо этого делать! — Он отвел в сторону ее руку с искусанными ногтями и сжал в своей. — Много людей приходило с… сверху?

— Сегодня вы — первый, — пролепетала она.

— Все путем, сударик? — прокричал карлик из-за занавески.

— О чем это он? — спросил Рышард.

— Дайте, я приласкаю вас, — сказала девочка. Она вынула руку из его расслабленной ладони и бросилась к нему на грудь. Он крепко прижал ее к себе, обняв за талию, и погладил по спутанным волосам.

— Он хоть не бьет тебя? — прошептал он ей на ухо.

— Только если господин недоволен, — ответила она.

Он позволил уложить себя на спину и почувствовал, как ее растрескавшиеся губы прикоснулись к его щеке. Она приподняла свою хлопчатобумажную сорочку и начала тереться костлявыми бедрами о его тело. Он помимо воли возбудился.

— Я не хочу, — сказал он, приподняв ее на несколько дюймов. — Я дам тебе денег, и ты скажешь…

— О, прошу вас, сэр! — вскрикнула она. — Вы

не можете дать деньги *мне*!

— Тогда я…

— Он узнает, что я вам не понравилась, и…

— Откуда?

— Узнает, узнает! — Рышард чувствовал ее слезы у себя на шее, ее шершавый лобок. — Он все знает! Он увидит по моему лицу, потому что мне будет стыдно и страшно, а потом заглянет, ну, знаете, между ног…

Со вздохом Рышард подвинул ее хрупкое тело, расстегнул брюки, вытащил наполовину возбудившийся пенис и посадил ее снова сверху.

— Не шевелись, — сказал он, осторожно вставляя его между тощими бедрами девочки, немного выше колен.

— Что вы делаете? — простонала она. — Не сюда. Вы должны вставить его туда, где больно.

Глаза защипало от слез.

— Мы играем в игру, — хрипло прошептал он. — Давай представим, что мы не на этом огромном, ужасном корабле, а на маленькой лодочке. Лодка качается, но не сильно, и у нее есть маленькое весло, которое ты должна крепко держать ногами, потому что иначе оно упадет в воду и мы никогда не доплывем домой, но ты можешь закрыть глаза и притвориться спящей…

Девочка послушно смежила веки. Рышард тоже закрыл глаза, все еще терзаемый жалостью и стыдом, а его здоровое тело довершило все остальное. Это была самая печальная история, которую он придумал. И самая печальная игра, в которую он играл.

— Юлиан… — начал Рышард. Он сидел в каюте и смотрел, как его старший товарищ попивал бульончик. — Ты часто бывал в варшавских борделях — ну, перед тем как жениться на Ванде?

— Могу поспорить, намного меньше, чем ты, — сказал Юлиан, выдавив улыбку. — А сейчас вообще почти не хожу. В браке я остепенился.

— Порой это удручает, — сказал Рышард, разрываясь на части между пошлым желанием рассказать обо всем Юлиану и более благоразумным решением сохранить свое приключение в тайне. — Да, удручает, — повторил он, пытаясь вызвать Юлиана на разговор.

— Не больше, чем брак, — возразил Юлиан. — Что такое один грустный час без любви по сравнению с целой жизнью, прожитой с нелюбимым человеком?

Рышард понял, что ненароком вызвал желание исповедаться у самого Юлиана. На какой-то миг слабость молодого человека, у которого ни-

когда не было отца (он умер еще до рождения Рышарда), воспротивилась его второй натуре, натуре писателя, любимое развлечение которого — заставить человека разговориться. Но затем писатель одержал верх.

— Печально слышать, что у вас с Вандой разлад в семье.

— Разлад! — завопил Юлиан. — Знаешь, о чем я мечтаю все эти дни, когда сижу один в каюте и меня выворачивает наизнанку? Я тебе расскажу. Мы доберемся до Америки, отыщем место для нашего фаланстера, а потом, до того как приедут все остальные во главе с Марыной, я исчезну! Никто не узнает, куда я пропал. Впрочем, у меня не хватит на это мужества. Нового Света мне не видать.

— Ты совсем не любишь ее?

— Разве я похож на человека, который способен любить такую дуру?

— Но перед тем, как вы поженились, ты же имел хоть отдаленное представление…

— Да что я знал тогда о женщинах? Она была молода, а я нуждался в товарище. Я думал, что сумею развить ее и она будет меня почитать. Но она просто боится меня. А я не в силах скрыть раздражение. Свое разочарование. — Он тяжело

вздохнул. — Ты даже не представляешь, как я тебе завидую! Ты, слава богу, не женат и можешь с чистой совестью ходить к шлюхам, ухаживая тем временем за идеальной женщиной, которой никогда не добьешься…

— Юлиан!

— Я не должен говорить о твоих планах касательно Марыны? Но о них знают все.

— Даже Богдан?

— Уж он-то в первую очередь! Ведь он не так глуп, как моя Ванда.

— И все считают, что я смешон.

— Скажем так… еще зелен.

— Я *добьюсь* ее! Вот увидишь. У них тоже несчастливый брак. Я мог бы сделать ее намного счастливее.

— И каким же образом?

Рышард чуть не сказал Юлиану, что интуиция подсказывает ему: такой человек, как Богдан, не может сделать женщину счастливой в сексуальном отношении.

— Я буду писать для нее пьесы, — пролепетал он.

— Молодо-зелено! — воскликнул Юлиан.

Внезапно Рышарду пришло в голову, что на самом деле Юлиан не заболел, а просто пал духом,

но пытается это скрывать.

— Одевайся, и пойдем на палубу, — сказал Рышард. — Поверь, тебе сразу станет лучше.

— Что, флиртовать с девицами? Ты поделишься со мной своими победами?

— Своими победами! — рассмеялся Рышард. — Кто тебе больше по вкусу? Англичанка с лорнетом и томиком «Истории белого рабства» в ридикюле? Испанская танцовщица с кастаньетами? Французская вдова, напевающая «Пойдем со мной, лубовь м-моя» маленькой белой собачонке, с которой гуляет по палубе? Римская графиня, увешанная поддельными украшениями, которая надеется вернуть богатства своего древнего рода, охмурив состоятельного американского женишка? Дама из Варшавы, — да-да, из Варшавы, мы не единственные поляки в первом классе, — которая твердит всем и всюду, что бежит в Америку от московского ига, или ее сестра, которая так соскучилась по родине (правда, она напоминает мне Ванду), что охотно покажет тебе маленький шелковый мешочек с польской землей, который хранит между грудями? Немка, несчастная в браке, которая признается, что ее никогда не привлек бы мужчина, не разделяющий ее восхищения Вагнером? Американка, — Юлиан, ты не

поверишь, какие они забавные! — которая предлагает задаром прокатиться по железной дороге папочки? Или, может, болезненная ирландка, она путешествует со своим дядей в третьем классе… — Он рассмеялся над собственным остроумием и находчивостью: конечно, если люди хотят рассмешить, то они обычно не смеются, так почему же он не мог остановиться и хохотал, хохотал до слез? Но вскоре перестал, перевел дух и заявил: — Выбирай любую.

— Браво! — воскликнул Юлиан.

— Так ты одеваешься или нет?

Юлиан покачал головой:

— Дай мне пострадать за твои грехи. Я с радостью прочитаю о каждой из этих женщин в твоей новой книге. Не разочаруй меня! А сейчас — извини, конечно, — я боюсь, что меня стошнит.

Рышарда вывело из себя то, что Юлиан не принял его предложения освободиться от наивной жалости к себе и нездоровой бездеятельности. И как странно, что он предложил это — ведь Рышард хотел избавиться от общества Юлиана на все время поездки! Но не менее заметным, чем перемена внутреннего климата, было приближение океанского шквала.

Покорно убрав за Юлианом, Рышард вышел из

каюты навстречу солнцу и ветру, чтобы вновь занять положение насмешливого наблюдателя. Подобно большинству умных писателей, он издавна приучил себя раздваиваться. Один из живущих в нем людей был душевным, страстным и немного ребячливым для своих двадцати пяти лет, а другой, беспристрастный, равнодушный и склонный манипулировать окружающими, обладал намного более зрелым темпераментом. Первый всегда изумлялся собственному интеллекту — его поражало, приводило в трепет, когда слова, фразы, мысли и наблюдения приходили *сами по себе* и, словно птицы, слетали с уст. Второй же был обречен считать всех недалекими, и все, что он видел, бросало вызов его способностям наблюдателя и писателя, потому что все вокруг было слепо и глубоко погружено в себя (ведь «свет» — не писатель).

Первым был неуверенный в себе молодой поляк, стремившийся стать светским человеком. Второй же в глубине своей скрытной души всегда считал себя непохожим на остальных. Будучи одним из тех чрезвычайно умных людей, которые становятся писателями потому, что не могут найти лучшего применения своей наблюдательности, своему ощущению, что они отличаются от

других, Рышард знал, что интеллект может также и помешать: как можно стать хорошим романистом, если считать всех нелепыми или жалкими? Чтобы стать великим писателем, необходимо верить в людей, что означает — постоянно приспосабливать их к своим ожиданиям. Рышард никогда бы не смог презирать женщину за то, что она менее умна, чем он, поскольку глупость в избытке встречалась у всех его знакомых, включая Марыну (ее интеллект он находил «милым»). И, несмотря на то что он говорил Юлиану, Рышард был бы поистине оскорблен, если бы все оставшиеся в Польше *не* считали его влюбленным в нее. И тот, второй, кто видит людей насквозь, писатель, давал свое пылкое согласие на томление молодого человека по знаменитой актрисе, которое вызывало насмешки. Он полагал, что унижение любовью — вполне прилично и даже полезно.

Любовь — сладострастное принесение в жертву здравого смысла. Любовь как оборотень — бесконечно изменчива и в присутствии, и в отсутствие предмета любви. Его пленяло разнообразие чувств к Марыне. Сегодня это страсть — чистая страсть. Достаточно вызвать в памяти ее гладкую белую шею, изгиб груди или розовую тяжесть языка. Завтра — это очарованность. Она — са-

мый интересный человек, которого я когда-либо встречал. На следующий день — только (только!) ее красота. Будь ее лицо, жесты, голос другими, не будь она не так высока, не носи она эти мягкие, шелковистые, выразительные платья, она бы никогда не ранила меня в самое сердце. А порой, даже очень часто, — это восхищение. У нее большой талант и большая душа; она искренна, а я нет.

Он знал, что Марына одобрила бы его симпатию к пассажирам третьего класса. Через два дня он снова спустился (то ли потому, что этого захотела бы сама Марына, то ли просто потому, что он должен был вновь испытать, но уже более хладнокровно, весь этот ужас, — в ту минуту Рышард не мог точно сказать и был даже рад этому) и собрал более чем достаточно материала для статьи о поездке, почерпнув его из бесед, которые удалось завязать примерно с дюжиной оцепеневших, смущенных эмигрантов. (Старика, который зачитывал стихи Откровения Иоанна Богослова и говорил, что Господь повелел, чтобы перед самым концом света все люди съехались в «Гамерику», Рышард прибережет для рассказа.) Прошло два дня, прежде чем запах разлагающейся пищи и забитых дерьмом туалетов полностью

выветрился из его ноздрей.

Этот запах все еще преследовал Рышарда, когда капитан «Германика» отвел его в сторону и стал убеждать воздержаться от вылазок. Он, разумеется, не мог запретить «общение» пассажиров первого и третьего классов, но получил распоряжение от компании всячески ему препятствовать.

— Из соображений сохранения здоровья, — сказал он. Капитан был крупным мужчиной, настоящим великаном, которому этот жеманный язык вовсе не шел. Так думал Рышард, полагая, что тот имел в виду презренную торговлю телом, которая велась внизу. Однако речь шла о других, непосредственных неудобствах: если нью-йоркская служба здравоохранения, которая будет осматривать пассажиров третьего класса на предмет заразных или инфекционных заболеваний, проведает о том, что пассажиры первого класса спускались во время плавания вниз, то последние могут быть тоже подвергнуты карантину.

— Спасибо за вашу заботу, — сказал Рышард.

Они разговаривали в курилке, куда обычно переходили все мужчины по окончании обеда (их жены и дочери беззаботно болтали в будуаре для дам) и где Рышард освобождал себя от обязан-

ности вести вежливую беседу и сидел немного в стороне, курил трубку, наблюдал и прислушивался. Разгоряченные спиртным мужчины говорили в основном об акциях и процентах (он мало что в этом смыслил) или рассказывали о своих амурных похождениях (он пытался угадать, кто из них был с Норой), в то время как сам Рышард развивал в себе элементарную выдержку и добродушное безразличие. «Какое гигантское расстояние преодолел я на этом корабле!» — думал он. Не только множество миль, но и множество лет отделяли его теперь от того неопытного юнца, который сел на пароход в Ливерпуле. Как быстро движется интеллект! Быстрее всего на свете.

К концу плавания погода ухудшилась (в один из дней разбушевался настоящий шторм), и Юлиан, которому словно не хватало подобной встряски, внезапно почувствовал, что уже оправился от морской болезни и может вернуться к обычному режиму корабельной жизни.

— Ко мне снова вернулись силы, — заявил он Рышарду, — будто я прошел курс лечения.

Океан успокоился, и они стояли вдвоем, опираясь на перила. Юлиан предупреждал Рышарда о некоторых различиях между британским и американским английским («Билетная касса — это

ticket-office, багаж — *baggage*, вокзал — *depot*...»), и тут на палубу вышла девушка из Филадельфии.

— Вот вы где! А я вас везде ищу.

— Ах вот как, — сказал Юлиан.

Она подошла ближе.

— Доброе утро, мисс, — поздоровался Юлиан. — Прекрасный день, вы не находите? Не правда ли, жаль, что это восхитительное путешествие скоро кончится?

— Хочешь ее? — спросил Рышард по-польски. — Она — твоя.

— Что вы сказали? — спросила она. — Моя мама говорит, что невежливо говорить то, чего другие не понимают.

— Я сказал профессору Сольскому, что вы нашли меня просто очаровательным и жаждете перезнакомиться со всеми польскими джентльменами.

— Мистер Крул, как вы смеете такое говорить? Ведь это же ложь!

— Извините меня, — сказал Юлиан, — извините, мисс, — и убежал.

— Какой вы гадкий! — вскрикнула девушка. — Теперь ваш друг ушел. Если вы хотели нас познакомить, то нельзя было так себя вести. Да он смутился еще больше, чем я, — она замолчала, а

затем погрозила пальчиком Рышарду: — О, какой же вы гадкий-прегадкий! Значит, вы *нарочно* смутили своего друга?

— Да, чтобы остаться с вами наедине.

— Мы можем остаться наедине только на минутку. Я должна вернуться в каюту, чтобы помочь маме выбрать платье, которое она наденет сегодня на прощальный ужин. Но я принесла вам вот это, — девушка протянула маленький альбомчик в красном плисовом переплете и с позолоченным обрезом.

— Подарок? — сказал Рышард. — Вы принесли мне подарок, прелестница?

— Нет, это мой альбом! — воскликнула она. — Моя самая дорогая вещь, ну, если не считать… — Она запнулась в замешательстве. Список ее самых дорогих вещей был довольно длинным.

— И все же вы хотите показать мне свою самую дорогую вещь. А это значит, что я вам нравлюсь. Что же это?

— Альбом с автографами! — ликующе выкрикнула она. — И то, что я вам его показываю, вовсе ничего не значит. Я его показываю всем, кого знаю и с кем знакомлюсь, даже если они мне совсем не нравятся.

— Ну и ну! — сказал Рышард в притворном

испуге.

— Загляните. Там стихи, которые посвятили мне разные люди. У каждой юной леди есть такой альбом.

Рышард пролистал несколько голубых, оранжевых, серых, розовых, желтых и бирюзовых страниц.

— «Дитя мое, будь умницей всегда!» Кто это написал?

— Папа.

— И вы с этим согласны?

— Мистер Карул, вы задаете ужасно глупые вопросы!

— Ричард. А это?

— Что?

И он с удовольствием прочитал, щеголяя смешным польским акцентом:

— «Пусть от жизненных бурь / Укрывает тебя / Молодой человек / Словно зонт от дождя». — Если бы только Марына его сейчас видела! — Кто автор?

— Эбигейл, моя лучшая подруга. Мы вместе учились в Академии мисс Огилви, и она всего на год старше, но сейчас уже замужем.

— Это означает, что вы ей завидуете?

— Может, завидую, а может, и нет. Это очень

интимный вопрос!

— У нас с вами все может быть гораздо интимнее…

— Мистер Крил, прекратите сейчас же! И напишите что-нибудь в альбом. Вы же сказали, что вы писатель. Если напишете туда что-нибудь, то я никогда вас не забуду.

— Написать что-нибудь на память? И вы не запомните меня навсегда, если я поеду вместе с вами в Филадельфию?

— Вы поедете в Филадельфию?

— Ну да, чтобы посмотреть Выставку столетия. Вы же сказали, что я должен ее увидеть…

— Да, но я…

— А вы будете моим гидом. — Он привлек ее к себе. А что? Завтра они прибудут в Нью-Йорк. — Я прижимаю вас к сердцу. Не говорите, что мы должны расстаться. Или я найду… — Но она убежала. Прощайте, мисс из Филадельфии!

Сузившаяся океанская гладь, острова, буксир, затем сам остров, Манхэттен, знойный ветер, над головой закружились чайки, бакланы и соколы, когда «Германик» начал подниматься вверх по реке, наконец содрогнулся и глухо ударился о пирс «Белой звезды» на Двадцать третьей улице. Справа от них находилась безжалостная

contra naturam[34] современного города, где все отношения строились по принципу «покупатель — продавец». Преуспевающий город, куда стремились эмигрировать люди. Любой ценой, невзирая на унижения.

Пассажиров третьего класса все еще перегоняли с «Германика» на баржу, чтобы переправить их снова вниз по реке в замок Клинтон — бывший форт в нижней части Манхэттена, где их обязаны были допросить и осмотреть. Таможенники, поднявшиеся на борт побеседовать с пассажирами первого класса и проверить их багаж, уже закончили работу и поздравили их с приездом в Америку. Рышард и Юлиан вышли на задымленную улицу и взяли наемный экипаж, который довез их до отеля.

Его размеры удивили даже Юлиана. По телеграфу из Ливерпуля он забронировал номер на двоих в отеле «Централь», который выбрал из-за названия.

— Больше похоже на банк, — сказал Рышард.

— У вас всегда такая погода? — спросил он служащего, когда они зарегистрировались (в свободной стране, как подчеркивал Юлиан, не

---

[34] Примечания: 34
Здесь: противоестественность *(лат.).*

нужно показывать документов, удостоверяющих личность), и поинтересовался, где можно купить марки, чтобы отослать всю эту кипу писем («Отдай их ему, — шепнул Юлиан. — Он все сделает и занесет почтовые расходы на наш счет»).

— Вы имеете в виду жару? — сказал служащий. — Так это еще не жара. Пока только июль. Нет, сэр, это еще ничего. Вот приезжайте к нам через месяцок!

Следом за двумя чернокожими носильщиками, которые подбежали к ним и подхватили дорожный сундук и сумки, они пересекли огромный вестибюль. В разных частях его пахло по-разному — полированной медью, промасленным деревом и жевательным табаком. Заглянули в похожую на пещеру столовую, где постояльцы питались четыре раза в день (Рышард отметил, что из-за жары мужчины могли позволить себе обедать без пиджаков, а Юлиан пояснил, что в американских отелях, так же как на пароходе, нет отдельной платы за питание, стоимость его включена в цену гостиничного номера), добрались до своего просторного номера с большим, но по ощущениям бесполезным вентилятором на потолке, и решили немедленно выйти прогуляться. И когда они снова очутились на улице, Рышард, который

с момента их высадки только то и делал, что наблюдал, оценивал и делал выводы, — Рышард пережил прозрение. Возможно, выходя из отеля, он попросту увидел вывеску — «Бродвей». Они на Бродвее! Его живой ум оцепенел, и в голове вертелась одна фраза: «Я здесь, я на самом деле здесь».

На пароходе — в этом жестоком мирке — Рышард находился нигде; а значит, везде, чувствуя себя королем своего сознания. Ты расхаживаешь по своему миру, пока он движется по однообразной поверхности. Мир мал. Его можно положить в карман. В этом прелесть путешествия на корабле.

Но теперь он очутился *где-то.* В Санкт-Петербурге или Вене он не был настолько ошеломлен (хотя в памяти с давних пор хранились образы этих мифических для него городов), не был так потрясен самим фактом, что он находится там, что все, как на картинках. Такое чарующее впечатление произвел на него только Нью-Йорк или, возможно, Америка — «Гамерика», ставшая мифической страной благодаря тем мечтам, ожиданиям и страхам, которые в реальности не оправдывались. Ведь у европейцев есть свое мнение об этой стране, все они очарованы Америкой и представляют ее идиллической либо

варварской, но, в любом случае, всегда видят там своего рода выход. А между тем, в глубине души, вы продолжаете сомневаться, что она существует на самом деле. Но она существует!

Если вас поразило, что нечто существует, значит, вам оно казалось совершенно нереальным. Реальность — то, чему вы не удивляетесь, что не приводит в замешательство: это — суша, окружающая маленькую лужицу вашего сознания. Так сделайте мечту реальностью!

В тот вечер Рышард с Юлианом дошли пешком почти до самой нижней части острова. С наступлением темноты народу на улицах меньше не стало: просто покупатели и служащие уступили место отдыхающим, среди которых было много праздных зевак. Они постояли на Юнион-сквер, наблюдая за тем, как нарядные люди заходили в театры; заглянули в бар на Бликер-стрит, где мужчины без пиджаков развалились на стульях, а на коленях у них сидели полуголые женщины («Американцы почему-то называют такие заведения салунами. А еще — забегаловками», — сказал Юлиан); прошли по улицам, где изнывающие от жары жильцы вытаскивали из квартир доски и тюфяки на пожарные лестницы и ложились там спать… Рышард молчал, а Юлиан объяснял,

что нью-йоркские трущобы принципиально отличаются от ливерпульских, потому что здесь у людей есть надежда («Из Нью-Йорка не уходят каждую неделю пароходы, набитые беднотой, что эмигрирует в Ливерпуль», — сказал он). Но Рышард не обращал внимания на Юлиана и почти не слышал его трюизмов. Он прислушивался к тому голосу, что звучал в его странно опустевшей голове. «Я здесь. Где же еще? Я здесь».

Она существует… а ты?

У вас, конечно, свои дела. Своя манера поведения. Если вы мужчина, можете повсюду искать секс. Если вы — мужчина или женщина, склонные к более экзотическим развлечениям, например к искусству, можете осматривать местные достопримечательности и сожалеть, что их так мало. Если же вы — журналист или писатель, играющий в журналиста, вам захочется сполна насладиться местной нищетой. Неизменное подобострастие негров-официантов в гостиничном ресторане, выкрикивающих: «Да, сэр!» — в ответ на любую просьбу, укрепило мнение Рышарда, что самые вежливые люди в Нью-Йорке — выходцы из Африки, которых привезли сюда в цепях, в то время как непосредственную угрозу представляют европейцы, приехавшие

совсем недавно и по своей воле. Он отважился побывать везде, куда ему советовали не ходить: в долине хибар и лачуг, которая начиналась на несколько улиц западнее Центрального парка, на темных и пугающих улочках Байард, Салливен и Уэст-Хьюстон и даже на пресловутых улице Старьевщиков и в Бутылочном переулке, где жили самые бедные, самые несчастные и поэтому самые опасные люди. Самое меньшее, что с ним там могут сделать, — стащить бумажник. Можно было подумать, будто он высадился на острове людоедов.

Рышард обладал свойственной писателям способностью отключаться. Юлиан же находил утешение в своих увлечениях — науке, изобретениях, прогрессе. Все, что он увидел во время путешествия, служило иллюстрацией и дополнением к тому, что он уже знал. Юлиан в одиночку поехал на Выставку столетия через два дня после их приезда. Там демонстрировались последние чудеса американской изобретательности — телефон! печатная машинка! мимеограф! Он провел один день в Филадельфии и вернулся совершенно очарованный. Но Рышард, несмотря на то что его газете был нужен отчет из первых рук об этом национальном празднестве и всемирной

ярмарке, отпросился и не поехал: он просто не вынес бы очередной порции Юлиановых объяснений всего современного и высокоточного. Рышарда притягивал Нью-Йорк — его грубость и бесцеремонность. Казалось даже, что он чувствовал бы себя здесь намного уютнее лет тридцать назад, когда этот город поносил Диккенс и когда на булыжных мостовых еще лежали свиньи. Из трех статей, отосланных в «Газету польскую» перед самым отъездом дальше — «Жизнь на большом трансатлантическом пароходе», «Нью-Йорк: первое впечатление» и «Американские нравы», — две последние изобиловали яркими описаниями шумной городской жизни и были исполнены сдержанного восхищения.

Одним из преимуществ Рышарда перед Юлианом, как путешественника, было его пристрастие к сексуальным развлечениям. Во время плавания он впервые в жизни столкнулся с темной стороной проституции и теперь решил изгладить из памяти этот неприятный опыт, посетив веселый бордель на суше. Тот вечер закончился памятным разговором с другим клиентом в гостиной публичного дома на Вашингтон-сквер, куда он, проведя час со сладострастной Марианной, спустился выпить бокал шампанского и еще немного

понежиться, пока голова вновь не наполнится мыслями.

— Не могу понять по акценту, откуда вы, — дружелюбно сказал тот мужчина.

— Я — журналист из Польши, — представился Рышард.

— Я тоже журналист! — Рышард никогда бы не подумал, что у этого приятного пожилого человека с морщинистым лицом и спортивным телосложением могла быть такая профессия. — Вы приехали писать об Америке? — Рышард кивнул. — Тогда непременно прочтите мои книги. Настоятельно рекомендую.

— Я хочу прочитать как можно больше книг об Америке.

— Превосходно! Молодчина! Их тематика, возможно, покажется вам узковатой. Я ведь не Токуил…

— Кто-кто? — переспросил Рышард.

— Токуил, знаете, француз, приезжал сюда лет пятьдесят назад.

— Ах, Токвиль.

— Понимаете, из моих книг вы узнаете такие вещи, о которых большинство иностранцев не имеет ни малейшего понятия. В прошлом году вышли «Коммунистические общества Соединен-

ных Штатов», а три года назад — «Калифорния: во имя здоровья, удовольствия и жизни»…

— Но это же… — к счастью, Рышард отыскал нужное слово в своем пассивном словарном запасе, — неслыханно, мистер…

— Чарльз Нордхофф. — Мужчина протянул руку, и Рышард горячо ее пожал.

— Ричард Керул («Боже мой, — подумал Рышард, — я сменил имя. В Америке я стану настоящим Рич-чар-дом»). Неслыханно, — повторил он. — Ведь именно в Калифорнию я и направляюсь пожить некоторое время.

И мне очень интересны общины, где высшей нормой является сотрудничество на равных, — он сделал паузу. — Я полагаю, вы именно это подразумеваете под словом «коммунистические»?

— Да, и таких общин великое множество — в Техасе, Пенсильвании, Калифорнии — везде, хотя они, конечно, не достигают своей цели. Но такая уж у нас страна. Мы пробуем все. Мы — нация идеалистов. Или, может, вам так не кажется?

— Признаюсь, — сказал Рышард, — пока что я этого не заметил.

— Да? Значит, вы еще не видели подлинной Америки. Уезжайте из Нью-Йорка. Здесь людей ничего не волнует, кроме денег. Поезжайте на

запад. В Калифорнию. Там — рай. Все хотят попасть туда.

— Очень по-американски, верно? — сказал Рышард Юлиану, поведав об этой беседе (но скрыв обстоятельства, в которых она произошла) по возвращении в отель. — В Америке есть своя Америка — свое лучшее место назначения, куда все мечтают попасть.

Рышард почувствовал, что окончательно оправился от шока и изумления только после того, как они с Юлианом назначили день отъезда. Он больше ничему не удивлялся: все стало совершенно реальным. На самом деле, прибегнув к той операции, которую острый ум всегда готов совершить, дабы совладать с потрясением, Рышард решил, что явление, ошеломившее его своей уникальностью, вовсе не уникально: этот Ноев ковчег, где спасались жертвы всех потопов и всех катастроф на земле, уже ставший третьим по величине городом мира, был далеко не единственным в своем роде. Повсюду, где есть надежда, будут и это уродство, эта энергия, эта неудовлетворенность и это самоупоение. В воскресенье, на третий день их пребывания в Америке, Рышард зашел в одну бруклинскую церковь послушать знаменитого священника, автора недавно вышедшего

бестселлера «Мерзость современного общества», который читал проповедь о бесчеловечности и безбожности Нью-Йорка. Подобные обличения поражали Рышарда не меньше, чем похвальба капризами погоды. Мы живем в величайшей стране. И у нас — самая греховная столица. Разумеется, нет. Заторы уличного движения, вихри обрывков бумаги, строительные площадки, невзрачные здания, облепленные магазинными вывесками и рекламой, лица всех форм и цветов, непрерывный приток, строительство и отток — скоро в мире будет полным-полно таких городов.

Через неделю после приезда они сели на поезд через всю страну. Заканчивая статью о трансатлантическом плавании, Рышард провел несколько часов в замке Клинтон. Он наблюдал за утренней партией пассажиров третьего класса, что ожидали своей участи в огромном зале, и среди объявлений, написанных четкими буквами и сообщающих эмигрантам о том, кто из них принят, а кто, скорее всего, нет, заметил более заманчивое приглашение:

ЭЙ! ВПЕРЕД, В КАЛИФОРНИЮ!
РАЙ ДЛЯ ТРУЖЕНИКА.
ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ. ПЛОДОРОДНАЯ

ПОЧВА.

МЯГКИЕ ЗИМЫ. НИКАКОЙ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ.

НИКАКИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ПАРАЗИТОВ.

Так было написано на плакате с изображением гигантского рога изобилия, из которого сыпались яркие фрукты, рыба, овощи, плуги, дома и люди. Рышард увидел его снова в битком набитом вестибюле железнодорожного вокзала и показал Юлиану, когда они искали платформу, с которой отправлялся поезд. Им предстояло провести семь дней и семь ночей в поезде, который делал множество остановок. Ни одна из них, за исключением Чикаго, не превышала одного-двух часов. Рышард был в восторге от этой перспективы, в отличие от Юлиана, который узнал, что теперь можно ездить гораздо быстрее. Запущенный первого июня экспресс делал лишь несколько остановок, шел с невообразимой скоростью — пятьдесят-шестьдесят миль в час, и уже через три дня и три ночи прибывал в Сан-Франциско. Юлиан сказал, что на этот поезд и нужно было брать билеты. Но Рышард заупрямился.

— Там столько всего можно увидеть, — сказал он. — И я *должен* это увидеть.

И отказался менять билеты.

— «Никакой потери времени», — проворчал Юлиан, кивнув головой на плакат.

— «Рай для труженика», — воскликнул Рышард. — Не унывай, товарищ!

— Да уж, по крайней мере… «никаких вредителей и паразитов»! — крикнул Юлиан, широко улыбнувшись.

— «Эй! Вперед в Калифорнию!» — весело сказали они нараспев.

4

Хобокен, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки,

9 августа 1876 года

Милый друг!

Да, пишу письмо. А вы небось подумали: «Этот материк поглотит ее». Письмо я составляла в уме несколько дней, хотя я так много пережила, что всего и не вспомнишь. И что же первым делом приходит в голову? Последние минуты в Варшаве. Ваше хмурое лицо на вокзале. Я не видела толпы, не слышала студентов, исполнявших для меня патриотические песни. Я видела лишь печаль моего друга. Милый мой! Мы не потеряны друг для друга, обещаю вам. Вы всегда будете очень дороги мне. Скучала ли я по вас? Буду честной — с кем еще я могу быть честной, как не с вами? Нет, пока что нет. Я успокоилась, когда вы надвинули на лоб шляпу, отвернулись и ушли с перрона, не дождавшись, пока отправится поезд. Еще одна ноша свалилась с плеч — ваша печаль. Вы хотели, чтобы я разделила с вами тоску, вашу убежденность в том, что жизнь нельзя начать сначала,

что все мы — узники собственной судьбы. Но я не согласна с этим, Хенрик. Я знаю, что могу измениться. Я уже не та, что раньше. Актерская иллюзия, скажете вы: иллюзия человека, привыкшего менять свой характер, надевая чужие одежды. Хорошо, я покажу вам, что это можно сделать, *не выходя* на сцену!

Вы тогда пошли и напились? Разумеется. Вы говорили себе: «Моя Марына бросила меня навсегда»? Ну, конечно. Только не навсегда — хотя кто знает, когда мы еще увидимся! Вы горюете из-за моего отъезда, и вам кажется, будто я нужна вам как никогда. В своих воспоминаниях вы преувеличиваете мои прелести и забываете о том, сколько несчастий принесла вам я и ваша горестная любовь ко мне. Вы мысленно следуете за мной: вот она в поезде, вот — на корабле, а вот добралась до Америки и начала новую жизнь в обстановке, которую я не в состоянии себе представить. Она забыла меня. Со временем вы обозлитесь. Возможно, уже обозлились. Почувствуете, что стареете, а потом подумаете: *она* ведь тоже стареет. Скоро она растеряет всю свою красоту. Эта мысль доставит вам некоторое удовлетворение.

Если это утешит вас, то представьте себе, что

только поезд отошел от перрона, как я закрыла дверь купе, сняла перчатки и шляпу, смочила водой из кувшина кусок ткани и прижала его к лицу, от чего потек макияж и обнажились круги под глазами и морщины, идущие от носа к уголкам рта. Затем я опустилась на сиденье, дрожа и не зная, смеяться мне или плакать. Ах эти проводы! Как вы не понимаете, что они всю меня перевернули? Заплаканные молодые актеры собрались на пустой сцене Имперского театра в тот день, когда я пришла попрощаться с ними, возмущенные поклонники осаждали служебный вход, когда я в сумерках уходила из театра, и стояли на тротуаре под окнами нашей квартиры все последние дни. И потом, когда, несмотря на все мои протесты, дата нашего отъезда была опубликована в газетах, процессия студентов университета шла за экипажем с выкриками и песнями до самого вокзала, и этот венок с белыми и красными лентами, подписанными «Марыне Заленжовской — от польской молодежи», который они преподнесли мне при посадке…

— Они хотят, чтобы я почувствовала себя виноватой, — сказала я Богдану.

— Да нет же, — возразил он (вы же знаете, каким он бывает милым), — они хотят, чтобы ты

почувствовала себя любимой.

«А разве это не одно и то же?» — подумала я.

Не понимаю, почему я должна испытывать вину за свой отъезд!

Когда мы добрались до Бремена (это лишь начало нашей поездки), я почувствовала, что уже постарела на целый год. До отплытия «Донау» оставалось два дня ничегонеделанья, и мне хотелось только одного — отдохнуть. Но не подумайте, что мне нездоровилось. Никаких головных болей. Я ослабела, потому что из меня что-то вытекало. Или я просто готовилась к последней битве.

— Вы подписали себе приговор, — сказали вы мне в Закопане. — Теперь вы обязаны привести его в исполнение.

Нет, Хенрик. Возможно, вынуждена, но не обязана. Но я задумывалась над тем, не дрогну ли в самом конце? Наверное, все еще надеялась, что кто-нибудь остановит меня. Наверное, я всегда надеялась, что кто-нибудь остановит меня. Ведь столько людей пытались это сделать! И вы тоже. Вы постоянно напоминали, кто я такая — госпожа Марына, которая так важна и так нужна им. Или театру. Или Польше. А Марына хотела лишь одного — стать никем!

В Бремене пришлось пережить еще одно проща-

ние. Последнюю попытку остановить меня. Тот, о ком я могу сказать только вам, дожидался меня в отеле «Корделия». С цветами! Не поклонник из тех, что обычно толпятся в фойе, — молодые люди в студенческих фуражках, которые, запинаясь, что-то бормочут и вручают мне цветы, — а неприветливый пожилой человек в нелепой фетровой шляпе. Больше я ничего не успела заметить, потому что Богдан, который не знает его в лицо, перехватил букет. Я не узнала его, пока он не заговорил (сказал только: «Добро пожаловать в Бремен»). Как такое возможно, Хенрик, как? Ведь он не так уж сильно изменился.

Я оглянулась, но он уже исчез. Сзади стояли Петр и Ванда. У меня мороз пробежал по коже, наверное, я побледнела, и когда подошла к Богдану, голос у меня сел. На столе лежали письма: Ванде от Юлиана, нам — от Юлиана и Рышарда, последнее из которых отправлено из Нью-Йорка, Богдану — от его сестры, которая должна была приехать в тот же день (она непременно хотела проводить нас), письмо мне от Шекспировского общества Бремена, меня просили почтить своим присутствием читку «Юлия Цезаря» подающими надежды молодыми актерами, — и записка от человека в фетровой шляпе. Он прочитал в

одной немецкой газете, что я уезжаю в Америку, и приехал прямиком из Берлина повидаться с Петром. Разумеется, я не могла оспаривать его право попрощаться с сыном.

Можете представить себе, какой ужас я испытывала перед этой встречей, однако — вы же хорошо меня знаете — больше боялась показаться трусихой. Я оставила записку у консьержа, как он и просил, назначив свидание на следующий день неподалеку от Везера. Я сказала Богдану, который всеми силами пытался утешить бедняжку Изабелу, что пойду прогуляться с мальчиком. Петру же объяснила, что хочу его познакомить с одним старым другом его бабушки. (Не обвиняйте меня в том, что я бережу старые раны, Хенрик!) Он, конечно же, опоздал, а потом, не сказав ни слова, набросился на ребенка и прижал его к своему старому пальто, отчего Петр, естественно, разревелся. Я велела служанке увести его в отель. Генрих не возражал. Ни «до свиданья», ни любящего отеческого взгляда — этот холодный, хмурый старик так и остался бесчувственной скотиной, Хенрик. Мы пошли дальше, но разговаривать с ним оказалось сложно.

— Что-что? — все повторял он. — Что?

— Вы что, оглохли? — спросила я.

— Что?

Мы дошли до кафе на Альтмансгее и сели у воды. Я сразу же сказала, что не позволю упрекать меня.

— Упрекать? — закричал он. — В чем мне тебя упрекать?

Я сказала, что не позволю ему кричать на меня.

— Но я не слышу собственного голоса, — проскулил он. — Ты же видишь, я плохо слышу.

А потом он рассказал о последних годах жизни в Берлине и о женщине, с которой он жил, — у нее был рак желудка.

— Скоро останусь совсем один. *Bald ganz allein, der alte Zalezowski*[35].

Он что, тоже обвинял меня в том, что я бросаю его? Я спросила, нужны ли ему деньги. Это вызвало бурю показного негодования, но деньги он у меня в конце концов взял. Ну и, конечно же, попытался ослабить мою решимость. Сперва предупредил об опасностях морского путешествия (как будто я сама о них не знаю) и даже напомнил о прошлогоднем нападении на «Мозель» — судно того же типа, что и «Донау». Помните, мы читали

---

[35] Примечания: 35

Скоро останусь совсем один, старик Залезовски *(нем.)*.

о нем? Бомба взорвалась раньше времени, еще до отплытия из Бремерхавена: восемьдесят девять пассажиров и членов экипажа погибли, и пятнадцать были ранены. Потом он торжественно предрек, что Америка мне не понравится. Там нет никакого уважения к культуре, театр в нашем понимании для них ничего не значит, им нужны только плебейские развлечения, и так далее и тому подобное, после чего я заверила его, что уезжаю в Америку не для того, чтобы найти там то же, что оставляю в Европе, — *au contraire*![36] Под конец он заявил, что я не имею права лишать его возможности видеться с сыном — можно подумать, он когда-нибудь проявлял к нему хоть малейший интерес! Это были весьма неубедительные доводы, напрочь лишенные былой силы. Он постоянно покашливал и ерошил свои жидкие рыжеватые волосы. Навряд ли он действительно считал, что способен остановить меня. Он просто хотел излить душу. Ему нужна была моя жалость. Он казался жалким. Но мне его не было жаль. Я наконец-то избавилась от него.

И все же… я поняла тогда, что действительно любила его. Возможно, как никого другого на

---

[36] Примечания: 36
Напротив! *(фр)*

свете. Я любила его той частью своего существа, которая хотела творить великие дела.

Но даже этот жалкий призрак не смог омрачить того душевного подъема, который я испытала, садясь на корабль.

Опасности в путешествии были, но не те, которые живописал Генрих. Океан был спокойным, наши места — удобными, хотя сам корабль показался маленьким; думаю, он и вправду маленький, поскольку его построили почти десять лет назад. Но мы столкнулись там с немецким подобострастием, которым они прикрывают немецкую привычку командовать. Капитан так раболепствовал и так носился с нами (узнал, что я — знаменитая актриса, а Богдан — граф), будто наше одобрение может спасти подмоченную репутацию флотилии «Норддойче Ллойд». Поначалу меня раздражало однообразие жизни на океанском лайнере, расписанной по часам и расхолаживающей. *L'indolence n 'est pas mon fort*[37]. Но долгое путешествие по воде обладает особым очарованием, которому я в конечном счете поддалась. Я совершенно перестала общаться с людьми, даже с членами нашей компании, в

[37] Примечания: 37
Праздность — не моя сильная сторона *(фр.).*

особенности за обедом — с обязательной легкой беседой под звуки струнного трио, игравшего Бизе и Вагнера. Я предпочитала общаться с океаном, который напоминал о беспредельной пустоте вселенной.

Снова и снова выходила я на верхнюю палубу, чтобы постоять, опираясь о перила, и посмотреть вниз на вздымавшиеся волны. Рядом с кораблем вода была грязно-зеленой, а дальше — цвета тусклого олова. Иногда я видела другие суда, но далеко-далеко. Даже если я наблюдала за ними долгое время, они казались неподвижными, будто прикрученными к горизонту, в то время, как наш маленький скрипучий «Донау» рассекал океан, словно летящий снаряд из пара и железа. Я мысленно проводила аналогию между нашей рискованной затеей и непреклонным движением корабля по воде, в смятении сознавая, что именно я сорвала всех с места: теперь уже нам не остановиться! Только вам я могу рассказать об этом, Хенрик. Меня преследовала навязчивая идея броситься в воду. Кто знает, возможно, я так и сделала бы. Но меня привело в чувство чужое безумие.

Это случилось на четвертый день, около восьми вечера. Мы расправились с обедом на полчаса

раньше обычного, и я отвела Петра в каюту, которую он делил с Вандой, проследила за тем, как он готовится ко сну, подоткнула одеяло, затем вернулась в нашу каюту, где Богдан сидел с незажженной сигарой, поджидая меня. Помню, как я наклонилась, чтобы вместе с ним взглянуть в иллюминатор на взошедшую луну, и мы оба со смехом вспомнили какую-то напыщенную фразу о луне и меланхолии, сказанную капитаном за столом, — я уже повесила на крючок пелерину, сняла кольца, ожерелье и серьги и набросила пеньюар, — как вдруг корабль пошатнулся, словно старый рысак, у которого внезапно порвались подколенные сухожилия. Затем под ногами все зловеще затихло. Из коридора донеслись крики; Богдан сказал, что поднимется на палубу, узнать, что там стряслось, я поспешила за ним. Корабль остановился. Члены экипажа суетились: одни опускали паруса, другие спускали на воду спасательную шлюпку. Богдан нашел меня и сообщил новости. Второй помощник капитана увидел человека за бортом. Юнга обнаружил возле перил с правой стороны судна большие ботинки на шнурках. Одним из первых на палубу выбежал англичанин, что сидел за нашим столом, он хорошо запомнил эти ботинки — джентльмены

не ходят в таких на ужин, разве что американцы. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, кто из пассажиров пропал. Вокруг нас столпились люди, спрашивали, не знаем ли мы о нем чего-нибудь такого, что пролило бы свет на этот трагический случай. Едва ли! Он сидел за соседним столом, и после знакомства в первый день плавания мы ни разу не говорили с ним. Он путешествовал один: высокий молодой человек со светло-голубыми косенькими глазами, очками в стальной оправе и серьезным лицом. Когда он садился за стол в первый вечер, я заметила, что фрак ему на размер мал. Тогда я, конечно, не обратила внимания на аляповатые ботинки этого бедняги. Мы все молча стояли у перил и наблюдали, как маленькая шлюпка плавала вокруг судна. Небо еще было светлым, а море уже потемнело. Со своего мостика капитан отдавал в мегафон приказания матросам в шлюпке. Матросы размахивали фонарями и кричали. Потом и мы начали кричать, потому что небо потемнело и почти слилось с морем, мы уже с трудом различали границу между ними. Но американец так и не появился на поверхности. Спустя еще полчаса капитан приказал шлюпке вернуться, двигатель заработал снова, и пароход поплыл дальше.

Конечно, это мог быть несчастный случай: возможно, после скучного ужина ему захотелось выйти на тихую палубу. Этот американский юноша, почти еще мальчик, встал у перил, беспечно снял ботинки, чтобы распрямить пальцы и поставить ступни в чулках на холодные и влажные доски (так мог бы сделать Петр; да я сама так могу, когда меня никто не видит!), и потом краем глаза заметил что-то огромное и серебристое («Кит!» — подумал он в волнении), перевесился через перила, но тут поднялась волна, корабль покачнулся…

Но ведь все было не так. Хотя, возможно, он не хотел этого. Наверное, просто вышел проветриться под ночным небом, совершенно спокойный, не испытывая ничего, кроме привычных, вполне приемлемых предчувствий и сожалений. А потом его тоже загипнотизировала притягательная сила океана. Внезапно ему показалось, что упасть — очень просто. Но что могло заставить его променять свою безопасность, когда ноги прочно стояли на палубе, грудь прижималась к поручню, а лицо овевал влажный ласковый ветерок, на стремительный, ошеломляющий прыжок навстречу ледяной волне? Променять глубокий вдох полной грудью на стену бьющей в лицо

воды, которая заливает горло, сковывает движения и тащит прочь от корабля? Что заставило его броситься за борт? Недостаток воображения? Юношеское отчаяние? Но нас всех неумолимо к чему-то влечет. Кто и что ждало его в Нью-Йорке? Семейный бизнес, в котором он не хотел участвовать? Невеста, на которой он больше не хотел жениться? Мать, которая вновь сделала бы его рабом своей слепой любви и заботы? Как бы мне хотелось объяснить ему, что он не обязан быть тем, кем обречен быть по своим представлениям! Не по этой ли причине люди решают свести счеты с жизнью?

Горстка пассажиров оставалась на палубе, все еще всматриваясь в воду, — так, словно бы возвращение в каюты означало молчаливое признание его смерти. Утром за завтраком все только об этом и говорили. Пассажиры сошлись во мнении, что он был плохо одет, отметили, что он вел себя странно, и пришли к выводу, что, вероятно, он был не в себе. Богдана потрясло случившееся. Петр угрюмо слушал все эти разговоры и шепотом спросил меня:

— А зачем он снял ботинки?

Я ничего ответила (не хотелось, чтобы ребенок живо представил себе картину самоубийства),

и он заявил, что американец снял ботинки потому, что собирался поплавать. А если он хотел поплавать в океане, значит, был отличным пловцом, и вполне возможно, что он плавает до сих пор. А потом его может подобрать другое судно. Я сказала: «Может быть». В тот вечер капитан устроил в ресторане заупокойную службу. Меня попросили что-нибудь прочитать. Я решила, что, поскольку мы плывем на немецком судне, нужно исполнить немецкое стихотворение, и немного смущенно начала:

Vorüber die stöhnende Klage
Elysiums Freudengelage
Ersäufen jedwedes Ach —
Elysiumsleben
Ewige Wohne, ewiges Schweben,
Durch lachende Fluren ein flötender Bach…[38] —

и так далее, вы же помните «Элизиум» Шиллера. Но на словах: *«Hier mangelt der Name dem trauernden Leide»* — «Нет имени печали этой

[38] Примечания: 38

Утонут стенанья и вздохи / На дне этих кубков глубоких, / Наступит забвенье скорбей — Райская сладость — / Вечное счастье, вечная радость, / По светлому лугу бегущий ручей! *(нем.)*

скорбной!» — я не смогла сдержать слез. По моей просьбе деревенская девушка, которую я взяла в путешествие помогать по хозяйству, спела гимн Мадонне; Анела прекрасно поет. Как грустно вспоминать этого юношу, которого я почти не знала…

Довольно на сегодня.

10 августа

Продолжим. Я испугала вас, милый друг? Не беспокойтесь обо мне. Я совершенно здорова. Вы же знаете, у меня просто богатая фантазия. Мне нетрудно представить — во всех красках — то, что чувствуют другие.

Что еще рассказать вам о плавании на «Донау»? Что я с аппетитом ела, глубоко дышала морским воздухом и с нетерпением ждала, когда же все это кончится? В отличие от многих членов нашей компании, я не вижу в путешествиях никакой романтики. Чтобы побороть праздные или нездоровые мысли, я штудировала очередной учебник английской грамматики и читала. Забыться с книгой в руках — великое утешение. Богдан взял с собой книги по земледелию, но был настолько увлечен поездкой, что не хотел заниматься подготовкой к тем задачам, которые нам предстоит решать. Однажды вечером он даже сказал, что

порой ему хочется, чтобы мы так никуда и не добрались, а корабль все плыл и плыл вперед. Петр, очарованный ничуть не меньше, почти не открывал свой любимый иллюстрированный том Фенимора Купера: знакомые рассказы о благородных индейцах померкли перед натиском цивилизации и экзотической реальностью парохода, пересекающего океан под звездным небом. Он всех расспрашивал о работе паровой машины и как называются созвездия. Мальчик стал любимцем главного механика, который повел его в кочегарку. А Богдан, как примерный отец, часами изучал вместе с Петром астрономический атлас, взятый из личной библиотеки капитана. Я же раскрыла книгу, которую вы подарили мне на прощанье, «Выражение эмоций у человека и животных», и с радостью обнаружила, что мой английский позволяет мне читать ее. Как вы догадываетесь, рассказ мистера Дарвина о том, что животные и люди сходным образом выражают страх, ненависть, радость, стыд, гордость и т. п., не мог не заинтересовать меня. Я понимаю также, почему эта тема настолько притягивала его самого: ведь если мы так похожи на животных, то это служит еще одним доказательством его теории о происхождении человека от обезьяны. Кто знает,

может, это и правда! Если бы я прочитала вашу книгу на суше, то от одной этой мысли мне стало бы не по себе. Но там, в открытом море, где люди кажутся такими ничтожными, мне было легко принять богохульства мистера Дарвина. Хенрик, ваша книга очаровала меня!

Да, я согласна с тем, что животные напоминают людей, даже чересчур. Они похожи на старомодных актеров, которые слишком наигранно выражают эмоции. Книга мистера Дарвина — это на самом деле учебник по переигрыванию. Горе тем актерам, которые заглянули бы в эту книгу: они нашли бы в ней подтверждение всех своих дурных привычек! Хороший актер избегает слишком красноречивой мимики и широких жестов, какими бы естественными они ему ни казались. Публику больше всего трогает некоторая сдержанность, своего рода достоинство в горе. Спешу добавить, что это не имеет ничего общего с пресловутым нежеланием англичан открыто выражать чувства. Ведь даже мистер Дарвин, стремящийся доказать, что язык эмоций универсален, должен признать, что его соотечественники пожимают плечами гораздо реже и не так энергично, как французы или итальянцы, и что английские мужчины нечасто плачут, тогда

как в Польше, да и на большей части Континента, мужчины охотно и открыто проливают слезы.

И еще я думаю, что между людьми и животными существует одно неискоренимое различие. Мысль Дарвина о том, что всякая эмоция обладает естественным способом выражения, предполагает, что всякая эмоция обособленна. Возможно, это верно для моей кузины обезьяны и *mon semblable*[39], пса. Но не склонны ли мы испытывать (за исключением чрезвычайных случаев), по крайней мере, две эмоции одновременно? Не испытываете ли вы, милый друг, противоречивые эмоции, вызванные моим отъездом? Кусаете ли вы губы, хмурите ли брови, сокращаете ли «мышцы печали» вокруг глаз? Нет, должно быть, по вашему лицу ничего не видно. Означает ли это, что вы — хороший актер, Хенрик? Возможно. Ваш облик не выражает ничего, разве что слегка замедляется походка — за исключением тех случаев, когда вы пьете. Да, простите мою навязчивость, вы пьете, как всегда? Или еще больше?

Ах да, вы скажете: «То, что я чувствую к бросившей меня Марыне, — не эмоция, а страсть!» Совершенно верно, мой милый друг. А мистер

---

[39] Примечания: 39
Моего подобия *(фр.).*

Дарвин описывает не страсти, только реакции. Под эмоциями этот англичанин, очевидно, подразумевает наши чувства, когда нас застигают врасплох. Какой-то человек, которого я сначала не узнаю, но имею все основания опасаться, прячется в людном месте, где я никого не ожидаю встретить, — в вестибюле отеля незнакомого города. Или же тот, кто меня ненавидит (я никогда не рассказывала вам об этом случае), врывается туда, где я чувствую себя в полной безопасности, например в мою гримерную. Я поражена и, конечно же, испугана. Я раскрываю рот, зрачки расширяются, брови поднимаются, сердце бешено стучит, лицо бледнеет, волосы на коже становятся дыбом, а поверхностные мышцы вздрагивают, во рту пересыхает, голос хрипнет и слабеет — все эти реакции абсолютно неподвластны мне. Если убрать раздражитель, я снова успокоюсь. Но что вы скажете о тех живучих, болезненных чувствах, которые я, казалось бы, переборола и которые потом, без всякого предупреждения, врываются в душу? Куда прикажете деть любовь без взаимности? Что вы скажете о ревности? О сожалении? — да, о сожалении! И о тревоге — тревоге по любому поводу и без повода? По-моему, репертуар мистера Дарвина слишком

«британский»!

Если уж говорить о британском складе ума, то я должна рассказать вам о другой английской книге, которую взяла почитать на корабль, — далеко не новом романе под названием «Вильетта». Это портрет молодой женщины с высокими нравственными принципами, но скромными видами на будущее. Вы знаете, что я всегда симпатизировала таким персонажам. Мне нравятся героические женщины, и я жду появления драматурга, который изобразит героизм современных женщин — не красивых, не благородного происхождения, но борющихся за независимость. Я даже представляю, как этот роман можно инсценировать; эту трудную роль (подлинный отдых от актрис и королев!) мне, возможно, захотелось бы сыграть. Но не для того получила я эту книгу — то был прощальный подарок одной коллеги из Имперского театра, которая провела детство в Англии. Она думала, что меня заинтересует сцена, в которой героиня видит Рашель, выступающую в Лондоне. Я упорно прокладывала себе дорогу на страницах книги (мисс Бронте обладает гораздо более богатым словарем, чем мистер Дарвин!), завороженная характером Люси Сноу — простой, застенчивой девушки, исполненной скрытых

страстей, пока не дошла наконец до главы, где ее повели в театр. Вообразите же теперь мое смущение, когда я обнаружила, что этой героине, к которой я испытывала такую симпатию, совершенно не понравилась Рашель! Несмотря на то что Люси была очарована силой ее игры (да и кто не был ею очарован?), она испытала неприязнь к той страстной женщине, которую видела на сцене. Да она просто осуждала ее! Она считала эмоциональность этой королевы сцены чрезмерной, неженственной, бунтарской — сатанинской!

Не кажется ли вам странным, что игра великой актрисы вызвала подобную враждебность и страх? В Польше, равно как и во Франции, актрису могли бы упрекнуть в излишней любвеобильности, но только не в излишней пылкости. Наверное, польские представления о театре сильно отличаются от тех, что бытуют в стране божественного Шекспира. Почему Люси Сноу не могла просто наслаждаться игрой? Почему она не захотела восторгаться? Из-за чего почувствовала угрозу в страстности Рашель? А между тем мисс Бронте написала очень страстный роман. Наверное, писательница была не в ладах с собой. Она боялась, что собственные страсти перевернут ее

жизнь. И не желала меняться.

Вот видите, я понимаю собственную задачу — и противодействие ей как снаружи, так и изнутри — на каждом шагу. Женщине труднее сделать свою жизнь не такой, какую ей предопределили. Вам, мужчинам, проще. Вас хвалят за безрассудство, смелость, изобретательность, авантюризм. А женщине так много внутренних голосов подсказывает, что она должна быть благоразумной, приветливой, робкой. И есть чего бояться, я знаю об этом. Не подумайте, милый друг, что я утратила всякое чувство реальности. Когда я смела, я действую. Но чтобы стать смелой, нужно только действовать, вы согласны? Создавать видимость смелости. Играть ее. Поскольку я знаю, что вовсе не смелая, это побуждает меня вести себя так, будто я смелая.

Никто у нас на родине не обвинит актрису, выставляющую напоказ свои чувства на сцене, в том, что она — демон, да-да, демон, и в том, что она прославляет образ бунтаря, — с подобным морализмом я не знакома. Мы в Польше лелеем идею бунта, мятежного духа, не так ли? Я сама лелею в себе бунтарство, слишком хорошо сознавая, насколько я склонна уступать, рабски угождать ожиданиям других. Я так борюсь с

большей частью моего существа — покоренным духом, жаждущим подчиняться. Эта часть велика еще и потому, что я — женщина, воспитанная рабыней! Возможно, это тоже привлекло меня на сцену. Мои роли научили меня уверенности в себе и неповиновению. Игра стала задачей по преодолению раба в себе.

Вообразите теперь, каково мне было оставить сцену, где я царила! Вы не посмеете сказать, что это не жертва. Около двадцати лет я была обручена со сценой. Возможно, когда-нибудь в Калифорнии (даже теперь, в Америке, я не могу писать слово КАЛИФОРНИЯ без внутреннего трепета), у ручья за маленькой хижиной, я исполню какую-нибудь сцену из любимой пьесы для развлечения нашей колонии и нескольких индейских девушек. Я должна признаться, что привезла некоторые из своих костюмов — Джульетты, Розалинды, Порции, Адриенны. Конечно, смешно будет надевать их после целого дня упорного труда на наших полях под голубыми небесами или в горах верхом на лошади и с ружьем за плечами. Каким искусственным покажется мне все это! Но если я все же захочу вернуться на сцену, то должна буду вспомнить об англосаксонском недоверии к великим актрисам.

Слава богу, я приехала в Америку не выступать!

12 августа

«Но она так ничего и не рассказала об Америке», — должно быть, подумали вы. Ну что ж, могу рассказать вам немного о Нью-Йорке, который, по всеобщему мнению, настолько наводнен эмигрантами, что служит всего лишь продолжением Европы, а вовсе никакой не Америкой! Как вы поняли по началу моего затянувшегося письма, мы остановились не на острове Манхэттен. Богдан решил, что если все мы разместимся в приличном отеле, то это будет излишней тратой нашего капитала. Он обратился за советом к капитану, который порекомендовал нам комфортабельную, но недорогую гостиницу недалеко от пирса линии «Норддойче Ллойд» на другой стороне реки Гудзон. Этот портовый городок с очаровательным индейским названием, означающим «курительная трубка», откуда открывается панорама Манхэттена, находится в другом штате, которых здесь тридцать восемь!

Каждое утро самые отважные из нас садятся на паром и целый день исследуют город («самые отважные» потому, что через реку переправляется сейчас лишь небольшая группка). Манхэттен нагнал страху на большинство наших кротких

спутников, и они мечтают о скором отъезде и ожидающей нас идиллии. Ванда совсем растерялась без Юлиана. Неутомимому Александеру мешает плохое знание английского. Данута и Циприан вынуждены заботиться о двух маленьких дочерях. И только Якуб, который ходит повсюду со своим альбомом для зарисовок, чувствует себя здесь почти как дома. Боюсь, он очень огорчается из-за того, что мы так скоро уезжаем, но я пообещала ему, что в Калифорнии он отыщет не менее богатую натуру. Мне и самой немного грустно. Актер, как правило, — жадный зритель, и нет зрелища более увлекательного, чем то, что разыгрывается на этих грубых подмостках и на всех известных языках. Здесь представлены расы, народы и племена всего мира, по крайней мере, среди неимущих классов: если отважиться выйти за пределы главных улиц, станет ясно, что большинство людей очень бедны. Меня не удивило, что город так уродлив. Но я не ожидала увидеть столько нищих и бродяг. Нам сказали, что число бедняков выросло за последние годы не только потому, что становится все больше эмигрантов, многие из которых приезжают с пустыми руками, но еще и потому (Богдан выслушал от брата ряд мрачных предостережений на

этот счет), что экономика страны еще не оправилась от большого кризиса (здесь это называется «паникой») трехлетней давности. Рабочих мест, особенно для прислуги, мало, и заработная плата продолжает падать. Но, очевидно, это никого не смущает, и все приезжают сюда в надежде на лучшую жизнь.

Вчера вечером мы с Богданом решили уединиться и пообедать в «Дельмонико» — одном из лучших ресторанов города. Могу сообщить вам, что здешние магнаты такие же откормленные и степенные, как венские или парижские. А снаружи — сплошная суета и шум. Кареты, экипажи, омнибусы, конки, трамваи, толкающиеся пешеходы — на каждом углу вас подстерегает неожиданность; все здания пестрят вывесками, и некоторые люди работают ходячей рекламой, они увешаны плакатами спереди, сзади и даже на голове, а другие тычут листовки в руки прохожим или швыряют охапками внутрь трамваев; чистильщики сапог зазывают клиентов из своих маленьких ларьков, разносчики вопят с тележек, а группы музыкантов, преимущественно немцев, трубят в рожки и тубы прямо у вас над ухом. Меня поразило, что здесь так много немцев, даже больше, чем ирландцев или итальянцев (у

каждого народа — свой квартал). Хенрик, здесь столько бедности и нищеты! Да еще преступности: нас постоянно предупреждают, чтобы мы не ходили в те районы, где живет беднота, потому что там нас может ограбить шайка хулиганов. Самый отважный из нас, Якуб, исследует эти перенаселенные части города; он уже заполнил набросками целых пять альбомов. Вчера вечером он бродил по еврейскому кварталу (бедному, конечно), обитатели которого очень похожи на своих краковских соплеменников — темнобородые мужчины в кипах, они носят свои длинные черные пальто даже в эту нестерпимую жару.

Так я плавно подхожу к своей единственной жалобе. Я еще никогда не видела такой жары. Мы все просто изнываем. У Петра сыпь. Младшая дочка Дануты все время плачет. Кажется, будто на мне слишком много одежды (полагаю, это на самом деле так), хотя и меньше, чем на местных женщинах. Они до сих пор носят кринолин и, как заметили мы с Данутой, Вандой и Барбарой, с завистью (такое у меня чувство) смотрят на наши тонкие юбки. Мы высаживаемся на берег с парома и, конечно, много ходим пешком по городу. Вчера, например, когда мы гуляли по Бродвею — главной улице города, какая-то крупная

женщина с громадным кринолином под тяжелой черной юбкой прямо у нас на глазах повалилась на тротуар. Я решила, что она серьезно больна, но один из прохожих сказал, что в августе такое часто случается, а извозчик отвязал ведро с водой для лошади и бесцеремонно плеснул в лицо женщине, после чего ей помогли встать, и она как ни в чем не бывало пошла дальше. Я знаю, что находиться так долго на солнце неблагоразумно, но нам просто негде спрятаться. Если бы Петр оказался настойчивее, то мы бы каждый час отсиживались в кафе-мороженом. Мороженое здесь делают итальянцы, и оно восхитительно. Он также полюбил индейские лакомства, что продают на улице: сухие воздушные шарики, полученные при нагревании зернышек кукурузы, и маленький коричневый арахис в мягкой светлой кожуре, — которые я нахожу совершенно несъедобными. За едой здесь пьют больше воды, чем вина, — зимой и летом очень холодной, — стакан наполняют маленькими кубиками льда; уверена, что вам это покажется чрезвычайно вредным. Сегодня, в тщетных поисках прохлады, мы забрели в огромный парк, недавно разбитый на севере города; он называется Центральным, хотя ничего «центрального» в нем нет. И, по правде

сказать, ничего похожего на парк. Не пытайтесь представить себе нечто наподобие нового парка в Кракове, не говоря уже о наших величавых, густолиственных Плантах: большинство деревьев здесь еще так молоды, что не дают никакой тени.

Польская община невелика, гораздо больше наших соотечественников поселилось на западе — в Чикаго. Богдан побывал у одного из ее руководителей, и тот рассказал об их желании устроить прием в мою честь. Я чувствую, что должна отказаться, хотя мне очень жаль их разочаровывать. Они хотят приветствовать человека, которым я уже не являюсь. Но бывшая актриса не в силах заглушить свой интерес к театру, к тому же август — не только самый жаркий месяц в году, но еще и начало сезона. Как откровенно предупреждал меня Генрих, под театром здесь понимают совсем не то же, что *chez nous*[40], в Вене или Париже. Публика ждет, чтобы ее развлекали, а не развивали, и больше всего ее забавляет все помпезное и эксцентричное. Мы собирались посмотреть *«La Grande-Duchesse»*[41] Оффенбаха, которую ставили

---

[40] Примечания: 40
У нас *(фр.).*

[41] Примечания: 41
«Великая герцогиня» *(фр.).*

в одном из крупнейших здешних театров, пока не узнали, что ее исполняет Мексиканская юношеская оперная компания, а примадонне, сеньорите Нинье Кармен-и-Морон, всего восемь лет. Представляете себе *«Dites-lui qu 'on l'a remarqué»* (одну из самых восхитительных песен о любви!), спетую высоким, писклявым голоском маленькой девочки? Наверное, это понравилось бы Петру, хотя, скорее всего, он получил бы еще больше удовольствия от представления в другом театре: Жорж Франс и его собаки, Дон Цезарь и Бруно, Ганселлова Труппа Альпийских Певунов, Дженни Тернор — королева трапеции и герр Клайн, танцующий *pas de deux*[42] на проволоке вместе со своей бабушкой. И никакого Шекспира ни в одном из театров, хотя меня уверяли, что никакого другого драматурга не ставят в Америке так часто, как Шекспира. Помимо фарсов и мелодрам, на которые мы не рискнули пойти даже из любопытства, здесь дают только легкую комедию (на английском, конечно) под названием «Наш американский кузен». Она пользуется неизменной популярностью по всей стране на протяжении последних одиннадцати лет, поскольку во вре-

[42] Примечания: 42
Па-де-де *(фр.).*

мя именно этой пьесы был убит (сумасшедшим актером, если вы помните) президент Линкольн, сидевший в ложе со своей женой и членами правительства. Настоящие пьесы — почти все английские или французские, и хотя нью-йоркская публика обожает Вагнера, она не интересуется великими немецкими драматургами. Если вы захотите посмотреть Шиллера, вам придется пойти в какой-нибудь немецкоязычный театр, где его играет второразрядная гастролирующая труппа из Мюнхена или Берлина. А поскольку пьесы Красиньского, Словацкого или Фредро просто немыслимо представлять на английском и в Нью-Йорке слишком мало поляков, которые могли бы поддержать польский театр, то наши возвышенные драматурги здесь неизвестны.

Мне бы очень хотелось увидеть кого-нибудь из выдающихся американских актеров, слава которых докатилась до Европы, но никого из них сейчас не встретишь на сцене. Мы сходили в великолепный театр, принадлежащий одному из этих актеров, Эдвину Буту (Линкольна убил его младший брат), который открыл сезон трагедией лорда Байрона «Сарданапал». Не хочу показаться придирчивой, но игра актеров дала мало пищи воображению (ваш мистер Дарвин

ее бы одобрил!), хотя сам спектакль превратился в пышное, изобретательное зрелище. Громкая музыка, высокие декорации, сотня исполнителей толкутся на огромной сцене — именно это здешняя публика ценит превыше всего. Помимо дюжины актеров в главных ролях, «итальянский балет» во втором акте состоял (как написано в программке) из «четырех первоклассных танцовщиц, восьмерых корифеев, шести балерин, девяноста девяти статистов, двадцати четырех негритят, двенадцати хористок, восьми хористов и сорока восьми актрис массовки»! Вообразите себе всю эту скачущую толпу и сценические механизмы, производящие поразительные эффекты, когда, например, вся сцена поднимается в воздух или исчезает из виду. Последний акт закончился колоссальным пожаром, который публика, включая нас, по достоинству оценила.

Больше — значит, лучше, так считается здесь. И возможно, это не более порочный предрассудок, чем считать лучшим самое старое. Театр Бута, вмещающий почти две тысячи человек, в том числе несколько сотен стоячих мест, — не самый большой в Нью-Йорке. Его намного превосходит Стейнуэй-Холл, где, как нам торжественно сообщили, состоялся американский дебют Антона

Рубинштейна. Желая произвести впечатление на Богдана, я не стала даже вскользь упоминать о том, что этот великий пианист был частым гостем на наших варшавских «вторниках». Несмотря на похвальбы, что у них все самое большое и самое лучшее, в области искусства американцы на удивление непатриотичны. Неверно было бы говорить, что публика жаждет только плебейских развлечений. Но здесь принято считать, что качественные спектакли привозятся только из-за рубежа. Иностранные актеры производят здесь подлинный фурор, а французы и итальянцы могут играть на своем родном языке, которого никто не понимает. Двадцать лет назад Рашель со своей «Адриенной Лекуврер» добилась триумфа в крупнейшем театре города — Метрополитене; а десять лет назад Ристори совершила весьма успешное и прибыльное турне по всей стране. Когда я думаю об этом сейчас, признаюсь, меня охватывает зависть. Но только не подумайте, что я мечтаю возобновить здесь свою карьеру. На каком языке? Никто не желает слышать нашей родной речи, а другой язык, на котором я умею играть, немецкий, годится лишь для эмигрантской публики.

Не стану брюзжать по поводу пьесы под назва-

нием «Могучий доллар», которую мы смотрели в театре Уоллек в завершение нашего обзора театральных постановок. В Гилморз-Гарден мы слушали концерт мадам Паппенгейм — Эмили Паппенгейм, сопрано; нам с Богданом она показалась менее интересной, чем публике, восторженно аплодировавшей каждой трели. Во французской галерее искусств Мишеля Кнедлера мы посетили зал с тусклыми полотнами, а в Нью-Йоркском историческом обществе (здесь нет ни одного музея, заслуживающего упоминания) обнаружили мраморный барельеф из дворца Сарданапала — приятная неожиданность: мы видели его причудливую копию из папье-маше на нашем байроновском представлении. Мы повсюду берем с собой Петра, и, глядя на город его глазами, я отучаю себя от излишней привередливости: мальчик очарован буквально всем. Чего нельзя сказать о другом ребенке, что находится на моем попечении, — Анеле, нашей новой служанке, которой все кажется непостижимым. Ей сказали, что она поедет в Америку, но, наверное, Варшава для нее тоже своего рода Америка (она никогда не выбиралась за пределы родной деревни), потом она очутилась в поезде (она никогда раньше не видела поезда), в гостинице незна-

комого города, в «гостинице на воде», как она называла наш пароход, и, наконец, вот здесь. На прогулках я слышу одно и то же: «Ах, мадам! Ох, мадам!» Только представьте, по одну сторону от меня идет мой мальчик, по другую — пухленькая девочка с лошадиным лицом, и оба хлопают в ладоши от восторга и изумления. Вы видели ее мельком на вокзале и, наверное, зная, насколько я ценю красоту во всех проявлениях, удивились, что я наняла ее. Я поразила всех в сиротском приюте в Шиманове, выбрав именно эту девочку из шести воспитанниц, предложенных для собеседования. Одна из монашек отвела меня в сторону и предупредила, что я совершаю ошибку, что Анела шьет и готовит намного хуже других. Так почему же я взяла ее? Вы будете смеяться — из-за ее голоса! Когда я спросила, умеет ли она петь, девочка уставилась на меня, разинув рот, а потом, не закрывая его (но крепко зажмурив глаза), один за другим спела два латинских гимна и «Боже, Польшу храни». Я знаю, это смешно, но ее пение растрогало меня до слез. Могу лишь сказать, что у нее мягкий характер, а Данута с Вандой научат ее готовить и шить. По правде говоря, мне и самой не мешало бы взять несколько уроков! Любая женщина может научиться вести

хозяйство, но кому бы пришло в голову научить эту девочку петь?

Впрочем, теперь я вижу, что мне придется учить ее всему остальному. Во-первых, не бояться мира. Во-вторых, меня. Перед отъездом из Варшавы я спросила Анелу, есть ли у нее все необходимое для новой жизни, и без особого успеха попыталась ей описать эту жизнь. Но она решила, что я ее так проверяю, и воскликнула:

— О да, мадам. Все!

Но когда мы отправились в путь, я обнаружила, что у нее имеется только одно платье, шарф, рваная сорочка и фланелевый жакетик на подкладке. Хозяин гостиницы в Хобокене посоветовал нам купить одежду здесь, перед тем как мы отправимся в Калифорнию, поскольку в больших магазинах цены на все товары были снижены из-за «паники», о которой я уже упоминала. Так что можете себе представить, как ваша Дездемона бегала вчера по магазинам, вела серьезные разговоры с приказчиками по поводу пальто, юбки, блузки и некоторых весьма полезных предметов нижнего белья. Самый главный магазин здесь — «А. Т. Стюарт», чугунный дворец, он занимает целый городской квартал и считается крупнейшим в мире; но я предпочла другой, не

такой большой, универмаг «Мейсиз», где недавно открылся отдел одежды для мальчиков, своим ассортиментом глубоко разочаровавший Петра. Он так надеялся, что я смогу купить ему там плюмаж индейцев-апачей и набедренную повязку! И до конца дня оставался безутешным.

15 августа

Петр простил меня за это разочарование: вчера мы побывали на Выставке столетия.

Поездка сама по себе была представлением, как внутри поезда, так и снаружи. Оказывается, вагоны в американских поездах (даже в так называемом первом классе) не разделены на купе. Примерно два с половиной часа мы сидели, уставившись на потных пассажиров, а они — на нас. Мы тоже потели, но пытались сохранить остатки старосветского достоинства. Большинство пассажиров путешествовали *en famille*[43] и везли корзины с едой и питьем. Радушно угощая попутчиков, независимо от того, принимали предложение или нет, они получали право вести себя по-дружески (что означает в Америке — задавать вопросы). Из какой вы страны, едете ли на выставку и что хотите посмотреть.

---

[43] Примечания: 43
Семьей *(фр.).*

— Уж очень она большая. Не успеете всего пересмотреть, — то и дело говорили нам.

Нас было только семеро: Барбара и Александер, узнав, что Филадельфия находится на юге и что, возможно, там еще жарче, решили остаться в Хобокене, и уже ничто не могло заставить их совершить вместе с нами эту долгожданную экскурсию. У Дануты и Циприана тоже была возможность поехать, поскольку они могли оставить своих дочек с Анелой, но Данута хотела убедиться в том, что они не будут больше так мучиться, когда мы доберемся до Калифорнии. Мучиться! Хоть я и напоминаю им, что Калифорния славится идеальным, умеренным климатом, боюсь, они так до конца и не поняли, какой трудной может оказаться наша тамошняя жизнь в другом отношении, по крайней мере, в первые месяцы.

Филадельфия — судя по тому, что мы видели по дороге от вокзала до выставочной площадки за городом, — старше, красивее и чище Манхэттена. Я даже соскучилась по манхэттенскому шуму! Но на выставке, которую, начиная с открытия в мае, посетило несколько миллионов человек, нас ждало такое скопление народа, которое удовлетворило бы самого требовательного любителя толп.

Мы просто физически не могли увидеть все интересное за один день. Представьте себе, Хенрик, самое большое сооружение в мире, главное здание Выставки — колоссальное строение из дерева, железа и стекла, которое в пять раз длиннее и в десять раз шире «Донау»! Вообразите… Но вы уже, несомненно, читали об этом в наших или немецких газетах. Возможно, вам попадался отчет Рышарда. Он обещал «Газете польской» написать хотя бы одну статью о Выставке. Но, как мы узнали из письма, ожидавшего нас в бременском отеле, наш беззаботный юный журналист так и не поехал в Филадельфию. Он написал, что ему не терпелось поскорей уехать и что он напишет несколько статей во время трансконтинентального путешествия, например о том, как Чикаго поднимается из пепла после Большого пожара пятилетней давности. А достигнув Западных территорий, он наконец-то увидит живых индейцев. Правда, те будут отступать траурной процессией перед непобедимыми правительственными войсками, охраняющими пионеров. Это вызвало у меня улыбку. Ведь Чикаго, где Рышард пробудет лишь несколько часов, наверное, уже полностью отстроен; в Америке пять лет — очень большой срок, Хенрик! А последняя битва

с индейцами, произошедшая этим летом, закончилась бесславным поражением кавалерии и гибелью ее командира — генерала Кастера. Коли у Рышарда такое богатое воображение (в котором журналист, вероятно, еще больше нуждается, чем актер), то я нисколько не удивлюсь, если вы напишете мне, что он прислал статью о Выставке столетия!

Поскольку вы, должно быть, уже знаете, какие чудеса можно здесь увидеть, я упомяну лишь о самом занятном и огромном (видите, я уже стала американкой!). Представьте себе собор высотой шесть метров, сплетенный из сахарного тростника, в окружении карамельных исторических фигур, вазы из цельного шоколада весом около сотни килограммов, копии могилы Джорджа Вашингтона в половину натуральной величины, откуда через равные промежутки времени (и это просто пленило Петра) восстает сам президент, которого приветствуют игрушечные часовые. Лично мне больше всего понравилась «Георама»: гигантские, невероятно подробные диорамы Парижа и Иерусалима, а также японский домик, в котором, к сожалению, совсем не было мебели.

Что касается меньших зданий, то у нас не хватило времени ни на Библейский павильон, ни

на Новоанглийский сруб, ни на Турецкую кофейню, ни на Гробовой павильон (нет, Хенрик, я ничего не выдумываю!). Но мы быстро прошли через Фотогалерею и Женский павильон, где уже не застали ежедневное раздавливание стула женщиной весом двести девяносто килограммов, зато с восхищением осмотрели исполинскую статую спящей Иоланты, вырезанную из масла женщиной из Арканзаса. Из масла? В такую жару? Да, причем из свежего, потому что она высекает ее каждый день заново! А затем мы уделили не меньше двух часов индейским экспонатам в Правительственном павильоне. Помимо образцов керамики, оружия и орудий труда, там были выставлены вигвамы и восковые фигуры прославленных индейских воинов в натуральную величину и со всеми регалиями, и Петр наконец увидел долгожданные трубки мира и томагавки. Бедный ребенок постоянно спрашивал, настоящие ли они или это просто театральный реквизит. Меня поразило выражение их лиц. Маленькие жестокие черные глазки, грубые нечесаные локоны и широкие звериные рты, несомненно, должны внушать ненависть к индейцам, словно к отвратительным демонам. Здесь вы не найдете и следа того уважения к

индейской расе, которое мы впитали из приключенческих книг своего детства.

Вы уже слышали об удивительных новых изобретениях: похожей на дикобраза машинке, которая печатает черные буквы на чистом листе бумаги; еще одном приспособлении, которое может снять множество копий со страницы, напечатанной на пишущей машинке; и маленькой коробочке, передающей человеческий голос по электрическим проводам. Нам сказали, что изобретатель этого аппарата для слушания на больших расстояниях, или телефона, надеется улучшить качество передачи: некоторые фразы слышатся на удивление отчетливо, хотя верно воспроизводятся в основном только гласные, а согласные распознать невозможно. Но его наверняка усовершенствуют. И каким же это будет благом для человечества, когда с помощью такого устройства любой из нас сможет провести в дом, подобно газу, итальянскую оперу, пьесу Шекспира, дебаты в Конгрессе или проповедь любимого священника! Возможности общественного просвещения станут неограниченными. Тот, кто не в состоянии купить билет в театр, сможет послушать спектакль по телефону. Но я беспокоюсь о последствиях этого изобретения, ведь человеку

присуща лень. Ведь ничто не заменит тех ощущений, когда ты входишь в храм драматического искусства, занимаешь свое место рядом с другими зрителями и *видишь* игру великого актера. Если телефоны появятся в каждом доме, станет ли хоть кто-нибудь ходить в театр?

Среди множества памятников Выставки вас особенно позабавил бы Фонтан столетия, воздвигнутый Католическим союзом трезвенников Америки (только представьте себе подобное объединение в Польше!). В центре огромной чаши на грубом гранитном пьедестале стоит гигантская статуя Моисея, а саму чашу окружают высокие мраморные статуи выдающихся американских католиков, имена и деяния которых мне, конечно же, неизвестны, с питьевым фонтанчиком у основания каждой статуи. Утоли жажду у этого чистого источника, и ты больше никогда не захочешь спиртного? Как я могла не вспомнить о вас, милый друг! Смотритель сказал нам, что фонтан, к сожалению, не удалось закончить до открытия Выставки. Мне бы никогда не пришло в голову, что там чего-то не хватает. Еще нескольких фонтанчиков для поощрения трезвого образа жизни?

Под впечатлением любви американцев ко

всяческим эксцентричным достижениям я не заметила, что другой памятник был явно незавершенным, точнее, служил частью чего-то незавершенного. Французское правительство прислало на Выставку гигантскую руку, мертвой хваткой сжимающую факел; внутри ее находится лестница, что ведет на балкон, расположенный под факелом. Я любовалась этой скульптурой из меди и железа, установленной на постаменте в центре Филадельфии, и была слегка разочарована, когда узнала, что к этой громадной руке затем присоединят целую статую Свободы — современного Колосса, изготовленного в Париже, который однажды поставят (подобно древнему Колоссу на острове Родос) в нью-йоркском порту, чтобы приветствовать прибывающих эмигрантов. «Как же в этой стране, — спрашиваю я себя, — отличить законченное от того, что только строится?»

17 августа

Сейчас вечер, и я продолжаю письмо в тени вяза за нашей гостиницей в Хобокене после головокружительного дня, проведенного в городе. Прямо с парома мы отправились на центральный почтамт и обнаружили там, как и ожидали, новые письма от Юлиана и Рышарда. Прожив две недели в южной части штата, они наконец

нашли клочок земли с домом и служебными помещениями рядом с небольшой виноградарской колонией. Рышард предполагает остановиться на месяц по соседству с нашим новым домом; он жаждет уединения, чтобы написать несколько рассказов, а также насладиться жизнью на свежем воздухе в обществе индейцев и мексиканцев; перед самым нашим приездом он снова вернется на север. Юлиан предпочитает дожидаться нас в Сан-Франциско, где имеется активная польская община. Остаток утра мы с Богданом занимались приготовлениями к путешествию. Завтра он снова повезет Петра в Филадельфию — мальчику захотелось еще раз на Выставку. А послезавтра мы на «Колоне» отплываем в Панаму. Там пересечем перешеек на поезде и сядем на другой корабль, который доставит нас в Сан-Франциско, где я не собираюсь надолго задерживаться (если, конечно, там не выступает Эдвин Бут, что вполне возможно), и, после воссоединения всей нашей группы, мы немедленно отправимся на юг.

Поскольку эти корабли — не современные железные паровые суда, а колесные пароходики, то плавание займет больше месяца. «Почему же вам не сесть на трансконтинентальный поезд и не приехать на место через неделю?» — спросите

вы. Дело в том, что я уступаю желаниям мужа и сына. Петр умолял не лишать его возможности пожить на деревянном суденышке, Богдан просто влюбился в морские путешествия, как я уже рассказывала, а мне — мне пришлась по вкусу идея насладиться берегами континента. Не бойтесь того, что я писала вам о своем «романе» с водой, милый друг. Ваша русалочка (я говорила, что «Русалочка» была в детстве моей любимой сказкой?) еще собирается прожить долгую-долгую жизнь на суше.

Эспинуолл, Панама
9 сентября

Пишу второпях. В начале поездки нас подстерегла неудача. «Колон» оказался слишком маленьким (гораздо удобнее было бы спать в палатках на палубе, чем в крошечных зловонных каютках внизу), и обслуживали его с бесстыдной халатностью. Уже через два дня взорвалась главная паровая труба, и нам понадобилось в два раза больше времени, чтобы доползти обратно до хобокенских доков! Можете представить себе ужас всей нашей компании и упреки Дануты с Цицианом, которым не терпится добраться до места. Видимо, кто-то все же хотел ехать на поезде, но ни у кого не хватило мужества возразить мне.

Я виновата. Наверное, так оно и есть. Впрочем, нет, не думаю. Вы же знаете, я терпеть не могу отступать и отказываться от своих решений. Мы просто обязаны поплыть морем.

Каждый день я заучиваю не менее двадцати новых английских слов. *Seaworthy*[44] — не правда ли, дивное словечко?

После недолгого ожидания в Хобокене мы вновь отправились в путь на другом, более крупном и лучше оснащенном колесном пароходе — «Крезнт-Сити». Плавание прошло без происшествий. На закате пассажиры собирались на палубе, чтобы попеть в унисон народные песни, например «Милая, я старею» и «Нежное прощанье»; пение успокаивало мои нервы. До последних дней, когда корабль повернул на восток, чтобы пройти между Кубой и Гаити, мы всегда плыли вдоль одного из американских штатов.

Сегодня утром мы высадились на карибской стороне перешейка — в порту, который расположен на маленьком песчаном островке около километра длиной и соединен с материком железнодорожной насыпью. Я ожидала увидеть город. Но это оказалась деревушка с одной-един-

---

[44] Примечания: 44

Годный для плавания; мореходный *(англ.,* букв. — «достойный моря»).

ственной улицей, или, точнее, длинным рядом домов, в основном магазинов, владельцы которых похожи на головорезов, и все носят плоские соломенные шляпы и белые пижамы. Деревня невыразимо уродлива. Что же касается жары, то забудьте мои прежние жалобы: такого еще не было! *N'en parlons plus*![45] Нужно просто с нею смириться. Временами шел дождь, и нам приходилось укрываться в мрачном винном погребке, где пьяная старая негритянка поведала о том, что сезон дождей начинается здесь в апреле и продолжается девять месяцев! Дождь на время утих, и мы вышли на улицу посидеть на мокрых стульях в некоем подобии кафе. Все вокруг мокрое. Воздух влажный. И даже жучки (а они — везде) тоже мокрые. Здесь так сыро, что я могу выкрутить блузку, и в лужах под ногами прибавится воды. Перед нашими робкими взглядами разгуливают взад и вперед полные смуглые женщины в красивых пурпурных и красных одеждах. Ястребы тоже беспрепятственно бродят вокруг, хлопая крыльями: их запрещено отстреливать, потому что они поедают дохлых крыс и мусор, который здесь выбрасывают на улицу. Не знаю, куда по-

---

[45] Примечания: 45
Но не будем больше об этом! *(фр.)*

девались другие пассажиры. Богдан и Циприан ушли запастись водой и фруктами перед нашей двухчасовой поездкой на поезде через болота и джунгли на другую сторону перешейка.

Так что представьте себе, как я сижу за ржавым столиком, попиваю чай с ромом и гляжу с нетерпением и удовольствием на своих подопечных. Напротив громко вздыхает Ванда. Барбара и Александер положили головы на стол, они так устали, что даже не в силах жаловаться. Данута ушла куда-то со своими девочками, у которых диарея. Якуб и Петр рисуют за другим столиком. Якуб говорит, что здесь — рай для художника; теперь он захочет задержаться в Панаме! А Петр рисует карту: он заявил, что, когда вырастет, пророет судоходный канал через перешеек. Он уже кажется мне взрослым, Хенрик. Вы бы удивились, насколько он изменился за эту поездку, стал менее ребячливым — настоящий маленький мужчина! Теперь уже он берет Анелу за руку и пытается ее успокоить. Бедняжка напугана. Наши друзья ведут себя стоически, но я знаю, как они шокированы всей этой экзотикой. Барбара только что спросила дрожащим голосом, много ли африканцев в Калифорнии! Я запишу для вас, о чем они сейчас говорят:

Петр (*подскакивая*): «Нет, там живут индейцы!»

Барбара: «А они что, не чернокожие?»

Петр: «Нет, краснокожие!»

Барбара: «Краснокожие?»

Александер: «Не говори глупостей, Барбара».

Ванда: «Меня уже всю москиты искусали!»

Якуб: «Не забудьте еще про желтолицых».

Барбара: «Желтолицые!»

Якуб: «Ну да, китайцы. У них такие длинные черные косички за спиной».

Анела *(плача):* «Ах, мадам, мы едем в Китай? Но вы же не говорили, что мы едем в Китай!»

Теперь мне будет нелегко ее успокоить.

Позднее

Купила зонтик и сандалеты. Натерла волдырь. Вижу вдалеке Богдана и Циприана, они идут к нам, нагруженные продуктами. Опять начинается дождь. Данутины дочки плачут. По столу бежит огромный страшный коричневый таракан; Ванда визжит. Владелец кафе смеется над ней. «*Cucaracha!*[46]» — кричит, бросаясь к столу с полотенцем в руке. Мое первое испанское слово. Хенрик, он просто взял и улетел. Летающие тара-

---

[46] Примечания: 46

Таракан (*исп.*).

каны, Хенрик.

Поезд скоро отправляется.

11 сентября на борту «Конституции»

Хенрик, я написала вам письмо истинно американских размеров.

А теперь не знаю, что еще сказать. Побережье Мексики… но к чему вам описания из путеводителя.

И я ли это, ваша Марына, пишу вам сейчас? Я хвастала тем, что хочу измениться, но оказалась не готова к той перемене, которую уже произвела во мне сама поездка. Я плыву по течению. Единственная тема для разговоров — тяготы и радости путешествия. Теперь я понимаю, почему неврастеникам советуют больше путешествовать. Я почти перестала думать о себе. Остались только практические вопросы. Моя внутренняя жизнь полностью улетучилась. Польша, сцена — все это кажется таким далеким!

В следующий раз напишу из Калифорнии. Хенрик, вы можете это себе представить?

Ваша М.

5

Калифорния. Санта-Ана, река; *Heim*, «дом». Анахайм. Немцы. Бедные немецкие эмигранты из Сан-Франциско, приехавшие на юг двадцать лет назад, чтобы организовать здесь колонию, заниматься сельским хозяйством, добиться процветания. Флегматичные, бережливые соседи-немцы. Удивлены, что нас так много и не все мы родственники, а живем в таком маленьком домике на окраине их городка. Спрашивают, сколько у нас ружей. Не принадлежим ли мы к религиозной секте. Могут ли наши мужчины помочь им вырыть новый оросительный канал. Будет ли Петр ходить в школу, или же мы оставим его дома помогать по хозяйству. Разумеется, он будет ходить в школу! Дом, построенный из обычных платановых досок, а не из глиняных кирпичей, действительно слишком мал (о чем только думали Юлиан с Рышардом!), и все полы в нем, за исключением кухни, устланы коврами — очевидно, американский обычай. Да, мы приехали сюда для того, чтобы вместе строить новую жизнь. Но, если представить себе окружающие

просторы (ведь Америка не такая уж маленькая страна), то просто нелепо жить в этой тесноте…

На востоке — чудесный хребет Санта-Ана, дальше на северо-восток — горы Сан-Бернардино. За домом и по бокам от него — лиственницы, перечные деревья, смоковницы и виргинский дуб. За ними — поле с высокой травой, где сушатся на солнце скирды сена, растет кукуруза, и виноградник простирается далеко-далеко. Все, что вдали от дома, — великолепно. Ближние виды вдохновляют меньше. Огороженный передний двор с кипарисами, густой травой и растущими тут и там розами напоминает, по словам Марыны, запущенное маленькое кладбище.

— Кладбище, мама? Настоящее кладбище?

— Ах, Петр, — сказала она со смехом, — ни слова не пропустит мимо ушей!

Но все они слушали и ждали, что она подскажет, напомнит, ошеломит, укрепит их своей несгибаемой уверенностью. Ведь именно ее уверенность в сочетании со способностью погружаться в себя, нетерпимость к их приступам малодушия, почти нескрываемая ненависть к их слабостям, ее вечная неудовлетворенность даже самыми упорными их усилиями и в первую очередь ее молчание, восхитительное, пугающее

молчание, неучастие в общей болтовне, нежелание реагировать на банальные замечания, общественные условности или ненужные вопросы (все они были ненужными), нежелание даже слушать, о чем говорят, — все это вызывало у них потребность угождать ей и находиться постоянно рядом с ней, претворяя в реальность ее мечты.

Но как создать утопическое хозяйство на столь тесной, убогой сцене? В первую очередь усердием и терпением — этими качествами Марына овладела в первые годы гастролей с труппой Генриха по провинциальной Польше (всем этим заштатным театрикам и полуразрушенным помещениям); а нынешние неудобства вскоре будут преодолены. Да, в первое же утро после приезда Марына заверила всех, что у них будет второй, кирпичный дом: они с Богданом найдут в деревне мексиканских рабочих, которые помогут построить его. Ну а пока… Данута и Циприан вместе с девочками займут большую спальню, она и Богдан — вторую по величине, а Ванда и Юлиан — самую маленькую из трех. Петр будет спать на софе в гостиной; Анела — на походной кровати в углу кухни. Барбара и Александер мужественно согласились поселиться в лачуге для хранения зерна, недалеко от загона для скота; лесомате-

риал, бочонки с гвоздями, лестницы, ведра с краской, рейки, молотки и пилы отнесли в сарай. В первые дни Марына хотела было спать одна, в сарае. Приглянувшееся ей место, отделенное от скота, сельскохозяйственного инвентаря и сеновала, было уютно устлано ковриками, седлами, циновками, сбруей и черепами койотов… но она не могла так жестоко обойтись с Богданом. В сарай — двух наших холостяков, Рышарда и Якуба!

Поручив Анеле распаковывать вещи и заниматься тремя детьми, вновь прибывшие отправились осматривать местность и к концу первого дня впитали ее всеми органами чувств. Их ноздри радостно встретили широкое наступление скотных и растительных запахов, они ступали по обильно политой земле, ощупывая роскошные лозы «миссионерского» винограда, становились на колени у края канала и опускали в воду ладони. Сразу же за виноградником простиралась природа в своем боевом, воинственном обличье: обширная торжественная равнина, испещренная кактусами и кустарниками, погруженная в тишину. Они смотрели в синее небо, солнце все ниже опускалось над гребнем горы, и они желали впитать в тишине это обилие новых впечатлений. Ни о чем не задумываясь, садились

в кресло и смотрели в потолок или отправлялись на прогулку в густолиственный парк; один за другим разбредались по пустыне.

Ни один пейзаж, даже болотистые джунгли панамского перешейка, не поражал их так своей пугающей необычностью. И сейчас они не проезжали через него, воспринимая как вид за окном, а шли по нему, внутри его, это была бесцветная поверхность с очень высоким небом и очень ровной почвой. Они еще никогда так не распрямлялись, кожу обдувал горячий ветер Санта-Аны, а слух убаюкивал странно навязчивый звук собственных шагов. Останавливаясь, они слышали шипение тощих созданий цвета пустыни, стремительно проносящихся по усеянной камнями земле. Склизких, зубастых гадов (змея!), уползавших прочь. Здесь все было разобщено: сгорбленные часовые с косами — юкки, букеты свисающих копий — агавы и скопления приземистых колючих груш, все так удалены друг от друга и так не похожи — каждое растение само по себе. Одинокое, обособленное. Чувство опасности, которое не удавалось полностью заглушить (а вдруг это — скорпион?), вынуждало их порой ускорять шаг, словно бы они надеялись куда-нибудь добраться. В прозрачном воздухе

горы казались обманчиво близкими. И каким же крохотным был их зеленый мирок, когда они иногда оборачивались, чтобы посмотреть, далеко ли отошли! Они все брели и брели, погрузившись в свои яркие ощущения, но горы не приближались ни на йоту. Их страхи уже давным-давно улеглись. Чистота панорамы, ее абсолютная нагота, которая вначале воспринималась как угроза, теперь волновала их, приводила в оцепенение и вновь пробуждала. Они начали проникать в суть пленительного нигилизма пустыни. Беззвучный, ничем не пахнущий, одноцветный и необитаемый ландшафт производил на всех одно и то же впечатление: пьянящее чувство заброшенности постепенно уступало место стремлению испытать одиночество. Подобно Марыне, каждого из них охватывало желание остаться в одиночестве — в полном одиночестве (а что, если я… она… он…?), и они тоже представляли себе без трагизма и без вины исчезновение своих самых близких людей. Воображать — означает желать? Они быстро поддавались этому иссушающему чувству, но почти тотчас пресыщались, когда их охватывал некий глубинный страх, очищались, трезвели, а там уже пора было возвращаться на орошенную землю, к их жизни среди влаги.

И лишь одна из них, бродя в отупляющей мгле пустыни, не смогла приобщиться к этой восхитительной и пагубной фантазии: несмотря на призывы Рышарда и Юлиана не приближаться к кактусам, Ванде не удалось обуздать любопытство, и она решила потрогать один из пушистых с виду «бобровых хвостов» кактуса.

— На нем же не было колючек, — хныкала она. — Откуда мне было знать, что там эти ужасные… — и всхлипнула.

— Обеими руками, Ванда! Зачем ты трогала *обеими* руками? — Юлиан кипел от злости. Ему пришлось вывести ее на крыльцо, прихватив с собой пинцет и свечу. — Только ты могла додуматься потрогать кактус обеими…

Морщась и вздыхая, он стоял сзади и держал ее за плечи, пока Якуб и Данута битый час выщипывали сотни крошечных пушистых иголочек, вонзившихся ей в пальцы и ладони. Когда стоны Ванды заглушил чей-то красноречивый вопль, то вначале все подумали об очередном инциденте с кактусом.

— Мадам! Мадам!

Марына бросилась на помощь. Но это оказались три огромных фиолетовых баклажана, похожие на толстые бомбы, сброшенные за домом. Анела

споткнулась о них, затем попробовала сорвать, но обнаружила, что все они крепко приросли к каменистой почве. Их высвободил Рышард, перерезав охотничьим ножом тугие, как веревки, стебли.

Пока они с ликующим видом готовили первый ужин своей новой жизни — баклажаны, поджаренные на костре, и купленные в деревне продукты, — светлое суровое небо потемнело, и в нем зажглись такие яркие звезды, каких они никогда не видели в Закопане. «Звезды в оправе из черного дерева», — сказал Якуб. Данута и Циприан вошли в дом: Циприан — взять телескоп, привезенный Богданом из Польши, а Данута — уложить девочек. Петр, видя, что о нем забыли, и в то же время радуясь тому, что его не отправили спать, уселся на крыльце и пытался подражать вою койотов. Вскоре их всех загнали в дом толстопузые москиты, которые кусали сквозь одежду и превратили эту первую ночь (как и все последующие) в сплошное мучение. Но, даже не будь москитов, им вряд ли удалось бы хорошо выспаться, поскольку они были слишком возбуждены собственным бесстрашием и то и дело просыпались от ярких сновидений. Юлиану снились окровавленные руки Ванды. Рышарду

— нож. Анеле — мать, которой она никогда не видела, но которая была похожа на Деву Марию из часовни сиротского приюта; мать часто ей снилась. Петру грезились мертвецы, восставшие из могил и окружившие дом. Богдану снилось, что Марына ушла к Рышарду. А Марыне — Эдвин Бут, которого она наконец-то увидела неделю назад. Спустя считаные часы после того, как «Конституция» вошла в бухту Сан-Франциско, Марына узнала, что великий Бут выступает в театре «Калифорния», и уже на следующий день она увидела его Шейлока, а еще через два дня — Марка Антония. Она не осталась разочарованной и плакала от восторга. Во сне он наклоняется к ней. Прикладывает ладонь к ее щеке. Он говорит ей о чем-то грустном, непоправимом, о том, что кто-то умер. Ей хочется прикоснуться к его плечу; плечо тоже грустное. Потом они скачут на лошадях бок о бок, но с ее лошадью что-то не так, она чересчур мала: ноги Марыны волочатся по земле. Он закутан в восточные одежды, которые носил в роли старика Шейлока, на нем даже светло-желтая шляпа и остроносые красные туфли нечестивца, хотя на самом деле он — Марк Антоний. Они слезают с лошадей возле гигантской чольи. Затем он швыряет шляпу на землю, к ее ужасу хватает

голой рукой колючую ветку кактуса и взбирается на него с ловкостью юноши. «Не делайте этого!» — кричит она. Но он продолжает карабкаться. «Спуститесь, прошу вас!» Она плачет от страха. А он смеется. Это по-прежнему Бут? Но он немножко похож на Стефана. Да нет же, ее брат остался в Польше, он умер. Держась за самую верхнюю ветку чольи, он произносит возвышенную речь, исполненную упреков и призывов, обращаясь к небесам, а затем к ней:

Вы плачете; я вижу, что вы все
Растроганы: то слезы состраданья[47].

Но в словах, что исходят из его уст, звучит что-то новое, нет, непривычное, или нет, наоборот, привычное. Она прекрасно понимала его в Сан-Франциско, понимала его и сейчас, несмотря на то что говорил он не совсем так, как принято в театре. Может, он произносил слова по-латыни? Ведь Антоний был римлянином. Но Шекспир-то англичанин. Значит, так звучит английский? В таком случае вся ее учеба и упражнения пошли насмарку. С этой мыслью она проснулась и поняла, смеясь про себя, что ей приснился Эдвин Бут,

---

[47] Примечания: 47
«Юлий Цезарь», акт III, сцена 2 *(пер. М. Зенкевича).*

игравший на польском!

Одна из причин, по которой Юлиан и Рышард выбрали именно это место, — его близость к общине фермеров в первом поколении (и в придачу немцев, так что языкового барьера быть не должно), которые когда-то тоже ничего не знали о винограде и коровах, плугах и оросительных каналах.

Еще двадцать лет назад эти плодородные поля и процветающая деревня были двумя сотнями акров песчаной пустыни — дальним уголком обширного ранчо, мексиканский владелец которого, убежденный, что данный клочок земли не прокормит и козы, с радостью его продал. Европейским эмигрантам (для которых эта пустыня была не просто чужой, а своеобразной ошибкой природы, которую можно исправить водой) пришло в голову, что климат южной Калифорнии, так сильно напоминающий итальянский, должен быть благоприятен для выращивания винограда.

Землю, арендованную на деньги Богдана, ее владельцы (теперь переселившиеся на ранчо в предгорья) обрабатывали вплоть до их приезда в начале октября, к концу уборки винограда: большая часть урожая была уже собрана и про-

дана. Наступил самый подходящий момент для вселения и управления хозяйством.

Они не желали признавать того, что их неопытность может стать непреодолимым препятствием. Нужны были только трудолюбие, выносливость и смирение. Каждый день Марына вставала в половине седьмого и тотчас хваталась за метлу. Ах, Хенрик, видели бы вы сейчас свою Дездемону, Маргариту Готье, леди Анну и принцессу Эболи!

Разрываясь между двумя желаниями — раздавать поручения или ввести правило, что любая работа добровольна, — Марына решила действовать личным примером. Ей нравилось мести: мощные взмахи метлой гармонировали с ее мыслями. А еще — лущить бобы, сидя на крыльце в кресле, сплетенном из ветвей толокнянки: эта механическая работа погружала ее в глубокую отрешенность, которая помогала ей, когда она еще была актрисой. Марына не скучала по сцене. Она ни по ком не скучала. Богдан работал в винограднике вместе с Якубом, Александером и Цицианом. Рышард где-то писал. Барбара и Ванда ушли в деревню за хлебом и мясом. Данута сидела с девочками. Петр прибежал показать ей дохлую ящерицу; вместе с Анелой они решили похоронить ее во дворе и поставить на могил-

ку маленький крестик. Она слышала, как они смеялись. Анела — чудесная подружка. Совсем еще ребенок. Если бы Камила осталась жива, сейчас бы ей было шестнадцать — как Анеле. Но она могла представить на коленях, на своих теплых коленях, лишь лепечущую малышку, играющую очищенными бобами в миске… свою шестнадцатилетнюю дочь. Сердце по-прежнему щемило — она не скучала по матери, по сестре, по Хорошему Х. и Плохому Г. (как она мысленно окрестила Хенрика и Генриха), даже по Стефану. Только по умершей дочери.

Довольно горевать! Нужно жить настоящим! Под этим солнцем! Она впитывала свет. Она и вправду ощущала, как ослепительный блеск пустыни оставлял отпечаток на ее коже, высушивал и пролитые и еще непролитые слезы. Отступление огромной тревоги, в которой она барахталась столько лет, и прилив энергии, которую больше не нужно беречь для спектаклей, были почти осязаемыми. Все те ограничения, от которых она отказалась (выступать на сцене или отдыхать после выхода на сцену и готовиться к новому), казались такими неизменными! Она вырвалась из них, все еще сомневаясь, что это необходимо. Отныне эту новую жизнь и этот новый ландшафт

с его горизонтом можно было считать совершенными. Но до чего же все оказалось просто! Вы слышите, Хенрик? Изменить свою жизнь — так же просто, как снять перчатку.

Никто не увиливал от работы, все стремились сделать что-нибудь полезное. Ванда сказала Юлиану, что, по ее мнению, необходимо перекрасить дом. Оставалось убрать несколько акров винограда, а уже обрезанные лозы нужно было удобрить — затишье в неумолимом круговороте сельскохозяйственного года лишь относительно. Александер изготовил чучело, одетое в форму русского солдата, и поставил его в винограднике. Несколько дней спустя Богдан и Якуб приступили к сбору оставшихся гроздей. Однако они приехали совсем недавно и только начали обустраиваться, а великолепная погода словно приглашала их совместить работу и самосовершенствование. Юлиан принялся объяснять всем желающим химические основы виноделия. Данута помогала Барбаре изучать английский разговорник. Александер собирал коллекцию образцов горных пород. Якуб установил мольберт. После утренних занятий литературой Рышард давал уроки езды верхом на гнедой кобыле. Они лежали в гамаках, подвешенных Цицианом к деревьям, и читали

романы и книги о путешествиях; с наступлением сумерек они поднимали глаза к розовому небосводу и наблюдали, как темнеют по очереди небо, облака и окаймленное горами пространство, пока над вершинами не поднималась полная бронзовая луна, вновь освещавшая облака. Однажды ночью она стала больше и краснее, с чернильным отпечатком большого пальца, и Юлиан предупредил всех, что может начаться лунное затмение. И они ждали его. Ничто не могло сравниться с простой неподвижностью. И с ездой верхом, вначале медленной, а потом, когда они привыкли к глубокому мексиканскому седлу, — галопом по пустыне, иногда до предгорий, а порой до самого океана, в двенадцати милях к западу.

Накануне долгого путешествия в Калифорнию Циприана отправили на день в Вашингтон, в Министерство земледелия, где он набрал целую коробку брошюр о виноградарстве в южной части штата. Безусловно, имело смысл пойти по стопам анахаймских поселенцев, ведь деревня изначально была виноградарской колонией. Но Богдан решил, что из их сорока семи акров (в два раза больше, чем участок, который обрабатывала каждая из первоначальных пятидесяти семей) десять акров нужно выделить под апельсиновую

рощу и еще пять — под оливковые деревья. Если у них будет только одна товарная культура, паразиты или неожиданное похолодание могут ее уничтожить. А если культур будет несколько, хотя бы одна из них обязательно принесет урожай.

Пока мужчины, разгуливая по всему поселению или лежа в гамаках, обсуждали порядок осуществления своих планов, единственная задача, не терпевшая отсрочки, — кормление скота и самих себя, — выпадала женщинам. Они не могли подложить сена и овса в кормушку для коров, подсыпать зерна курам, принести ячменя, маиса и клевера лошадям и тем более предложить соседям-виноделам купить у них виноград до тех пор, пока не съедали с наслаждением плотный завтрак. Одним хотелось чаю, другим — кофе, третьим — молока, горячего шоколада или вина; все ели яйца, сваренные тремя или четырьмя различными способами, — а между тем яиц было немного, потому что куры привыкли нести их повсюду, и первыми их часто находили бездомные собаки. Голодная слюна во рту и сведенный от голода желудок — в этом люди и скот были схожи, но первые отличались индивидуальным вкусом, личной историей и бременем непостоянства.

Добывание еды для общины отнимало у жен-

щин большую часть времени. Никто из них не умел как следует готовить, Анела же оказалась совершенно неспособной к ведению домашнего хозяйства, как Марыну и предупреждали. Все ворчали у Марыны за спиной — и выполняли все ее указания по первому же требованию. Ванда расплакалась, когда ей сказали, что она не нужна на кухне, потому что со своими перевязанными руками не принесет никакой пользы еще целую неделю. Данута решила кормить своих троих детей по отдельности. Барбаре поручили пополнять запасы кофе, чая, сахара, бекона, муки и других продуктов питания (которых постоянно оказывалось меньше, чем нужно) и покупать большую часть их дневного рациона, пока они не начнут есть только самостоятельно выращенные овощи, пить собственное вино и жарить собственную домашнюю птицу (каждому из них уже приходилось гоняться с топором за курицей или индейкой и с пустыми руками возвращаться в кухню). Их охотник, Рышард, привозил черных кроликов и куропаток из утренних прогулок верхом в предгорья. Если в кухне была Марына, он задерживался на минуту и незаметно засовывал листок бумаги в карман ее фартука… стихотворение или отрывок из рассказа; на одном из них

было просто написано: «Можно рассказать вам свой сон?» В Польше она принимала от Рышарда эти знаки внимания как должное — как часть общей лести; здесь же, когда она мучительно пыталась совладать с оладьями или омлетом, они просто отвлекали ее. Однажды она подняла голову и увидела, что он стоит в дверях и смотрит на нее. Почти театральным жестом утерев пот со лба голой рукой, она насмешливо улыбнулась.

— Или заходи и помогай, — сказала она, — или возвращайся в сарай и пиши.

Стряпню еще рано было доверять Анеле, которая отчаянно старалась угодить Марыне, но оказалась не способной ни на что, кроме пения старинных заунывных гимнов, посвященных Мадонне и Польше. На кухне и так уже было тесно, и Анела только путалась под ногами. Марына спокойно отправила ее поиграть с Петром и девочками. Тогда, без всякого приглашения, певческую «эстафету» перехватила Барбара. Она выучила одну-единственную английскую песню — «Суони-Ривер»[48] — и все время пела ее. Марыну выводил из себя не смешной акцент (кстати, довольно слабый), а сама песня. Они

---

[48] Примечания: 48
Гимн штата Флорида, другое название — «Старики дома».

жили в западной части Америки, а Барбара завывала своим неблагозвучным голосом о какой-то речке на востоке или, возможно, на юге (Марына смутно представляла, где именно), которой она, Барбара, никогда не видела и не увидит. Правда, Марына не могла предложить взамен ни одной песни о могучем Тихом океане, не говоря уже об их маленькой речушке Санта-Ана. Но все равно считала эту песню дерзостью и неуважением к тому месту, где они находились, да и к самому богу Географии.

Так где же они находились?

Очень далеко… но далеко отчего? Было бы слишком малодушно, даже нечестно, утверждать: от Европы, от Польши. Ведь то же самое можно сказать о любом месте в Америке. Лучше считать, что находишься далеко от какого-то американского населенного пункта — например, единственного настоящего города в штате (и самого крупного к западу от Миссисипи) с населением триста тысяч человек, процветающими театрами и кучкой польских эмигрантов — в основном семей, бежавших сюда после неудачных восстаний 1830 и 1863 годов. Да, они жили далеко от Сан-Франциско. Этот маленький Анахайм с населением в два раза меньшим, чем в Закопане,

не представлял собой ровным счетом ничего. Однако его трудно назвать примитивным. Или деревней в их понимании, где люди жили с незапамятных времен. Это было место, которое люди выбрали сами, вырвали его из небытия и усердно развивали, — современная деревня.

И все это казалось очень американским (насколько вновь прибывшие понимали свою новую страну), даже несмотря на то, что иногда они не чувствовали себя в Америке. Они говорили по-польски между собой и по-немецки — с соседями, что служило несомненным преимуществом для таких людей, как Александер, которому было трудно выучить английский. Но казалось весьма странным, что, преодолев такое громадное расстояние, они все еще разговаривали на языке одного из своих завоевателей. Но в этом, как указывал Богдан, тоже заключалась Америка, эта необычная, возможно даже, самая необычная страна, принимающая все европейские национальности; к тому же (вставил Рышард, который начал изучать испанский) английский не был языком коренного населения Калифорнии.

Они представляли себе сонную земледельческую коммуну. А увидели город в миниатюре с сетью улиц, где кипела бурная деятельность.

Заканчивался сбор винограда, и деревня кишела рабочими, которые собирали урожай и давили сок. Некоторые из них были мексиканцами, они выполняли почти всю грязную работу и жили в собственном селении, расположенном неподалеку. Большинство же были индейцами-кауилья, которые спускались с диких гор Сан-Бернардино только во время уборки урожая и становились лагерем за живой ивовой изгородью, окружающей деревню, ночевали в палатках или на грудах сыромятных шкур под открытым небом. Индейцы и мексиканцы обычно состязались, кто больше выпьет, но мексиканцы неожиданно выходили из игры и отправлялись выкрикивать комплименты немецким девушкам, которые прогуливались в сопровождении своих хмурых отцов и братьев, или разжигали костер посреди Лимонной улицы и танцевали болеро. Индейцы наблюдали за ними с одной стороны, а немцы — с другой. Потом немцы уходили спать, а сборщики винограда продолжали пировать на улицах их города.

Когда Марына и Богдан пришли в Муниципалитет представиться мэру города, Рудольфу Людке, он заверил их, что подобные бесчинства крайне редки и что Анахайм — благопристойная община

богобоязненных трудолюбивых семей, в отличие от адского городишки в тридцати милях отсюда, необузданные жители которого непрестанно глушат текилу, устраивают травлю медведей или поножовщину (до недавнего времени там совершалось в среднем по одному убийству в день, большинство остались безнаказанными), а в некоторых домах происходят представления, о которых он не смеет говорить в присутствии дамы… Марына сразу вспомнила, как Рышард вскользь упоминал, какое удовольствие доставляли ему вылазки в Лос-Анджелес, когда они с Юлианом впервые приехали в Анахайм. Герр Людке провел экскурсию по оросительным каналам (в поток немецкой речи вплелось испанское слово *zanjas),* пересекавшим город, и отметил, что вода из них постоянно выходит на улицы, и тогда Богдан сказал, что эта потребность в постоянном уходе и ремонте каналов и улиц должна способствовать выработке стойких привычек у жителей.

— Вот именно, — подтвердил мэр.

Он показал им церкви, гимнастическое общество, Водную компанию, комнату, в которой когда-то располагалась сельская школа, и нынешнее здание школы с двумя комнатами, куда

должен был ходить Петр. Он привел их домой и познакомил с фрау Людке, которая представила им своих дочерей и подала на стол кофе и шнапс, а затем пригласила их вступить в Анахаймскую культурную лигу, что собиралась в отеле «Плантаторы» на Линкольн-авеню в первую среду каждого месяца. Марына не сказала о том, что была актрисой.

Через несколько дней, когда в деревню приехал цирк Штаппенбека из Лос-Анджелеса, торжества достигли своего апогея. Во второй половине дня процессия зверей в клетках и без клеток заполонила Апельсиновую улицу: слон с покосившейся башенкой на спине, два медведя, шелудивый горный лев, обезьяны и попугаи. Петр расстроился, когда Рышард сообщил ему, что горный лев — это на самом деле никакой не лев, а пума.

— А я думал, в Калифорнии есть настоящие львы, — сказал мальчик, надув губы.

Этот печальный зверинец Фридриха Штаппенбека не произвел никакого впечатления на людей, которые жили среди вольных зверей и считали их родственными душами. Но индейцы (да и все остальные) были в восторге от людей, выступавших под шатром: пожирателей огня, жонглеров с ножами, акробата, фокусника, кло-

уна в костюме Дяди Сэма, крохотной женщины, летавшей по воздуху на трапеции, и силача — широкоплечего угрюмого юноши с шапкой черных волос и ногами, похожими на колоды. Силач вызывал особый интерес, поскольку он родился и вырос в этом районе. Индейцы так и не признали в нем своего — потомка скво из племени кауилья, которая спустилась с гор и нанялась прачкой к владельцам ранчо, расположенного в предгорьях (она умерла, когда сын был еще маленьким), и *vaquero*, одно время объезжавшего лошадей на том же ранчо. Но жители деревни хорошо помнили этого вечно недовольного нелюдима, хотя обвинить его в каком-либо проступке не могли. Его настоящее имя, У-ва-ка, умерло вместе с его матерью; в деревне и предгорьях его называли Большая Шея. Два года назад он куда-то исчез; с тех пор о нем не было никаких вестей. И вот появился вновь — великан с веревкой из оленьей кожи, обвязанной вокруг огромной шеи, и новым, цирковым именем Замбо — американский Геркулес. Он мог пронести вокруг арены шесть человек — по три на каждом плече. Мог сразиться с любыми двумя соперниками (вызвалось с полдюжины зрителей) и повалить обоих на землю. В финале представления все звери

скакали под щелканье Штаппенбекова хлыста, Матильда (или Воздушный ангелочек, как было заявлено в афише), выступавшая на трапеции, балансировала на вершине тридцатифутового шеста, который держал ликующий Замбо, в это же время на арену выехала паровая каллиопа, за которой сидел Дядя Сэм, и издавала серию нестройных свистков, отдаленно напоминавших старую добрую «Янки-Дудль». Американцы кричали «Ура!»; немцы «Хох!»; мексиканцы «Вива!»; а индейцы-кауилья просто вопили от радости.

— Мама, расскажи сказку.

— Жили-были…

— Нет, не такую, настоящую.

— Какую настоящую?

— С медведями. Где убивают людей. Где все плачут.

— Петр! Почему это все должны плакать?

— Потому что они умрут.

— Петр!

— Но это же правда. Ты сама сказала мне. И дядя Стефан умер, и я видел, как ты плакала. И я слышал, как Циприан сказал про мула: «Плохи дела». А если все умирают, то ты тоже когда-нибудь умрешь, и…

— Петр, милый! Еще очень-очень не скоро,

обещаю тебе. И не думай об этом.

— Не могу. Если уж я о чем-то думаю, то не могу остановиться. Оно сидит у меня в голове и все время говорит со мной.

— Петр, послушай меня. Здесь нечего бояться. И я больше никуда не уеду. Никуда.

— А я все равно боюсь.

— Чего же?

— Что я умру. Поэтому мне нужен томагавк.

— Ах, мой малыш, зачем он тебе?

— Чтобы отбиваться. У них у всех ружья.

И это было правдой. У всех мужчин были ружья. Причем заряженные.

На следующее утро после циркового представления деревню разбудила поразительная новость, лишний раз подтвердившая представления местных жителей о Лос-Анджелесе и обо всем, что оттуда исходило. Штаппенбек убит, Матильда похищена, убийцей же и похитителем оказался силач Замбо. По окончании шоу зрители разошлись по домам, а артисты направились в спальные фургоны, чтобы снять свои шутовские наряды и надеть рабочую одежду, поскольку им предстояло всю ночь сворачивать шатер и упаковывать вещи. Они услышали крики Штаппенбека, который звал на помощь, и побежали

обратно к шатру. Владелец цирка извивался на земле рядом с клеткой обезьян; сидевший на нем Замбо орал: «Никогда! Никогда! Никогда!»; Матильда рыдала в полумраке. Участники трио менестрелей набросились на парня и начали молотить его кастаньетами. Замбо отпихнул их в сторону одним плечом, и они, целые и невредимые, повалились на опилки рядом с умирающим. Затем Замбо сгреб в охапку воздушную акробатку и убежал в ночь.

Человек-змея пытался поставить Штаппенбека на ноги. Волосы у того были залиты кровью. Его отнесли в дом мэра, и перед смертью он еще успел проклясть своего убийцу и назвать мотив преступления. Он видел, как Замбо рылся в сундуке, где хранился кассовый сбор. Людке посовещался с шерифом, и на рассвете на поиски беглеца отправили отряд.

Куда бы Замбо мог уйти пешком? Он часто говорил о своем желании бросить цирк и поселиться в горах Санта-Ана, звал за собой жонглера и пожирателя огня. Но воровать… Нет. Штаппенбек ненавидел Замбо, хотя его единственное преступление заключалось в том, что он был по уши влюблен в Матильду — племянницу Штаппенбека (фокусник сказал, что она была его приемной

дочерью). Штаппенбек мог ни за что ни про что высечь силача, а бедняга Замбо не смел и пальцем тронуть своего мучителя, никогда не морщился и не кричал. «Они не чувствуют боль так, как мы», — сказал клоун Дядя Сэм.

Для жителей деревни, у которых не было оснований сомневаться в показаниях умирающего, бегство Замбо вместе с Матильдой служило доказательством вины метиса. Кража, убийство и в довершение всего похищение белой женщины — типично индейское преступление. Шериф был уверен, что Замбо и женщину найдут. Штаппенбек — единственный человек в цирке, который имел оружие.

Марына, Богдан, Петр и все остальные видели, как они проехали мимо — суровые мужчины с «шарпами» и «винчестерами» — и ускакали галопом в пустыню.

Какой роскошный сюжет для Рышарда! В тот же день он начал писать рассказ (в его версии — любовный). Сохранив возраст Замбо (шестнадцать лет), он омолодил Матильду с двадцати трех до тринадцати и окрестил героев Орсо и Дженни. Возлюбленная *его* силача была ангельским ребенком на пороге взросления и не состояла ни в каких родственных связях с владельцем цир-

ка, получившим фамилию Брандт. За обедом Рышард сообщил всем, что ему осталось только дописать концовку.

— Но он ведь еще не закончен, — возразил Рышард, когда его стали упрашивать прочитать рассказ.

— Действительная история тоже еще не закончилась, — сказал Богдан. — Мы же не знаем, нашли их или нет.

Рышард сходил в сарай за рукописью и прочитал вслух свою повесть.

Вот Анахайм во всем своем грубоватом своеобразии: ковбои на похрапывающих мустангах, фермеры из дальних поселений привязывают свои коляски к столбам; местные красавицы-блондинки, черноволосые сеньориты из Лос-Ньетоса и жены фермеров толпятся в галантерейном магазине, покупают ситцевые и льняные рулоны и рассматривают выкройки в модных журналах; сплетни, флирт, хвастовство, торговля; суета в ожидании приезда цирка. Шествие Брандтова зверинца по Апельсиновой улице. Появление неповоротливого силача и маленькой акробатки. Свирепая злоба Орсо укрощена тайной любовью, детская невинность Дженни встревожена зарождающейся любовью. Вспышки ревности Брандта.

Орсо стойко переносит эти ужасные избиения. Он терпит любые унижения, боясь увольнения и разлуки с любимой Джен. Представление под куполом цирка. Невиданная сила Орсо, грация и бесстрашие Дженни. Восторг толпы. После представления: юноша и девушка сидят на скамье в углу темного шатра. Дженни по-девичьи возмущается грубостями, которым подвергается ее цирковой товарищ. Орсо вспоминает о своей мечте уйти из цирка и зажить вместе с Дженни вольной, прекрасной жизнью в горах Санта-Ана. Дженни прижимается головкой к огромной, как бочка, груди Орсо; Орсо сжимает край скамьи своими мясистыми руками. Вздыхает. Опять вздыхает. Первые признания в своих подлинных чувствах. Орсо робко касается волос Дженни. Брандт подсматривает из темноты, а затем подскакивает к ним. Орсо не оказывает никакого сопротивления и терпеливо сносит удары хлыста. Но Брандт поворачивается к Дженни и впервые поднимает на нее руку. Орсо опрокидывает его на землю. Брандт ударился головой об угол обезьяньей клетки. Орсо берет Дженни на руки. Они вместе бегут в ночи через пустыню, в предгорья, за ними гонится полицейский отряд. Несколько часов целомудренного сна. Страхи Дженни. Неж-

ная защита Орсо. Продолжается побег к голубым горам. Холод, дикие звери, голод, изнеможение…

Рышард поднял глаза над ворохом бумаги:

— Вот пока что и все.

— Весьма занимательно, — сказал Богдан. — Живо. И довольно трогательно.

Рышард не отважился спросить у Марыны, что она думает. Написать любовную историю и прочитать ее вслух в присутствии Богдана и всех остальных — для этого нужна определенная смелость. А прочие мнения его не интересовали. Рышард уклонялся от насмешливого взгляда Юлиана.

— Небольшая деталь, — сказал Юлиан. — По поводу гор. Полагаю, у тебя были основания назвать их голубыми?

— Ну, разумеется… грамотей! — вскричал Рышард. — Я просто написал «голубые», и они стали голубыми. Именно так поступает писатель, а ты, мой раб и читатель, должен видеть их голубыми.

— Но они же ведь…

— А художник, — с торжествующим видом продолжал Рышард, — если он считает горы голубыми, должен показать это наглядно, смешав краски и *получив* тот цвет, который мы, возмож-

но, назовем (хотя это вовсе не важно) голубым…

— …фиолетовым, лавандовым или лиловым, — радостно подхватил Якуб.

— И чем же все закончится? — спросил Циприан.

— Наверное, душераздирающей сценой, — ответил Рышард. — Либо *lento*[49] с продолжением рассказа об их лишениях и страданиях, пока они наконец не укроются в пещере горного льва, где лягут, обнявшись, на землю, чтобы умереть от голода и холода. Либо *allegro, allegro feroce*[50] с отрядом, загоняющим их в какой-нибудь каньон, на край ущелья. Вы можете себе это представить, — он мысленно добавил «Марына», — там наверху еще зеленеет чапараль, но их выдадут блестки на обтрепанной розовой блузке и трико Дженни, сверкнувшие на солнце. Когда отряд окружит их, Воздушный ангелочек возьмет Орсо за руку, они вместе прыгнут в ущелье и разобьются насмерть.

— Ах! — вздохнула Барбара.

— Не люблю, когда плохо кончается, — сказала Ванда.

---

[49] Примечания: 49
Медленно *(ит.).*

[50] Примечания: 50
Быстро, очень быстро *(ит.).*

— Мнение необразованного читателя, — прокомментировал Юлиан.

— В действительности, — сказал Рышард, смущенный, как и все остальные, злобным презрением Юлиана к жене, — у меня тоже есть сомнения насчет этого двойного самоубийства. — (От рыцарского благородства до творческого вдохновения — один шаг.) — Да, возможно, их не поймают.

— Да! Да! — сказала Ванда.

— Ты что, веришь этой женщине? — спросил Юлиан.

— Они смогут уйти от преследования и остаться в горах. Синих-пресиних горах, Юлиан. Красавица и чудовище поселятся в дальнем каньоне, куда никто не отважится спуститься, за исключением самого бесстрашного траппера.

— Но как же они будут питаться, греться и обороняться от диких зверей? — спросил Александер.

— Он же индеец, — возразил Циприан, — он должен знать о таких вещах.

— Наполовину индеец, — пробормотал Якуб.

— А Дженни вообще не индеанка, — сказала Данута.

— Не бойся несчастливой концовки, — поды-

тожил Богдан, — если она больше похожа на правду.

— Читатели-читатели! — воскликнул Рышард. — Я просто хочу рассказать хорошую историю. Что может быть правдивее? И что может быть печальнее? Не возлагайте на плечи мечтателя слишком много ответственности! Или вы думаете, что от того, какую концовку я изберу, зависит истинная судьба этих бедняг?

Но ему уже начинало казаться, что так и есть на самом деле. Поэтому суеверный Рышард обратился к одной мексиканке, предсказательнице *suertes*, или судьбы. Ее пророчество (о том, что они будут пойманы и убиты) решило все: концовка дописалась сама собой.

Орсо выследили, когда он взбирался по крутому склону холма с Дженни на руках; сверкают и гремят ружья; грохот эхом отражается от стен каньона, пуля попадает в голову Дженни, Орсо падает; отряд находит его на земле: он воет от горя и качает мертвую Дженни на руках; на голову Орсо летит лассо и с шипением затягивается у него на шее; потом они…

Нет! Сделать так, чтобы отряд заблудился. А дети спаслись. Выдумать старого скваттера, живущего в беззаботном одиночестве (уже много

лет он не видел ни одной живой души в своей заповедной горной обители), который пригласит их к своему костру и окажется невероятно добрым человеком — полной противоположностью жестокого хозяина цирка. Им страшно — он их ободрит. Они голодны — он их накормит. Разворошив угли, он положит на решетку славный олений окорок и прослезится, наблюдая, как они едят (возможно, он когда-то был отцом). «С тех пор они жили вместе», — гласила последняя строчка рассказа. «Такова Америка, — подумал Рышард. — Здесь одинаково ценятся слезливый „хэппи-энд“ и лицемерная, веселая бойня». Когда два дня спустя отряд догнал беглецов и, открыв по ним огонь, попал Матильде в позвоночник (она осталась парализованной на всю жизнь), а затем вздернул Замбо на виселице, Рышард нисколько не сожалел о развязке, которую он избрал. Какой смысл превращать случай из жизни в рассказ, если не можешь ничего изменить, в особенности — финал?

Не для того ли сочиняют истории, чтобы пробудить скрытое в каждом из нас стремление к другой жизни?

Кроме того, Рышард не был расположен рассказывать историю о невозможной любви, которая

оказалась… невозможной. Писать — значит заклинать: Рышарду хотелось показать, что невозможная любовь возможна. Его собственная любовь к Марыне превратилась в бесконечную, незавершенную историю, которую он постоянно исправлял, расцвечивал и оттачивал, отыскивая все более изящные формы повествования. Здесь он жил бок о бок с Марыной, но не смел быть с ней более серьезным из страха перед окончательным отказом. По его предположениям, ей нравились его докучливые знаки внимания, и она огорчилась бы, если бы ее пылкий и бесконечно терпеливый поклонник попросту отказался от нее. Но эту роль становилось труднее играть без декораций, в которых она была задумана. Здесь не было ни гримерных (Рышард любил наблюдать, как она смотрится в зеркало), ни прокуренных коридоров с газовыми лампами, ни затемненных экипажей. Зеркала висели в лос-анджелесских борделях, в Сан-Франциско тоже имелись зеркала (причем не только в театрах), но какую пользу могла принести столь практичной деревушке, как Анахайм, эта обманчивая игра поверхностей и того, что за ними? В их новой жизни зеркал не было. Одни лишь виды.

Возможно, он не грустил бы так, если бы ему

приходилось терпеть только присутствие мужа, однако совместная жизнь с четырьмя супружескими парами, — каждая из которых, даже несчастные Юлиан и Ванда, казалась такой сплоченной, — отдаляла его от Марыны, как никогда прежде. (Желая отличаться от них, Рышард уговорил другого холостяка, Якуба, поехать вместе с ним в Лос-Анджелес, чтобы целую неделю провести с проститутками.) Они редко оставались наедине, если не считать уроков верховой езды. Рышард пересказывал ей свои одинокие приключения в августе, когда они вместе с Юлианом жили и занимались исследованиями в незаселенных областях. Как тут было не отойти от этого супружеского пастбища? Как не вдохнуть новую эротическую энергию в их отношения?

— Поедемте со мной, — говорил Рышард, — и я покажу вам горы.

— Скоро, скоро, — бормотала она.

Он мечтал защищать ее. Но защищать было не от чего. Если только Богдан никуда не исчезнет. В рассказе может случиться что угодно. Богдан мог упасть с лошади и свернуть себе шею, и тогда она поняла бы…

Спешившись, Марына бесцеремонно потянула его за воротник. Она совершила это путешествие

в освобождающую пустоту (как ее ни назови: раскаленная пустыня или необитаемые горы), где Рышард вызвался быть ее проводником.

— Ах, Марына, — простонал он. — Неужели у нас нет никакой надежды?

— У нас?

Он склонил голову:

— У меня.

— По-моему, — сказала она, — у вас надежда есть.

— А у вас, Марына? Твердо решили похоронить себя заживо? Вы что, правда так сильно изменились? Возможно ли это, Марына?

— Более чем возможно.

— И это, — он махнул рукой на окружавшие их земли, — единственная страсть, которая теперь занимает вас?

Она не ответила.

— Но, быть может, вы обманываетесь насчет своих истинных желаний? Разве вы никогда не ощущаете себя покинутой? Обстановка прекрасна, это — наш Арденнский лес, но она не меняется. Разве вас никогда не раздражают Юлиан, бедная Ванда, Данута, Александер, Циприан, Барбара и даже Якуб… нет, я не стану исключать себя из списка. Как вы нас терпите?

— Нас?

— А грубость людей и зверей, тяжелые, залепленные грязью ботинки и вонючая одежда, покрасневшая шершавая кожа у вас на руках и фурункулы Анелы, которые вы вскрываете раскаленным лезвием бритвы (я видел, где вы только этому научились?), — это же не вы! Навоз, грязь и засуха — но вы ведь созданы для роскоши! А расовая ненависть, бушующая в этих новых калифорнийцах и едва прикрываемая их алчностью? Эти люди бессердечны и пусты. Они сделают нас бессердечными и пустыми, Марына. Постойте, не говорите опять: «Нас?» Они сделают вас, даже вас, бессердечной и пустой.

— Мне жаль, что я кажусь вам жестокой, Рышард. Но против пустоты я не возражаю.

— Вам никогда не было жаль себя?

— Мне было жаль себя в Польше. Теперь я даже не понимаю почему. Но здесь? Нет, никогда. Вы же видите, я расцвела, когда избавилась практически от всего, что отличало меня от других. И теперь, когда вы называете меня жестокой, это мне просто смешно!

Не было: плюша, реликвий, тусклого освещения, собственной истории. Как объяснить это Рышарду? Здесь каждая история возникала са-

мостоятельно, не уходила корнями в длинную генеалогию отношений и обязательств. Внезапный пробел в массе значений этой новой жизни действовал, как нехватка кислорода.

Кружилась голова. И в то же время это было так знакомо. Группа людей, подчиняющихся строгому режиму и импульсивному руководству, — родная стихия Марыны: у людей театра очень силен общественный инстинкт. К тому же этот вновь устоявшийся уклад почти не отличался от жизни бродячих артистов. И если некоторые самые простые задачи фермерского быта все еще им не удавались, то в этом не было ничего удивительного, ведь они готовились второпях, заучивали роли фермеров в последнюю минуту, перед самым выходом на сцену. Им нужно было какое-то время «выступать под суфлера», как говорят актеры, пока полностью не вживутся в свои роли.

По вечерам, благородно не обращая внимания на растяжение мышц, боли в спине, царапины на голенях и болезненные солнечные ожоги, они собирались в гостиной, сосредоточенно изучали вашингтонские брошюры и книги по земледелию, привезенные из Польши, и обсуждали удобрения и заборы, посадку апельсиновой рощи,

ремонт курятника и наем батраков-индейцев или китайцев. Богдан расхаживал по комнате и обрисовывал план их нового жилища. Он говорил короткими, отрывистыми фразами, сжимая в руке полупустой стакан чая со звеневшей в нем ложечкой. В руке с почерневшим ногтем большого пальца и толстой веной, тянущейся от загорелого сустава до запястья, эту руку Марына едва узнавала; Богдан, которого она не знала прежде, уже не был поглощен целиком ею, но делал все это ради нее. Ради нее он растворился в коллективе.

Участвовать в этих дискуссиях могли все. Но на самом деле женщины, за исключением Марыны, почти не говорили, по-видимому, решив, что им нечего сказать — их слова будут превратно истолкованы или что принимать решения должны мужчины. Фермерская жизнь приучила женщин к новому виду покорности, навязав каждой новые формы несостоятельности. И, зная о том, что соседи считали их изнеженными и непрактичными дворянчиками, они боялись попросить их о помощи. Герр Колер прислал одного из своих молодых батраков-мексиканцев, чтобы тот показал им, как ухаживать за виноградником, — сезон скоро начинался. Мужчины угрюмо наблюдали,

как обрезать большие побеги, класть удобрение и утрамбовывать почву вокруг нижней части лозы. Колер, продававший им молоко, сливки и масло, оказался настолько любезен, что велел Панчо дать им также несколько уроков доения; но у женщин не хватало либо силы, либо сноровки: они чувствовали, что мучают коров. Несколько дней спустя они стали покупать молоко на близлежащей ферме.

Марына не привыкла щадить себя или быть снисходительной к другим. Но обижаться на Барбару и Дануту за то, что они не хотели становиться доярками, казалось ей таким мелочным перед этим беспощадным солнцем.

Усталость и монотонные занятия только укрепляли в ней ощущение физического здоровья. Не было также: слов, рисовки, любовных интриг. Это оказывалось целебным. Но были плотские ощущения. Острый запах свежего навоза и собственного пота. Пыхтение над кухонной плитой, на скамеечке для дойки и за тачкой, и гармония общей усталости, когда они отдыхали в конце дня, в тишине, за обеденным столом. Все звуки свелись к шуму дыхания, только их и ее дыхания. Она еще никогда не ощущала такой привязанности к другим людям, ее словно бы заключили

в куб шумных вздохов; никогда не смотрела с таким оптимизмом навстречу жизни, которую они стремились построить. Легко сказать: это продлится недолго. Любой брак, любая община — неудавшаяся утопия. Утопия — не место, а время, те слишком краткие мгновения, когда больше никуда не хочется. Быть может, существует древний инстинкт дышать в унисон? Это — высшая утопия. В основе стремления к сексуальной близости лежит желание дышать глубже, еще глубже, быстрее… но всегда вместе.

В ноябре Марына и Богдан получили письмо от своего соотечественника, жившего в Сан-Франциско уже почти двадцать лет, Бруно Халека — практичного и назойливого старика без определенного рода занятий и, говоря начистоту, с некоторыми средствами. Он подружился с Рышардом и Юлианом, когда они впервые приехали в Сан-Франциско в июле, и встретил основную группу, прибывшую в конце сентября.

Халек спрашивал, можно ли ему навестить своих друзей в их винодельческой «рейнской» деревушке в пустыне. По его словам, он давно уже не распрямлял свои могучие ноги. Ему бы и в голову не пришло отправиться в столь длительную поездку, если бы единственным средством

передвижения для его, надо сказать, крупной особы был тесный колесный пароходик — три дня сушеной говядины и вареных бобов! — который заходит в порт недалеко от Лос-Анджелеса, а потом — *ту-ту-ту-у!* — оставшиеся тридцать миль. Представьте такую картину, писал он. Когда немцы отправились на юг в 1859 году (тогда он познакомился с некоторыми из них, этими трудолюбивыми болванами; забавно было бы увидеть их теперь), их судно прошло мимо Лос-Анджелеса и бросило якорь в трех милях от того места, где должен был появиться Анахайм. Колонистов доставили к берегу в гребной шлюпке. И там, по пояс в воде, их ждала группа бедняг-индейцев, нанятых теми двумя сметливыми немцами, владельцами виноторговой компании в Лос-Анджелесе, где покупали акции жители Сан-Франциско. Индейцы посадили себе на плечи всех немцев, немок и немчат и перенесли на сушу. Но эти былинные дни давно канули в Лету (хотя он и не прочь увидеть того дюжего детину, у которого хватило бы силы донести его до берега!), и поскольку теперь в Лос-Анджелес ходит поезд, то ему не терпится совершить эту поездку. Но он вовсе не собирается им навязываться, поскольку не привык спать в палатке или бре-

венчатом срубе и предполагает остановиться в гостинице, однако хочет приехать к ним в гости, с позволения дражайшей мадам Марины. Просто попробовать винца, весело добавлял он.

Не привезти ли им чего-нибудь из Сан-Франциско?

Не могло быть и речи о том, чтобы их гость остановился в «Плантаторах». Марына и Богдан вынесли из гостиной софу и заменили ее кроватью; во время визита Петр будет спать на кухне вместе с Анелой. Марына презирала ту часть себя, которая хотела произвести впечатление на Халека (точнее, не разочаровать его), но была убеждена в том, что совместные усилия привести новый дом в порядок сделают его жильцов увереннее в себе. Она воспользовалась его приездом, чтобы заставить всех выполнить те работы, которые они уже давно откладывали. Нужно починить курятник (их крупный гость наверняка потребует четыре яйца на завтрак); перекрасить дом, начистить мебель, распаковать оставшиеся книги — работу на ферме пока пришлось отложить, и все думали лишь о том, как подготовить дом к приему гостя. Необходимо как следует заполнить кладовую — туда поставили бутылки с хорошими агардьенте и текилой, купленные в

мексиканском поселке (Халек наверняка будет воротить нос от анахаймского изобилия немецких сортов пива). Неделю спустя, оставив Дануту и Барбару раскладывать срезанный олеандр по симпатичным индейским корзинкам, Марына вместе с Богданом поехала в коляске на железнодорожную станцию. Их гость вышел из поезда и показался еще крупнее, чем обычно, — с кучей коробок, обвязанных коричневой бечевкой. В них он привез газеты из Польши, книги, платки и женские шкатулки для духов, кружевную накидку для Марыны, оловянных солдатиков для Петра, а также куклы и леденцы для маленьких девочек.

— Я голоден, как черт, — сказал он, войдя в дом.

Александер усмехнулся:

— Нам тоже постоянно хочется есть.

— Это потому, что вы слишком много трудитесь! — воскликнул Халек. — А я голоден, — он шлепнул по своему необъятному животу, — потому что голоден.

И он издал звук, напоминавший то ли лай, то ли вой.

— Знаю, что это, — радостно сказал Петр.

Все гости Сан-Франциско были обязаны по-

любоваться морскими львами, ревевшими на террасе казино, что располагалось на скале за городом.

— А я могу койотом, пан Халек. Вот послушайте.

Прекрасный шанс показать гостю округу. Первым делом самое главное: они познакомили его с анахаймской ирригационной системой.

— Рейнская деревушка, — фыркнул он, — с голландскими каналами. Я — в Нидерландах!

Они показали ему двух коров, трех беспокойных оседланных лошадей и хилого мула. Он спросил, ладят ли они с соседями.

— Мы их почти не видим, — ответил Циприан.

— Еще бы! — сказал Халек. — Что у вас может быть общего с этими загребущими фермерами и лавочниками? Вопреки легенде, которую распространил журналист Нордхофф, еще один немец, — он приехал сюда несколько лет назад и написал кучу всякого вздора об Анахайме, — в этой деревушке, как вы сами знаете, никогда не было ничего «коммунистического».

Он, конечно, говорил правду — к большому разочарованию польских поселенцев, головы которых были забиты Фурье и Брук-Фарм. В Сан-Франциско немцев завербовал землемер,

работавший на двух их соотечественников, которые владели виноградниками и виноторговой компанией в Лос-Анджелесе и стремились расширить свой бизнес. На деньги, вложенные пятьюдесятью инвесторами, был куплен и подготовлен для колонизации клочок земли: китайских и мексиканских рабочих наняли рыть оросительные каналы, мексиканских рабочих — высаживать виноградные лозы, а индейцев — строить глинобитные дома, в которых должны были жить пятьдесят семей. Когда они приехали два года спустя, дома и виноградники уже поджидали их. Поначалу общество владело всей собственностью, но через несколько лет, когда место стало приносить прибыль, кооператив распался. Каждый из первых поселенцев получил обратно вложенные деньги и стал владельцем своей доли. Анахайм никогда не был, даже в самом начале, экспериментом общинной жизни.

— И теперь вы, мадам Марына, вместе с глубокоуважаемым графом Дембовским и вашими друзьями, в силу безудержного польского идеализма, решили претворить легенду в жизнь. За это я снимаю перед вами шляпу. Но умоляю, не забывайте о сцене, все еще скорбящей об уходе своей королевы. Полагаю, через год с небольшим,

когда закончится эта авантюра, вы вновь…

— И вы туда же! Не ожидала, что мне придется выслушивать те же самые упреки в Америке, пусть и от соотечественника. Это не авантюра, мой друг. Это — новая жизнь, такая, как я хочу. Я не скучаю по сцене.

— А по удобствам, к которым вы привыкли?

В ответ она продекламировала по-английски:

> *«Да, вот и я в Арденнском лесу; и как был — дурак дураком, если не глупее: дома был я в лучшем месте. Но путешественники должны быть всем довольны»*[51].

— Простите, что вы сказали?

— Шекспир, пан Халек. «Как вам это понравится».

— Вот именно. Поэтому-то…

— Да я просто дразню вас, пан Халек! Повторяю: по сцене я не скучаю.

— Вы — очень смелая женщина, — сказал он.

Ему приятно было видеть своих друзей такими стройными и здоровыми. Несомненно, все дело в физических упражнениях, которыми ему, увы, не позволяла заниматься ширина талии, хотя он и

---

[51] Примечания: 51

«Как вам это понравится», акт II, сцена 4 *(пер. Т. Щепкиной-Купер ник).*

признался, что даже когда был юным и стройным — да-да, он тоже когда-то был стройным, сказал он, взглянув на Ванду (эти слова адресовались в первую очередь Ванде, которая удивилась тому, что Халек с ней заигрывал), — то больше всего на свете любил побездельничать. Особенно поесть, поговорить и поиграть в шахматы (раздумывая над ходом, он мог еще и спеть).

— Меня прельщают ваши маленькие деревенские Афины, — сказал он, — но не ваша маленькая Спарта.

Они охотно рассказывали ему о своей нерасторопности — на самом деле, в присутствии Халека они ощущали себя опытными сельскими жителями.

— Мне нравятся все эти пейзажи, — говорил он, лежа в гамаке, который специально укрепили на следующий день после его приезда. — И зверушки тоже, пока они не подходят слишком близко.

Он был равно озадачен, увидев прелестного маленького барсучка, которого поймал Рышард и сделал его домашним любимцем, и страшного гигантского скорпиона, пробежавшего по двору.

— Признаюсь, я боюсь животных, как еврей воды, — сказал он и, повернувшись к Якубу, добавил: — Надеюсь, я не оскорбил вас?

На свой первый Праздник благодарения, на котором не было индейки (Петр расплакался, и крикливую птицу пощадили), Марына надела алое льняное платье, привезенное из Польши, и позволила освободить себя от работы на кухне. Все остальные женщины занимались стряпней, и Халек удивил их, вызвавшись приготовить десерт.

— А как же, вы думаете, такой старый холостяк, как я, мог бы получать то, чего ему хочется, если бы не умел позаботиться о себе сам?

Он сказал, что пирог называется (щепотка английского) *shoofly pie*, или «муха, кыш!».

— Муха-кыш, муха-кыш, муха-кыш! — сразу же затараторил Петр, потому что ему приходилось отгонять мух, которых притягивала меласса и наполнитель из коричневого сахара.

— Муха-кыш, муха-кыш…

— Перестань, Петр, — сказала Марына.

— Такой сладкий, — напевал вполголоса Халек. — Просто начиненный сладостью. Мухи так и липнут!

— Как вкусно! — сказала Ванда. — Я буду вам признательна, если вы напишете мне рецепт.

— Напишите, пан Халек, — сказал Юлиан. — Она будет думать над ним целую неделю.

После десерта, когда на скатерти остались только крошки, липкие тарелки и пустые кофейные чашки, Богдан вспомнил, что они забыли исполнить ритуал, с которого должен начинаться этот «самый американский» ужин.

— Благодарю за то, что все мы здесь, — сказал он. — Кто следующий?

— Петр, милый, — сказала Марына, — скажи нам, за что ты благодарен.

— За то, что я подрос, — радостно ответил мальчик. — Я ведь подрос, мама?

— Да, мой родной, конечно. Иди и сядь к маме на руки.

— Я благодарен Америке, — сказал Рышард, — безумной стране, провозгласившей поиски счастья неотъемлемым правом человека.

— Я благодарна девочкам за то, что они здоровы, — сказала Данута.

— Да будет так! — произнес Циприан.

— Мы с Барбарой благодарим Марыну и Богдана за их дальновидность и благородство, — сказал Александер.

— Друзья мои, — прошептала Марына, крепко сжимая в объятиях Петра и пряча лицо в его волосах. — Дорогие мои друзья.

— Мама, я хочу сесть на стул.

— Я благодарен Америке за мечту о равенстве всех ее граждан, сколько бы ни прошло времени, прежде чем эта мечта осуществится, — сказал Якуб.

— Я благодарна пану Халеку за десерт, — сказала Ванда.

— Кажется, моя жена понизила голос, — сказал Юлиан. — Полагаю, я должен быть благодарен Америке за то, что здесь разрешено разводиться.

— Не надо, Юлиан. Прошу тебя! — взмолился Якуб.

— Анела! — крикнула Марына.

— А я благодарю пани Сольскую за ее любезный комплимент, — сказал Халек, ухмыляясь.

Девочка появилась из кухни.

— Анела, — сказала Марына гневно, — мы благодарим за свое счастье.

— Счастье, мадам? Счастье? Я сделала что-то не так?

Юлиан обхватил руками голову, а затем поднял взгляд и, гримасничая, сказал:

— Прошу прощения, Марына. Я не хотел. Извините меня.

— Вы должны принести извинения не только Марыне, — сказал Богдан.

— Эх, мужья-мужья! — проревел Халек.

— Благодарения кончились, мадам? Можно мне вернуться на кухню?

— А я пойду с тобой, дитя мое, — сказал Халек, — и ты расскажешь мне, за что ты благодарна.

Разумеется, он бесстыдно увивался и за Анелой, и за несчастной Вандой (что бесило Юлиана), но на следующий день его постигло возмездие. Когда, зайдя на кухню, он вытащил свой восставший пенис и устремился к Анеле, та бросилась наутек, а он побежал за ней с расстегнутыми штанами до самого поля за амбаром, где поскользнулся и упал в оросительный канал. Анела остановилась немного ниже по течению и в изумлении уставилась на пенис, торчащий из воды. Широкий канал был всего лишь полтора фута глубиной, но Халеку никак не удавалось подняться, и он все хрюкал да хлюпал.

— Дай руку, дитя! — Он был мокрым, как морской лев. — Твою милую ручку!

Уверенная, что она во всем виновата и что ее накажут — за то, что приглянулась толстяку, или за то, что избегала его знаков внимания, и потому он упал в воду, она и сама толком не знала, за что, но только чувствовала себя виноватой, а значит, сделала что-то не так, — Анела развернулась и побежала обратно в кухню.

Услышав лай домашней собаки — приблудного пса, которого они взяли к себе и которого Богдан, к удивлению соседей-немцев, назвал Меттернихом, — Рышард и Якуб поспешили на помощь к Халеку.

— Я — старый негодяй! — пролепетал он, когда они вытащили его из воды. — Мадам Марына, что вы теперь обо мне подумаете? Сможете ли меня простить?

Она простила. Марыне несложно было простить Халеку его непристойные выходки: он был до смешного толстым и через несколько дней уезжал в Сан-Франциско. Гораздо труднее оказалось простить его, когда через час после того, как они проводили его до станции, обнаружилось, что их веселый друг был клептоманом. У Богдана пропали бронзовые кастеты, которые он привез из Польши, у Юлиана — компас, у Ванды — книга рецептов, у Дануты и Циприана — купель их старшего ребенка, у Якуба — томик стихотворений Гейне, у Барбары и Александера — бутылка смородиновой настойки, а у Рышарда — кожаный пояс с подвешенными медвежьими когтями и змеиными гремушками, который он купил во время поездки в горы Сан-Бернардино у траппера из племени кауилья. Халек стащил да-

же любимую головоломку Петра — «Разбившийся локомотив». Повезло одной лишь Анеле, если не считать кувшина с сахаром, который он стянул на кухне. А Марына осталась без ожерелья с подвесками из окислившегося серебра: польские модницы носили эти «траурные» украшения, как они их называли, после неудавшегося Восстания 1863 года. Подарок бабушки Богдана был одним из самых дорогих ее сокровищ.

Негодование Богдана, вызванное кражей ожерелья и серег, притупило ее собственную грусть.

— Не жалей об украшениях, душа моя! Возможно, старик Халек будет дорожить ими еще больше, чем я. Ведь он так давно живет в Америке.

— Ты слишком великодушна, — сказал Богдан ледяным тоном. — Это противоестественно.

— Нет, это он был слишком великодушным, вопреки своей натуре…

— Ты сравниваешь те побрякушки, которые он привез, с…

— Ах, Богдан, давай не будем об этом. Нужно всегда быть готовым расстаться с чем угодно.

Обладание вещами утешает. Щетки с серебряными ручками, камчатная скатерть и салфетки, четыре больших сундука, где хранилось около тысячи книг (куда их ставить?), ноты песен Мо-

нюшко и Шопена, которых никто не играл на пианино в гостиной (оно было безнадежно расстроено), костюмы, которых она больше никогда не наденет… Все привезенные вещи, не имеющие практической ценности, говорили о желании сохранить верность прошлой жизни и потребности в утешении после отказа от нее. Но зачем ей искать утешения?

Она не скучала по своим хмурым польским невзгодам и даже по хмурой погоде, хотя сказочный климат южной Калифорнии, который, по их наблюдениям, заключался в отсутствии всякой погоды, не переставал изумлять. Казалось, здесь лишь два времени года: знойное сухое лето и долгая умеренная весна, называвшаяся зимой. Они все еще ждали чего-то большего — неистовства стихии, каких-то трудностей. Дома, в Польше, над полями и горами, церквями и театрами висело сейчас бескрайнее, мокрое, серое небо настоящей зимы, — дорога в Закопане снова стала непроезжей, — а в этой солнечной стране лазурные дни и звездные ночи предвещали легкий переход с одного места на другое, от одной жизни к другой.

Здоровье — залог будущего, а имущество усиливает связь с прошлым. Каждый день Марына чувствовала себя сильнее и бодрее — именно

это сулили рекламные брошюры о южной Калифорнии всякому, кто приедет сюда, поселится и начнет поднимать целину. Вначале здесь было золото, а теперь — здоровье. Калифорния дарила здоровье, поощряла стремление быть здоровым. Но крепче и бодрее всего человек становится тогда, когда утихает яростная нужда; когда она уступает место спокойному, бодрому безразличию; когда человек просто благодарен за то, что он жив, по-прежнему жив. Такие состояния бывают сразу после пробуждения, в эти первые неупорядоченные мгновения. Вы поднимаетесь навстречу рассвету, пасетесь в зарослях первобытных ощущений, ваше тело все еще сонное, но разум плывет на свободе, даже когда полностью просыпается (а сюжет сна так тревожно и комично отличается от той жизни, что вы ведете наяву).

Дело вовсе не в том, что вы забыли, где находитесь или на что решились. Вот на соседней подушке взъерошенная голова Богдана, думала Марына. Вот этот звук: любимый мужчина скрипит зубами во сне. На его месте мог храпеть, разинув рот, Генрих, или Рышард протирал бы глаза и тянулся за очками на тумбочке, или кто-нибудь еще из десятка других мужчин — но нет!

И в данный момент — только в данный момент — это даже не важно. Оглянитесь по сторонам — ведь и тот, кто спит рядом с вами, и обстановка самой спальни одинаково успокаивают и умиротворяют. Железная кровать с четырьмя медными шариками; простой платяной шкаф с покосившейся дверцей; девизы на стенах: «E PLURIBUS UNUM»[52], выложенный бусинами, и «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ», вышитый на шерстяной ткани и украшенный цветами из человеческих волос, — все это естественно, безлично и непроизвольно, подобно убранству гостиничного номера, где уединяются писать книгу или предаваться тайной любви; идеальная обстановка для метаморфоз.

Но каким же непреодолимым было желание внести что-нибудь личное, усовершенствовать, расширить область своих владений! С самого начала стало ясно, что им нужно будет увеличить для себя пространство. Построить одно небольшое глинобитное жилище для Дануты, Циприана и их детей, затем другое — для Ванды и Юлиана, где они могли бы решать свои проблемы вдали от посторонних глаз, а также постелить новый

---

[52] Примечания: 52
Единство в разнообразии *(лат.)*.

пол и поставить новые стены в лачуге, которую занимали Александер и Барбара, — и они бы создали подлинный фаланстер. Естественно, глупо вкладывать деньги в арендуемую собственность, которую можно приобрести только через полгода найма. Возможно, теперь хозяин согласится ее продать.

Подобно тому, как невеста, стоя в церкви рядом с женихом, понимает, что, хотя она любит этого человека и хочет выйти за него, брак продлится недолго и окажется ошибкой, она предвидит это еще до того, как на палец наденут кольцо и ее губы произнесут: «Согласна», но считает, что проще отогнать предчувствия и продолжить обряд венчания, Марына размышляла: «Легкомысленно мешать тому, что так страстно задумывалось и на что мы так беззаветно отважились». Она должна через это пройти, потому что все к этому ведет. Где же ей еще быть, как не здесь? А скептицизм может жить рядом с уверенностью. Они обязательно добьются успеха, надежда и упорство сформировали их характер. Надежда и упорство, подобно желанию, являются ценностями сами по себе. Их община все равно выиграет, даже если потерпит крах.

Рышард принес для церемонии свой талисман

— мраморную чернильницу цвета морской волны. После того как Богдан подписал купчую и передал конверт с четырьмя тысячами долларов владельцу фермы в присутствии герра Людке, городского секретаря, и школьной учительницы Петра (миловидной Гретхен из Сан-Франциско, тотчас завладевшей воображением Рышарда), они вернулись домой, чтобы отпраздновать событие. Марына смотрела на Богдана с величавой нежностью.

— Ванда, ты что, не можешь подождать, пока все рассядутся? — прошипел Юлиан.

— Тушеная говядина с луком! — воскликнул Александер, накладывая себе большую порцию из кастрюли, которую Анела проносила вокруг стола.

— Это не говядина с луком, а *guisado*[53], — сказал Петр. — Я ел такое после школы у Хоакина дома.

— Давайте в честь сегодняшнего события говорить по-английски, — сказала Марына.

Под свежею листвою
Кто рад лежать со мною,

---

[53] Примечания: 53
Тушеное мясо (*исп.*).

Кто с птичьим хором в лад

Слить звонко песни рад, —

пропела она. И, словно поняв намек, Рышард присоединился к общему хору:

К нам просим, к нам просим, к нам просим

В лесной тени

Враги одни —

Зима, ненастье, осень[54].

— Браво! — сказала Марына.

Богдан нахмурился. А на улице беспощадно палило солнце.

---

[54] Примечания: 54

«Как вам это понравится», акт II, сцена 5 *(пер. Т. Щепконой-Куперник).*

6

— Пруд, папа, потомок, призма.

— Простите, что вы сказали? — переспросил Якуб.

— Пруд, папа, потомок, призма. Все слова можете не говорить. Самое главное — «призма», от него на губах приятное выражение. Но начинать лучше с пруда, папы и потомка. Вы готовы?

Фотограф установила камеру рядом с дубом у задней части дома.

— Готовы, — ответила Марына. Она стояла примерно в двадцати футах, положив руки Петру на плечи. Богдан, Юлиан и Ванда сгрудились справа от нее. Слева расположились Данута и Циприан с девочками, каждая сжимала в руках домашнего кролика.

Сдвинув на затылок плоскую испанскую шляпу (зацепленную ремешком за подбородок), фотограф нырнула под темную ткань и мгновение спустя снова вынырнула.

— Не найдете ли вы каких-нибудь ящиков для тех, кто во втором ряду?

— Анела, принеси что-нибудь, чтобы вы стояли

повыше, — сказала Марына по-польски, не поворачивая головы.

— Я помогу, — откликнулся Рышард. — В сарае есть как раз то, что нам нужно.

Девочки выпустили кроликов и бросились за ними вдогонку. Петр побежал в сарай, и они вернулись вместе с Рышардом и Анелой, нагруженные целой грудой подойников. Барбара, Александер, Рышард, Якуб и Анела вновь заняли места во втором ряду.

— Помните, что я вам сказала?

— Петр, пруд, папа, потомок, призма! — прокричал Петр. — Петр, пруд, папа…

— Превосходно, молодой человек. А теперь пусть ваши мама, папа и их друзья скажут то же самое. — Элиза Визингтон внимательно посмотрела на группу. — Глаза раскройте шире, вот так. А сейчас я хочу увидеть радость на ваших лицах. Вы будете с огромным удовольствием смотреть на этот снимок годы спустя.

Так оно и будет. И резкий свет жаркого мартовского дня станет изящной сепией минувших дней. Вот *такими* они были *тогда.* Юными и невинными. И такими колоритными. Марыну просто не узнать в этом наряде фронтира — темное ситцевое платье с длинной верхней юбкой,

волосы расчесаны на пробор посередине и аккуратно завязаны в узел на затылке. Богдан в элегантной вельветовой куртке и шерстяных штанах, заправленных в новые «веллингтоны». Петр в клетчатой рубашке и хлопчатобумажных шортах, белокурые волосы зачесаны набок, уши открыты — настоящий маленький американец. А вот Рышард в сомбреро!

— Брюки были красными, — скажет Рышард своей жене (второй по счету), вертя в руках фотографию и глядя в свои выцветшие глаза. — А фланелевая рубашка застегивалась на крючок, это была моя любимая. Угадай, во сколько мне обошелся весь этот наряд? Один доллар!

Анела вспомнит, как волновалась, когда надевала белый высокий фартук, который Марына купила ей неделю назад.

— Кажется, у нас вполне радостное выражение лица, — сказал Богдан. — Но вам, как фотографу, виднее.

— Можно сделать еще радостнее. Немного задумчивости, если вы понимаете, о чем я. Обычно я не советую этого фермерским семьям, но, по-моему, вы отличаетесь от других жителей этой общины.

Покинув свое место за камерой, она подошла

к Дануте:

— Можно? — и поправила ее шляпку.

Затем вернулась к камере и еще раз взглянула на них.

— Да, многовато вас, ну что ж, тогда станьте более естественно. Не слишком расслабленно, немного рассеянно — вы приятно проводите время. Некоторые люди выглядят на фотографии слишком важными. Откуда вы приехали?

— Из Польши, — ответил Богдан.

— Вот это да! Вы что же, все из Польши?

— Все, — сказал Якуб.

— Просто чудеса! Какие разные люди приезжают в Америку! Мне бы и в голову не пришло поехать в Польшу. Она ведь совсем недалеко от России, правда?

— Совсем недалеко, — сказал Циприан.

— А Россия такая же огромная, как Америка, правда? Но я уверена, что ваша страна тоже очень интересная. Все эти маленькие страны так замечательно осматривать и фотографировать! Возможно, съезжу в Европу, время еще есть. Буду путешествовать в своем фургоне, останавливаться где вздумается, и снимать все, что захочу. Думаете, люди будут смеяться надо мной? Будут говорить: «Что это за старая курица из Калифор-

нии?» Ну и что, я испепелю их своим взглядом. О! — засмеялась она, показывая на Марыну, — вот вы и улыбнулись!

Мысль сфотографировать их общину пришла в голову Марыне, когда она увидела рекламу в анахаймской еженедельной «Газете»:

Миссис Элиза Визингтон
Фотохудожница
Превосходные амбро- и дагерротипы!
Миссис Визингтон, мастер своего дела,
доставляет неизменное удовольствие.
Пробудет в Анахайме неделю,
в гостинице «Плантаторы», номер 9.
Приходите и смотрите. Цены разумные.
Сходство гарантировано.
«Лови же тень, покуда плоть юна».

Марына отправила Рышарда в деревню, чтобы он наведался к миссис Визингтон и попросил ее приехать к ним и сфотографировать четырнадцать человек, включая троих детей. Рышард воспользовался случаем провести час любви со своей школьной учительницей, затем побрел в гостиницу. У входа, в фургоне с эмблемой, изображавшей фотокамеру на треножнике, си-

дела пожилая полная женщина в широкополой ковбойской шляпе и черном пальто из шерсти альпаки.

— Не вы ли прославленная миссис Визингтон? — спросил он, касаясь пальцами своего нового сомбреро. — Не ожидал увидеть, как вы принимаете солнечные ванны.

Он рассказал ей о своем поручении. Она же объяснила, что ей скучно сидеть и ждать потенциальных клиентов в помещении.

— Я живу благодаря свету и ради него, — сказала она.

Художница согласилась приехать к ним на ферму со своей передвижной студией на следующее утро.

Польские колонисты были очарованы этой независимой американской женщиной. Они лишь наблюдали, как она один за другим разгружает ящики, наполненные хрупкими стеклянными пластинами, пакетами и бутылочками с химикатами, треножник со сложенными и связанными ножками и свою «любимицу» — филадельфийскую фотокамеру; как она устанавливает затемненную палатку, раскладывает там свои соли, эмульсии и по порядку расставляет бачки для сенсибилизации и проявки пластин;

развязывает треножник и монтирует на нем камеру. Она отвергала все предложения о помощи, только попросила мужчин наполнить водой бачок, в котором промывала стеклянные пластины размером пять на восемь дюймов. Однако повеселела, когда Юлиан рассказал, что дома, в Польше, он был учителем химии, а уж потом стал фермером в Америке.

— Ну да, — сказала миссис Визингтон, — фотография — это и есть химия, правда?

Она пригласила его заглянуть в тесную затемненную палатку, пока накладывала фоточувствительные соли на стеклянную пластину, а затем покрывала ее влажным коллодием. Наградой для нее стали несколько вопросов Юлиана, заданных со знанием дела: о преимуществе нанесения на стекло коллодия, а не альбумина, а также внимательное отношение к взрывчатым свойствам основного компонента коллодия — нитрата целлюлозы.

— Да, мы называем его «порохом», — весело сказала она.

Якубу было разрешено присоединиться к ним, когда он сознался, что не только фермер, но и художник.

— Ну, конечно, фотография — это еще и живо-

пись, — заметила она. — Живопись светом.

С помощью пары новых моррисоновских линз, сказала она Якубу, можно получить такое сходство, какого не добиться ни одному художнику.

Было место на севере, которое она называла своим домом — Айон-Сити, крошечная деревушка в горах Сьерра, где у нее имелась художественная студия. Но несколько месяцев в году эта женщина разъезжала в своем фургоне, выискивая живописные откосы и ущелья, причудливые скалистые формации и маячившие на горизонте кактусы. Она зарабатывала на свою бродячую жизнь, останавливаясь в деревнях и предлагая услуги фотографа.

— Наибольшую прибыль приносят свадьбы и похороны, — отмечала она.

Анахайм разочаровал ее в обоих отношениях, и поэтому она собиралась ехать дальше после того, как сфотографирует их.

По ее словам, она исколесила весь штат много раз.

— Одна? — воскликнула Барбара.

— И вы не боитесь, миссис Визингтон? — спросила Данута. — Я бы побоялась.

— Никогда в жизни!

— Но вам наверняка было бы спокойнее, — ска-

зал Рышард, — будь рядом с вами ассистент.

— У меня есть кольт, и я умею им пользоваться, — возразила она, хлопнув себя по бедру.

После съемки они пригласили ее пообедать. Она ответила, что счастлива лишь тогда, когда продолжает путь в своем фургоне.

— У меня беспокойная душа, — сказала она, — и все мое терпение полностью расходуется, когда я смешиваю соли и коллодий, подготавливаю пластины и сосредотачиваюсь на объекте перед тем, как запечатлеть его. Радость в том, что каждый день я вижу нечто новое в объективе камеры.

Но она приняла приглашение зайти в дом и выпить чаю («У вас случайно нет виски? Разумеется, нет, вы же пьете водку, как все русские»; «Точнее, русские пьют водку, как мы», — сказал Циприан) и, усевшись с рюмкой и бутылкой виски на софе в гостиной, видимо, решила задержаться и поболтать.

— Я обращаюсь лично к той даме, которая приняла столь изящную позу, когда я собралась экспонировать первую пластину, — Марына вновь улыбнулась, — и так обезоруживающе улыбается, когда хочет. Разумеется, большинство не желает улыбаться для портрета. На картинах старых мастеров улыбаются лишь клоуны да

шуты. Фотография должна показывать нашу сущность — какими мы стремимся быть, какими хотим, чтобы нас запомнили, то есть уравновешенными.

— Даже собаки улыбаются, миссис Визингтон. Это доказал сам мистер Дарвин.

— Совершенно верно. Но что означает улыбка собаки? Счастлив ли пес? Или просто пытается развеселить хозяина? Может, он притворяется.

— А что означает улыбка людей? — спросил Рышард. — Может, мы все притворяемся.

— Мне кажется, — начала Ванда, — что мы…

— Ванда, помолчи, — перебил Юлиан. — Прошу тебя.

— А если напрячь мышцы и удерживать улыбку на лице, ведь камера не может снимать вот *так*, — она щелкнула пальцами, — то получится фальшивое выражение или что-то похуже. Когда проявится негатив, фотограф может обнаружить, что человек не улыбается, а готов расплакаться.

— Или то и другое вместе, — вставила Марына.

— Вы, наверное, часто позировали фотографу?

Марына кивнула.

— Я так и подумала. Перед тем как я снимала крышку с объектива, вы слегка приподнимали брови, отчего овал лица удлинялся. Мне нравится,

когда люди знают, что делают. Вы когда-нибудь выступали на сцене?

— Да, миссис Визингтон.

— Но ручаюсь, что вы не исполняли комических номеров, миссис Зава… Завен… Извините, никакие могу выговорить ваши польские фамилии. Наверняка вы были величавой и серьезной, и когда улыбались, то люди воспринимали это как личный дар. Я тоже это чувствую, когда вы улыбаетесь мне.

— Вы весьма проницательны, миссис Визингтон. Вы часто ходите в театр?

— Ну что вы, в Айон-Сити нет никаких театров! Даже в те времена, когда он был приисковым лагерем (Айон-Сити еще не существовало, а золотоискатели называли его Клоповником или Выживи-соседа), этот городок не отличался особым богатством. Но я приехала туда лишь двадцать пять лет назад из Нью-Йорка, где ходила на все спектакли и где у меня были любимые актеры и альбомы с кучей газетных вырезок. Мне казалось, я буду скучать по всей этой жизни, когда мой муж услышал сладостный зов золота, и я поехала с ним в Калифорнию. Но после того, как он погиб — бедняга упал со скалы, — я решила овладеть гелиографическим искусством. Большой спрос

тогда был на снимки мужчин, которые показывали пригоршни золотых самородков или столбили участки. И все удивлялись, что женщина занялась фотографией, более того — стала бродячим фотографом и таскала с собой все эти тяжеленные ящики. Но я была сильной, — на самом деле, мне хотелось быть землемером, но женщинам еще не разрешают этим заниматься. Так вот, я вовсе не скучала по своим спектаклям. Люблю, когда люди остаются самими собой, потому что иначе не умеют. Я расскажу вам об одной женщине, которую недавно сфотографировала и которая, благодаря своей необычной судьбе, прямо-таки слилась с ландшафтом. — Миссис Визингтон огляделась. — А вы давно в Калифорнии?

— Уже полгода, — ответил Богдан.

— И за все это время никто не говорил вам о замечательной женщине по имени Эулалия Перес де Гильен? Нет? Но ее же все знают! Когда-то она владела той землей, где сейчас находится Пасадена, но известна не этим. Дело в том, что в декабре прошлого года ей исполнился сто сорок один год. Да-да! Живет она в долине Сан-Габриэль со своей правнучкой, поскольку все ее дети и внуки давным-давно умерли, но чего же вы хотели — ведь она появилась на свет в 1735 году!

В этой долине она родилась и вернулась туда, чтобы служить в миссионерской церкви, где служила еще девочкой сто двадцать пять лет назад. В прошлом месяце я сделала с нее прекрасный амбротип в миссионерском саду. Можете ее себе представить? Маленькая, сгорбленная и беззубая, вся сморщенная и почти лысая — вы, наверное, думаете, что в своем возрасте она должна походить на кустик в старом саду? Но на самом деле она оказалась беспокойной, как теленок, и даже не могла принять серьезного вида, с которым люди обычно позируют перед камерой. Я не удержалась и сфотографировала ее добродушную улыбку.

— *Quelle horreur!*[55] — воскликнул Богдан.

— Да она просто не хочет умирать, — сказал Рышард.

— Это должно нас воодушевлять, — произнесла миссис Визингтон, допив рюмку. — Ну что ж, мне пора. Надеюсь через несколько дней добраться до Палм-Спрингс, а оттуда — в пустыню, поснимать валуны, после чего меня ждут в Лос-Анджелесе. Там у моего коллеги есть студия, в которой я сделаю отпечатки и наклею их на картон. Я буду

---

[55] Примечания: 55
Какой ужас! *(фр.)*

снова проезжать через Анахайм недели через три, и если вам не понравится снимок, можете не платить за него. Но он вам наверняка понравится. У всех вас такие интересные лица!

— Вы когда-нибудь видели что-либо подобное? — сказал Рышард. — Только в Америке можно встретить женщину, которая считает, что женский пол ничем не отличается от мужского, и всю свою жизнь отдает распоряжения другим людям. Да она просто *мужчина*! Эти рыжие волосы, мужская шляпа, кольт в кобуре, виски по утрам и все эти громогласные заявления — чудесно, чудесно!

— Она мне понравилась, — сказала Марына. — Бесстрашная женщина.

— А мне понравилась история о женщине, родившейся в 1735 году, — сказала Барбара.

— Хотелось бы увидеть свидетельство о рождении, — возразил Юлиан. — Я не верю ни единому ее слову. Люди столько не живут.

— Мама, как ты думаешь…

Марына потянулась к Петру и посадила его себе на колени.

— Возможно, она неплохой фотограф, — предположил Рышард.

— …и, несомненно, великолепная натура, —

добавил Якуб. — Я с удовольствием нарисовал бы ее портрет, но такие люди, как она, не могут усидеть на месте.

— Ну что вы! — сказал Циприан, подражая гнусавому выговору старухи. — Я не люблю позировать. Я очень беспокойный человек.

Марына рассмеялась.

— Мне бы так хотелось иметь фотографию девочек, — сказала Данута, — на которой они еще маленькие.

Фотосъемка перенесла всех в будущее, где молодость их станет лишь воспоминанием. Фотография служила доказательством (Марына отошлет один из заказанных снимков матери, другой — Хенрику, а третий — сестре Богдана), доказательством того, что они действительно были здесь и вели новую героическую жизнь; для них же самих она превратится когда-нибудь в воспоминание о трудном, бурном начале этой жизни или, если затея не увенчается успехом (за полгода, проведенных на этой новой Брук-Фарм, колония растратила 15 000 долларов и не получила почти никакого дохода), об их неудавшейся попытке.

— А вдруг меня шокирует моя фотография? — сказала Марына Богдану, когда они остались

вдвоем. — С тех пор, как мне больше не нужно заботиться о своей внешности, я о ней и не задумываюсь.

Богдан заверил, что она ничуть не изменилась (неправда) и казалась ему такой же красивой, как прежде (тоже неправда). Но Марыну не просто было успокоить. Сегодняшнее позирование оставило странный осадок в ее душе. «Вполне естественно фотографироваться, будучи актрисой, в сценическом костюме. Я знала, что нужно делать перед камерой и как хотела выглядеть. Сегодня же я позировала в пустоте. Пыталась что-то изобразить. Играла роль фотографируемой».

Когда фотографируешься, невозможно быть искренней. И невозможно оставаться прежним человеком, после того как сменишь имя.

Первым это сделал маленький сын Марыны. Как-то раз в феврале мальчик заявил, что теперь он — Питер, как его называли в школе. Марына, пораженная твердостью его детского дисканта, возразила, что это совершенно невозможно, поскольку при крещении его нарекли Петром и, кроме того, ни один польский ребенок-патриот не захочет носить немецкое имя.

— Оно не немецкое, мама. Оно — американское!

— Пускай называют тебя как хотят, но твое имя — Петр.

— Мама, нет! Питер — американское имя!

— Петр, обсуждение закончено.

— Я не буду откликаться и слушаться, если будешь звать меня Петром! — крикнул он и убежал на кухню, где бросился в объятия Анелы.

И он не шутил, поскольку получил приказ изменить имя от человечков, что жили в дренажной трубе, мимо которой он проходил каждый день по дороге в школу и обратно; совсем крохотные — величиной с ладонь, и у них была целая семья с кучей детей; он обычно останавливался и болтал с ними, а они рассказывали всякие истории и говорили, что ему нужно делать. Однажды мимо скакал Мигель — он был самым сильным мальчиком в классе и приезжал в школу на собственном пони, — увидел, что Петр сидит на корточках у дренажной трубы и что-то говорит в нее, слез с лошади и наклонился над ним; и тогда одноклассник-поляк рассказал Мигелю о крохотной семейке и о том, что его настоящее имя — Питер. С тех пор они с Мигелем стали настоящими друзьями. Поэтому он должен был идти до конца, хотя и очень боялся рассердить маму, особенно после того, как она перестала

быть такой красивой, как раньше.

Главную часть схватки он выиграл сразу же: Марына перестала обращаться к нему по имени. Она звала его «милый» или «малыш» — он послушно отзывался на ласковые слова, — но этот запрет выводил ее из себя, и она подозревала, что за ее спиной Анела уже уступила требованиям Петра. Так продолжалось два месяца. Но однажды утром, когда он уже уходил в школу, Марына сказала:

— Вернись на минутку.

— Я не могу — опоздаю!

— Делай, что тебе говорят.

И жестом велела ему сесть за обеденный стол.

— Что такое, мама? — Она села напротив него и начала складывать жирные тарелки, оставшиеся после завтрака. — Мама, меня накажут, если я опоздаю.

Она сложила руки на коленях. Прочистила горло:

— Ну хорошо. Я сдаюсь.

Объяснять было нечего. Минуту помолчав, он вынул из школьной сумки грифельную доску и положил ее на стол.

— Ты расхотел идти в школу? — тихо спросила Марына.

Он вытащил мелок и положил на доску.

— И я расскажу твоему отчиму и всех остальным о том, что мы решили.

Он пододвинул доску к ней. Она большими буквами написала новое имя сына. Тот серьезно кивнул, положил доску обратно в сумку и отправился в школу.

Вскоре после того как Петр стал Питером, он получил собственную спальню. Когда индейцы-батраки возвели два новых жилища, появились отдельные квартиры для Циприана и Дануты с детьми, а также для Барбары и Александера. У каждой супружеской пары теперь был свой очаг, а Юлиан соорудил из оставшихся кирпичей наружную печь, но все продолжали обедать вместе в гостиной Марыны и Богдана или за длинным столом во дворе. Выступая за коммуну умеренного типа, друзья вскоре отвергли призыв Фурье к упразднению брака — «незрелую мечту пожизненного холостяка», как отметил довольный своим браком Александер, — но согласились, что сохранение семьи вовсе не подразумевает унылых обедов в узком семейном кругу. К тому же после целого дня различных занятий они стремились к единению: эти образованные поляки, несколько поколений которых привыкли

засиживаться допоздна, упорно не желали рано ложиться спать, как принято у фермеров, даже если на следующий день им не хватало сил.

Они все еще не умели совмещать умственную и физическую нагрузки. Но в главном здании уже появилась библиотека (последние книги были распакованы и аккуратно расставлены на недавно повешенных полках) и настоящее фортепьяно с крышкой и медными ножками, которое Марына выписала из Сан-Франциско (оно стоило целое состояние — семьсот долларов). Музыка сильнее всего вызывает ностальгию: они даже не осознавали, как скучают по Польше, пока не начали вместе музицировать после ужина. Они истосковались по музыке польских композиторов — песням Курпиньского, вальсам Огиньского и прежде всего по глубоко эмоциональному искусству Шопена. Но в поселении на краю американской пустоты и выси все эти произведения звучали иначе. Полонезы и мазурки Шопена, известные всему миру как музыкальный символ борьбы поляков за независимость от иноземного владычества, теперь невольно раскрывали перед ними саму сущность патриотического пафоса. А ноктюрны с их воодушевляющим, безграничным потоком настроений были словно отягощены

печалью изгнания и тоской по родине.

Если бы они поддались унынию, то без конца бы вздыхали. Но проще и приятнее было перенести его на тех, кто остался дома.

«Вы вздыхали, Хенрик, когда получили фотографию? Я вижу, как она висит в вашем кабинете, над столом, в красивой ореховой рамке. Разглядывая под лупой лица и причудливые одежды, представляли вы хоть на мгновение себя на этой фотографии? Не жалеете, что не поехали с нами? Солнце выжгло бы всю вашу угрюмость. Вы еще можете присоединиться, милый друг. Приезжайте!» И ниже, в том же письме: «В Калифорнии я избавилась от головных болей. Как изменяется человек, когда чувствует себя хорошо, просто хорошо! Но у всех разные ощущения. Я не сказала вам, что некоторые из нас даже поменяли имена! Петр откликается только на „Питера“, к Богдану местные жители обращаются „Боб-Дан“, Рышард превратился в Ричарда, а Якуб забавляется с именем „Джейк“. У всех цветущий вид, но здоровее всех мой чудесный сын. Петр, Петр-Питер, Питер *tout court*[56] стал совсем другим ребенком. Он вырос, возмужал и перестал бояться. Завел друзей.

---

[56] Примечания: 56
Просто *(фр.).*

Он умеет ездить верхом без седла, как мексиканцы и индейцы. Берет уроки игры на фортепьяно у одной юной леди из деревни. Хенрик, вы бы его не узнали! Возможно, всем нам нужно сменить имена!»

Как она могла жаловаться, даже Хенрику? Рассказать, что не все они изменились к лучшему? Циприан и Александер, похоже, слегка отупели от работы и множества забот, а Юлиан, который, как всегда, развивал себя, по-прежнему изводил бедную Ванду. Рассказать, что ей не хватало женской дружбы? Ванда могла служить лишь объектом сострадания, но Марына понимала, что ей ничуть не больше нравятся счастливые в браке Данута с Барбарой; они тоже такие (как бы помягче выразиться?) покорные. Рассказать, что она восставала против самой супружеской жизни, исключая ее собственный, особый брак? И только холостяки — назойливый, умный Рышард и мягкий Якуб, — ну и, конечно же, дорогой Богдан, все такой же напряженный и предупредительный, не действовали ей на нервы. Рассказать, что она боится поглупеть от недостатка умственной деятельности и что ей все труднее набираться терпения, которого в коммуне требовалось еще больше, чем в браке? Нет, она не расскажет ему

об этом.

Да, писала она Хенрику, она скучает по нему.

Верность рискованному коллективному предприятию — эта добродетель брала начало в ее профессиональной жизни. Вы соглашаетесь на главную роль в новой пьесе, начинаете репетировать и вдруг понимаете, что, несмотря на все коллективные усилия, она не удается. Пьеса оказывается не столь хороша, как вы предполагали; но и не плоха (да и кто лучше вас разбирается в ее достоинствах?), и вы любите ее, как любят неблагодарное дитя. И, возможно, она в конце концов удастся: все участники так настойчиво пытаются спасти ее, сокращают и изменяют текст, придумывают более живые мизансцены, а у художника-декоратора рождается новая идея последнего акта, — надеяться нужно до конца. И вот вы с коллегами-актерами смыкаете ряды и защищаете, да нет, превозносите пьесу перед всеми, кто не разделяет ваших общих усилий. Вы говорите, что все хорошо. Эти слова часто искренни. Вы верите в то, что делаете. Должны верить.

Она не знала, жаловались ли другие в своих письмах. Знала лишь о том, что их дружба, бодрость и целеустремленность во многом зависели от нее самой, и она принимала на себя эту от-

ветственность. Ведь у нее были способности, от которых она не могла отречься. Ее присутствие по-прежнему преображало и озаряло светом всех сыгранных ею героических, эмоциональных ролей. Женщина, которая сбивала масло, пекла хлеб и помогала Анеле готовить обед, когда-то храбро и царственно шла на казнь, на которую ее осудила «кузина» — королева Елизавета Английская; благочестиво ждала удушающих объятий обезумевшего Отелло; торопливо клала гадюку себе на грудь, узнав о смерти Марка Антония, и умирала в одинокой спальне — раскаявшаяся куртизанка, у которой отняли даже любимые камелии. Она занимала все эти предсмертные позы: величественные, мучительные, неотразимые. Возможно, она выглядела не так, как в Польше. Но огрубляющий труд не изменил ее походки, наклона головы, когда она прислушивалась, молчания и чарующей речи. В вибрирующем виолончельном голосе, призывающем прямо высказать недовольство соседям, скот которых уничтожил их зимние запасы ячменя, слышались модуляции голоса, что объявлял о высочайшем помиловании Шейлоку, грозил беглецу Ромео тем, что он не увидит рассвет, бредил преступными грезами леди Макбет и страстным вожделением Федры к

ее пасынку. Этим наслоениям благородных аур еще не скоро суждено поблекнуть.

Отрекшаяся королева навсегда останется королевой для тех, кто видел ее на престоле. И Марына поклялась никому не рассказывать здесь, в Калифорнии, кем она была; а кто она сейчас — эмигрантка, — объяснять не нужно. Их приезд (одежда, национальность, неопытность) вызвал некоторый переполох. Но полгода спустя (большой срок в Калифорнии, где, благодаря изобилию, изменения происходили еще быстрее, чем в остальных частях Америки) их присутствие уже воспринималось как само собой разумеющееся. Самое сильное впечатление на жителей деревни Марына произвела в ту минуту, когда она вместе с мужем и друзьями неожиданно явилась на воскресную мессу в церковь Св. Бонифация — в новой шляпке и, как всегда, с чувством собственного достоинства.

Они перестали быть чужаками и превратились почти в старожилов. Теперь здесь обосновались даже китайцы, которые занимались стиркой и работали в поле, а также появилось много семей с американскими, то есть британскими сельскими фамилиями. В феврале на ранчо площадью в сотню акров, расположенном к северу от Анахайма,

поселилась коммуна из двадцати семи взрослых человек и девятнадцати детей, которая называла себя «Сосьетас Эденика». В деревне бродили слухи о необычном режиме сна, странной групповой гимнастике и невыносимо строгой диете. И все эти новые ограничения, по-видимому, должны были привести к святости и физическому здоровью. Люди возводили округлые жилища якобы для того, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. Круг — идеальная форма, а здоровье — единственный идеал, которого могут достичь тело и душа. Запрещены были алкоголь и табак, а также мясо и любая пища, которой коснулся огонь, — короче говоря, все, чего не ели в Эдемском саду. Наше греховное состояние, проповедовал вождь коммуны доктор Лоренц, не что иное, как отход от здоровой жизни наших прародителей. «Адам и Ева… Ну, вы понимаете», — поговаривали жители деревни, которые всегда находили предлог нарушить границы колонии и бывали глубоко разочарованы, так и не встретив никого в костюме Адама или Евы.

Этот эксперимент идеальной жизни был совсем не по вкусу Марыне и Богдану. Но повышенная забота о здоровье в «Эденике» привлекла внимание по меньшей мере двух членов их недоктринер-

ской коммуны. Данута и Циприан отказались от мяса еще до приезда эденистов, а недавно они попросили, чтобы их еду готовили отдельно, без соли, и чтобы во время каждого приема пищи на стол ставили вазы с тертыми яблоками, пропущенным через мясорубку миндалем и толченым изюмом, чтобы они не теряли времени, пока остальные упорно продолжали травмировать органы пищеварения жирным тушеным и жареным мясом.

Поскольку еда служила средством единения, все почувствовали, что своим строгим отказом Данута и Циприан нарушили негласный договор с коммуной.

— Я не удивлюсь, если вы скоро начнете есть измельченные желуди, как индейцы, — сказал Александер.

— *J'apprécie votre sarcasme*[57], — мрачно ответил Циприан.

— Успокойтесь, друзья! — воскликнул Якуб. — Как говорят в Риме, *vive e lascia vivere*[58].

Но Данута и Циприан не чувствовали себя посмешищем и ревностно пытались навязать свою

---

[57] Примечания: 57
Я ценю ваш сарказм *(фр.).*

[58] Примечания: 58
Живи и давай жить другим *(ит.).*

новую строгую диету другим. Данута научила Анелу готовить десерт, который, по глубокому убеждению Марыны, был заимствован из эдемского меню — нечто вроде крема из муки и воды, подслащенного земляничным соком.

— Правда, вкусно? — спросила Данута.

— По мне так «муха-кыш» вкуснее, — ответила Ванда.

— Неужели? — сказал Юлиан. — «Муха-кыш» вкуснее? Ты уверена?

— Совершенно несъедобно, — произнес Александер. — Но, как видишь, *mon cher*[59] *Циприан, я это ем.*

Они объединили силы, способности и надежды. Они были уверены, Богдан был уверен, — и это уже не казалось чем-то нереальным, — что ферма скоро начнет приносить доход. Они не сдались в первые, самые тяжелые месяцы. Теперь же задачи, которые раньше их пугали, начиная с доения коров и заканчивая работой на винограднике, стали ежедневной рутиной. Дремлющие лозы начинали оживать, и они разрыхляли почву, чтобы открыть доступ воздуха к корням. Они приехали сюда в самом конце осени и смогли найти только

---

[59] Примечания: 59
Мой дорогой *(фр.).*

одного покупателя (и продали весь урожай всего за двести долларов), но надеялись, что это год будет удачнее. Их более не подгоняла неопытность, и они превратно истолковали неторопливый ритм сельскохозяйственных работ.

Но у художников дела обстояли совсем иначе: Якуб закончил цикл картин на индейские темы, а Рышард, сочинительство которого приносило колонии дополнительный доход, — он пожертвовал ей две трети гонорара за газетные статьи об Америке, теперь выходившие в Польше отдельной книгой, — написал множество рассказов, которые могли бы составить еще одну книгу, почти закончил роман, действие которого разворачивалось в приисковом лагере в горах Сьерра, и уже начал обдумывать новый большой роман о Древнем Риме и преследованиях христиан при Нероне. Когда он не писал, то уезжал на охоту, — мясоядное большинство по-прежнему зависело от этих поездок. Недавно он купил лошадь, мексиканскую, за восемь долларов. На самом деле, переплатил, поскольку в Лос-Анджелесе они продавались по пятерке, в то время как американская лошадь, пригодная как для работы, так и для извоза, везде стоила от восьмидесяти до трехсот долларов.

Это был трехлетний, серый в яблоках конь, довольно высокий, сильный и норовистый, как большинство мустангов. Не обращая внимания на советы соседей, Рышард не подстриг его длинную гриву и отросшие «щетки» над копытами, потому что хотел дикую лошадь, которую он сам приручил. Поначалу Рышард мог управлять животным, только придушив его лассо, но через месяц терпеливой борьбы, во время которой конь приучился к тому, что его гладили, вначале подкармливая, а затем чистя скребком, он превратился в самого отзывчивого и горячего товарища, какого только мог пожелать хозяин. Рышард заманил Марыну в конюшню, чтобы она посмотрела, как он седлает своего Диего и прилаживает уздечку к его лохматой морде.

— И сколько страниц сегодня утром?

— Двадцать три. Последние двадцать три страницы «Маленькой хижины». Я закончил роман!

— Браво!

— Закончил. Написал. И он действительно хорош, Марына. И что же, вы думаете, побуждало меня к работе?

— Ах, ты хочешь, чтобы я догадалась о том, что знаю и так, — сказала Марына. — Тщеславие?

— Я всегда был тщеславным. Тщеславие — одна

из четырех эмоциональных страстей, по определению (кто-нибудь еще смеет называть это имя?) мсье Фурье. Нет, Марына, это не тщеславие.

— Дружба? — она улыбалась. — Твои дружеские чувства ко мне?

— Марына, право же!

— Семейные чувства? — спросила она, поглаживая встрепанную гриву мустанга.

— Это страсть, о которой вы не упомянули или… — добавил он вызывающе, — забыли.

— Я не забыла.

— Потому что я не дам вам забыть.

— …И потому что я жду, пока пройдет это увлечение. Здесь это будет проще.

— Значит, вы считаете, что я влюблен только в актрису?

— Нет, я более высокого мнения о себе.

— И обо мне, надеюсь. Марына, неужели вы не знаете, как сильно я вас люблю?

Вздохнув, она прислонилась к голове мустанга.

— О чем вы думаете? — тихо спросил Рышард.

— Сейчас? Вынуждена разочаровать тебя. Я думаю о сыне.

«Марына, Марына, — начиналось письмо, которое Рышард незаметно сунул ей в карман. — Вчерашний разговор в конюшне. Что вы подумали

обо мне? Рышард безнадежно влюблен, Рышард-графоман, пристает к вам со своими надеждами, слишком поглощен своим сочинительством. Даже Якуб после долгой работы за мольбертом иногда выгребает навоз, в то время как я уединяюсь и пишу или скачу куда-то с ружьем (что трудно назвать работой). Вы предлагали объединить наши усилия, а я держусь особняком.

Ясно, что я не создан быть фермером. А вы, вы созданы быть фермершей, Марына? Материалисткой, навсегда привязанной к рутинной пахоте и извлечению прибыли? Да создан ли хоть один из нас быть фермером? Признаюсь, больно видеть, как Богдан сеет зерно или обрезает лозу, как его живое лицо, всегда готовое озариться привычной иронической усмешкой, становится суровым, усталым. И вы рядом с ним, прозрачное пятнышко недовольства сверкает на калифорнийском солнце. Очищает ли душу физический труд, как учат русские писатели? Мы думали, что выбираем свободу, досуг и самообразование. Но вместо этого связали себя каждодневными, однообразными сельскохозяйственными обязанностями. И так будет всегда, Марына. Даже если жизнь станет менее тяжелой, когда ферма начнет приносить доход, и мы сможем нанимать

местных батраков для выполнения большей части работы, — о такой ли жизни мы мечтали? Ведь мы хотим не покоя, Марына. Разве вы хотите покоя?

Такие люди, как мы, не должны *селиться* в этой стране, тем более в деревне (бьюсь об заклад, все они похожи на наш прозаический Анахайм), и даже в Нью-Йорке или Сан-Франциско: любой из наших средних европейских городов всегда будет красивее и цивилизованнее любого американского. Чтобы взять лучшее у этой страны, нужно постоянно перемещаться, как охотник. Охота здесь — не просто развлечение, а необходимость, не только практическая, но и духовная, уникальное ощущение свободы. За пределами того, что называется здесь цивилизацией, где вся земля поделена и является частной собственностью, находится территория, куда забредают лишь люди с охотничьими навыками. Начинается она сразу же за нашей рекой. Там все таких размеров, вы даже не можете себе представить, — олени в два раза больше наших польских оленей, американский медведь-гризли больше, сильнее и свирепее любого европейского сородича. А небо, Марына, темнее и звезды ярче, чем даже у нас в долине; и человека посещают там мечты и видения, в два

раза превосходящие реальную жизнь. Я не скрою, что попробовал горького напитка из дурмана, который индейцы используют в священных церемониях. Но чтобы погрузиться в вакхическое состояние, не нужно никаких снадобий. В конце дня, проведенного с моими суровыми товарищами-охотниками, когда мы разрезаем на куски добычу, а затем рассаживаемся вокруг костра и лакомимся розовым дымящимся мясом, я ощущаю первобытное единство со всем мирозданием. И потом, в опьянении сытостью, я заползаю в свою палатку, — под кусок брезента, подвешенного к низким ветвям, — где есть место для одного человека (могло бы найтись и для двоих), и оставшись (увы!) один, мгновенно засыпаю, как после глотка опийной настойки.

Я видел, с каким блаженством вы любовались пожаром заката в нашей долине и вздымающимися волнами великого Тихого океана после бешеной скачки к побережью. Я обещаю вам не менее глубокий восторг в высоких, опасных горах. Мы с вами стали бы персонажами романтической оперы: я бы исполнял баритоном арию альпийского разбойника, а вы были бы меццо-сопрано *инамората,* принцессой, скачущей через горы, чтобы выйти замуж за нелюбимого

монарха, которую я спасаю от лавины, похоронившей под собой всех остальных ее спутников. И, если хотите, мы поскакали бы еще дальше и спустились с гор в выцветшую пустыню, где господствуют кактусы высотой тридцать, а то и сорок футов. Это — лунная страна, Марына. С песчаной вербеной, устилающей землю розовыми цветами. А когда наступит ночь, мы пустились бы вскачь навстречу звездам!

Я не собираюсь представлять вас своим товарищам, пока вы сами не пожелаете. Но если вы познакомитесь с ними ближе, то не будете разочарованы. Их жизнь, постоянно связанная с риском и лишенная пошлого веселья, породила удивительную расу одиночек. Они в корне отличаются от наших пастухов из Закопане, которые, проводя долгие месяцы одиночества в высоких Татрах, все же укутаны защитой своей родины, семьи и религии. Американец — человек, постоянно оставляющий все позади. И пустота, что образуется у него в душе, изумляет даже его самого.

Я думаю о скваттере по имени Джек Гудьир (как вам нравится эта американская фамилия?)[60],

---

[60] Примечания: 60
От *англ. good year,* букв.: «хороший год».

у которого я останавливался несколько раз во время своих долгих поездок в горы. Несмотря на то что от природы он не склонен к умственной деятельности, „робинзоновский“ образ жизни развил у него трогательную привычку заниматься самоанализом. Помню, как однажды я лежал на голых досках в маленькой хижине Джека; был поздний вечер, и мы уже долго не разговаривали. Но вот он подбросил в огонь новую вязанку сухих лавровых веток и внезапно нарушил молчание. Без всякого вступления он рассказал мне, что иногда ему кажется, будто существует два Джека: один рубит деревья, охотится на гризли, ухаживает за пчельником, ладит новую крышу для своей лачуги, приносит пустой белый улей в дом, чтобы на нем сидеть, жарит кукурузные лепешки и поливает их медом; а другой — „ей-богу“, он все время твердил: „Ей-богу“, — другой ничего не делает, а только смотрит на первого. Он совершенно бесхитростно рассказал мне об этом.

Два Джека. Два Рышарда. Два Богдана, не сомневаюсь. И две Марыны, я уверен. Только скажите мне, что у вас нет ощущения, будто вы играете в пьесе. Только попробуйте сказать, что не существует одной Марыны, которая месит тесто для хлеба, стирает одежду в круглой деревянной

лохани во дворе, пропалывает огород, и другой, которая стоит, так красиво выпрямившись во весь рост, как умеете только вы, и смотрит на себя с удивлением и недоверием. Только скажите. Я не поверю вам.

Марына, уедемте со мной…»

22 марта. Визит к дантисту, герру Шмидту. Довольно опытному. Удалил верхний левый коренной зуб. Был взволнован, когда я очнулся. Может, я о чем-нибудь проговорился под эфиром? Мне приснился нежный сон о… Но я наверняка говорил бы по-польски, и он бы меня не понял. А что, если я просто твердил его имя?

23 марта. Бронзовый загар. Широкие скулы. Грязные мысли.

24 марта. М. не знает, как трудно мне бороться с врожденной ленью. Ее любовь к физическим нагрузкам оказала на меня благотворное влияние. Я стал сильным только ради нее.

25 марта. Нас навсегда запечатлел рядом с домом на куске влажного стекла бродячий фотограф — пожилая и очень забавная женщина. М. она понравилась. Я воспринял это как развлечение для нашей коммуны, но М., похоже, усмотрела в нем дурное предзнаменование. Или раскаялась — словно бы мы совершили первый шаг на пути

к признанию будущего краха нашей колонии, позаботившись о том, чтобы у нас осталось изображение того, какими мы были.

26 марта. Я всегда страшно боялся обратить на себя внимание или отличаться от других людей. Меня одолевали сомнения, но я не совершал ничего возмутительного. Я был просто упрямым и рассеянным. Только в театре мог свободно наблюдать за всем, что происходило вокруг. Когда я смотрел спектакль в обществе актеров, то переживал чуть ли не оккультные состояния. Мне казалось, что я никогда не женюсь. Я любил, но никогда не испытывал желания соблазнять. И вдруг все стало возможным с М. Она заворожила меня. Я был нужен ей. Тлеющие угольки моих эмоций вспыхнули ярким пламенем. «Может ли любовь строиться на поклонении?» — спрашивал я себя. «Может», — отвечало сердце.

27 марта. Я так привык выполнять любые желания М. Долгое время я считал ее желание уехать в Америку капризом. Более того, боялся, что это просто акт отчаяния, совершенно непродуманный. Поэтому моей задачей было придать поездке *смысл.* Я слышал, как она, словно попугай, повторяла Хенрику мои рассуждения о том, что возвышенное учение Фурье можно приспособить

к нашей затее. Полагаю, нет ничего страшного в том, что я подслушивал. Хотя актриса и не является автором пьесы, строки, которые она произносит, все равно принадлежат ей. Суслики опустошили участок под артишоками.

28 марта. М. продолжает обращаться с П., как с ребенком. Из актрис выходят своенравные матери, деспотичные и невнимательные. Теперь он захотел брать уроки игры на фортепьяно. Лучше бы поощрять его интерес к технике. Мальчик и так растет слишком впечатлительным. Если только он не станет пианистом-виртуозом (что маловероятно), его страсть к музыке может лишь укрепить болезненные, женственные наклонности. Возможно, М. отнеслась бы к этим урокам с меньшим восторгом, если бы узнала о том, что учительница музыки, прелестная дочь городского секретаря герра Рейзера, уже стала объектом беззаботной страсти Рышарда.

29 марта. М. и Рышард во многом схожи. Я понимаю актрису (и наверное, даже завидую ей), которая обладает правом рисоваться под маской другого человека. Но я более придирчиво отношусь к писателю, который считает, что обязан поведать собственные мысли всему миру. Впрочем, я не могу не восхищаться его самоуве-

ренностью и беспечной, почти американской погоней за счастьем.

30 марта. Недостаток дневника — я записываю в основном то, что выводит меня из себя. Сегодня вечером я мог бы настрочить целую проповедь о том, как уродлив брак без любви. Ванда начала зачесывать волосы назад, оставляя курчавую челку, — очевидно, *le dernier cri*[61] у деревенских дам, — и Юлиан был к ней беспощаден.

31 марта. Я стараюсь не раздражаться. М. и представить себе не может, что я могу позволить себе *хоть какую-то* критику в ее адрес. Она считает меня восхищенным зеркалом. Возможно, таково ее представление (представление актрисы) о хорошем браке. Но я знаю, что подхожу ей именно благодаря своим смешанным чувствам. Только я замечаю, когда она ведет себя нехорошо, только я вижу ее уязвимость, ее страх, только я знаю, что на самом деле она не хочет принадлежать никому.

1 апреля. День, проведенный в поле, наполнил меня оптимизмом. Бóльшая часть черенков, которые мы посадили в прошлом месяце, принялась, лозы зацвели, появились гроздья и листья. Песча-

---

[61] Примечания: 61
Последний крик моды *(фр.).*

ная почва оказалась плодородной, и мы работаем со знанием дела. Рамон, 17 лет. Мои чувства здесь обострились. Я уже не в силах сдерживать их отзвуки в моей плоти и в моем сердце. Но я могу контролировать свои действия. Я не изменю М.

2 апреля. Хасинто, 25 лет. Курчавые волосы. Шрам на правой руке. Белые зубы. Мозолистая ладонь под полурасстегнутой рубахой. Рельеф груди. Стоял в отдалении.

3 апреля. Сегодня после обеда мы с Рышардом ездили в индейский поселок в предгорьях Санта-Ана. Тощие ребятишки выбежали из вигвамов и серых глинобитных хижин, крытых камышом, — впечатление горькой нищеты. Старейшина приказал женщинам подать нам миски с желудевой кашей и черный, как уголь, хлеб из желудевой муки. На десерт были *туна* — красный плод колючей груши — и сидр из толокнянки. По дороге домой мы с Рышардом поспорили о том, служит ли нечувствительность индейцев к боли доказательством их неполноценности. Я сказал, что, чем больше человек чувствует, тем выше он в расовом и культурном отношениях. Он обвинил меня в самом закоснелом предрассудке. Уверен, он сказал себе: «Типичные мысли Дембовских». Но, несмотря на все, Рышард мне

нравится. Он умен. У него здоровая натура. Какое счастье для меня, что он не способен предложить М. той верности, которой она требует, или хотя бы заметить, что ее беспокоят его шашни с учительницей П. фройляйн Рейзер!

4 апреля. Вспышки надежды подобны вспышкам желания. Начать все сначала. Сколько человек отдал бы за возможность «начать все сначала»? Уже более пятидесяти лет европейцы говорят: «Если ничего не получится, мы всегда сможем уехать в Америку». Влюбленные, которые не подходят друг другу социально и убегают от родительского запрета на их союз, художники, не способные завоевать аудиторию, которой, как они знают, заслуживает их искусство, революционеры, сломленные безнадежностью своих попыток переустройства общества, — все едут в Америку! Считается, что Америка возмещает все европейские убытки или просто заставляет забыть о том, чего ты хотел, заменяя твои желания другими.

5 апреля. Сташек, Йозек. Мальчик-пастушок подарил мне перышко. Внук пани Бахледы. Я даже не предполагал, что Калифорния станет новым полем для искушений. А я-то думал, что оставляю эту тайную страсть в нашей несчастной стране.

Но моя слабость будто опередила меня. Пока мы исследовали Нью-Йорк, спускались вдоль Атлантического побережья, пересекали перешеек, поднимались вдоль калифорнийского побережья, теряли время в Сан-Франциско, а затем ехали поездом сюда, эти воплощенные призраки опасного желания уже поджидали меня. А вместе с ними — тихий, но твердый голос, которого я никогда не слышал в Польше: «А почему бы нет? Ты за границей, никто не знает, кто ты на самом деле. Это Америка, где нет ничего постоянного. Ничто не вызывает определенных последствий. Все движется, меняется, уносится, смешивается».

6 апреля. Сегодня утром меня потрясла идиллическая сцена дружбы, будто сошедшая со страниц «Аира» Уитмена. Хоакин, 19 лет. Свободная хлопчатобумажная рубаха и штаны из шкуры лани. Он сидел на пне и играл на чем-то вроде небольшой арфы с одной струной, которую здесь называют *chiote.* Жилистые запястья, широкие ладони. Рядом на земле, расставив ноги и беззаботно прислонившись головой к бедру Хоакина, сидел и пел другой мальчик, не старше пятнадцати лет. По-моему, его зовут Доротео. Прямые темные брови над широкими веками. Пухлые твердые губы. Когда я попросил его перевести

слова песни, он покраснел.

В тени магнолии ты мне приснилась.

Когда я проснулся и увидел, что тебя нет,

Я расплакался и заснул вновь.

Тут покраснел я. Мне хотелось провести рукой по его бедру от колена до самого паха.

7 апреля. Прошло полтора года с тех пор, как Марына впервые предложила уехать в Америку. Нам говорят, что весенние дожди закончились. Теперь будет сухо до самого ноября. Тяжелые минуты сомнений, когда я думаю о деньгах (в основном моих, но также деньгах Александера, его бабушкином наследстве) — они так и текут сквозь пальцы. Я один думаю о деньгах, хотя меньше всего готов (в силу воспитания и темперамента) думать о них. Остальные, наверное, тоже волнуются, но не смеют выказывать беспокойство, что было бы равносильно недоверию ко мне. Но повод для оптимизма все-таки есть. Я до конца не осознавал масштаба кризиса виноделческой промышленности, который достиг низшей точки в позапрошлом году. Виноград продавали по 8 долларов за тонну, а иногда просто скармливали свиньям. Но цены растут и скоро

должны достигнуть уровня до 1873 года — около 25 долларов за тонну. Если бы мы приехали этой осенью или следующей, то смогли бы заработать несколько тысяч долларов.

8 апреля. Сон о Франсиско. Его рука на луке седла. Красота притягивает — это вполне естественно. М. была так красива.

9 апреля. Сегодня утром я поехал в деревню подковать лошадь и купить зерна для скота, и вновь меня поразили уродство и убогая практичность строений. Их ничего не стоило бы снести. Разговор по поводу ирригации с идиотом Колером.

10 апреля. Когда у тебя нет прошлого, становишься смиренным. Никто не знает (да никому и дела нет), кем был мой дед. Какой генерал? Возможно, они слышали о Пуласком, но только потому, что он приехал в Америку, или о Шопене, но только потому, что он жил во Франции. В Польше я был доволен тем, что мое чувство собственного достоинства не обусловлено фамилией или общественным положением. Я слишком сильно отличался от своих родственников — у меня более возвышенные идеалы и иные слабости. Но я гордился тем, что я — поляк. Однако эта гордость, как и сама польская национальность, здесь не просто неуместна — она служит поме-

хой, поскольку делает нас старомодными.

Когда мы приехали сюда, нас разочаровало то, что наши соседи иностранцы, а не настоящие американцы. Но чем больше я узнаю жителей деревни, тем лучше понимаю, что, хотя они и говорят по-немецки, на самом деле являются американцами. Здесь нет места для европейского — праздного и старомодного. А выходцу из Европы гораздо проще стать американцем, чем я думал. Чего не скажешь о мексиканцах. Для этих новоиспеченных американцев бедные мексиканцы навсегда останутся непритязательными иноземцами, а немногие зажиточные мексиканцы напоминают наше родное мелкопоместное дворянство (такие же храбрые, кичливые, расточительные, гостеприимные, чопорные и ленивые), и в конце концов их оттеснят американцы со своей неумолимой практичностью и любовью к труду. Судьба старой Калифорнии предрешена.

11 апреля. «Я — Билли, — говорит мне рыжеволосый паренек на родео, — а вас как звать?» Белые зубы, на лбу — шрам. «Боб-Дан», — отвечаю я. «Очень приятно, Боб». Негромкое ржание и топот лошадей. Брань мексиканских ковбоев, вонзающих деревянные стремена в окровав-

ленные бока своих полудиких скакунов. Рев загнанных, стреноженных и заклейменных быков. «Не Боб, — говорю я, — Боб-Дан». Он зовет меня Бобби.

12 апреля. Наверное, я никогда не чувствовал себя таким здоровым, простым и довольным собой, как сегодня, когда при температуре 85° по Фаренгейту[62] в десять утра носил вилами сено лошадям. После обеда читал *«Etudes sur le vin»*[63] Пастера.

13 апреля. Решил поговорить начистоту с Дрейфусом — единственным, насколько мне известно, евреем в Анахайме и, что неудивительно, самым умным человеком в деревне. Он говорит, что мы сможем добиться успеха лишь в том случае, если откроем собственную виноторговую компанию. Нам нужно расширяться, иначе мы погибнем.

14 апреля. Запретное желание, которое силится высвободиться путем отчуждения. Проклятое желание. Впрочем, нет никакой загадки в том, что, хотя меня так сильно притягивают эти мальчики, я в то же время всей душой люблю М. В любви к ней я постоянен.

---

[62] Примечания: 62
Ок. 29°C.

[63] Примечания: 63
«Очерки о вине» *(фр.).*

15 апреля. Одно из решений проблемы — сажать другие сорта винограда. Из одного сорта, завезенного сюда испанскими священниками-миссионерами, изготавливается великое множество различных вин. Ликеры, бренди, анжелика и игристая анжелика, портвейн, херес и другие сладкие вина, несмотря на все их недостатки, вполне приемлемы — под этим жгучим солнцем виноград *криолла* наливается сладостью. Но сухие вина, рислинг и бордо, из-за слишком низкого содержания кислоты — пресные и безвкусные. Но их все пьют. И не только в Калифорнии. Здешние компании продают все больше товара на Восточном побережье и даже экспортируют его в Европу. Вполне возможно, вино станет когда-нибудь американским, получит американский знак качества, и счастье тоже станет американским и будет соответствовать американским представлениям о том, что значит быть счастливым.

16 апреля. Может быть, мы сглупили, приехав сюда? Такая возможность не исключается. Глупец ли я? Обходительный муж, закрывающий глаза на то, как другой увивается за его женой? Но она не бросит меня ради него. Рышард ей не пара. Я не глупец.

17 апреля. Я родился тридцать пять лет назад — это мой день рождения *à l'américaine*[64]. Здесь просто нельзя представить себе наш обычай отмечать дни рождения в день святого, именем которого человек назван, и не только потому, что Америка — не католическая страна с религиозным календарем, бережно хранящим древние легенды и предания. Здесь превыше всего ставят личный календарь и личный путь. *Свой* день рождения, *свою* жизнь, *свое* счастье.

18 апреля. Два индейских мальчика играют в чехарду. Один — с черными, как лошадиная грива, волосами и заточенными зубами. 97°[65]. А лето еще даже не началось. Нужно раздобыть книгу по свиноводству, и по пчеловодству и приготовлению меда. Поговорив с людьми в деревне, я пришел к выводу, что свиньи и пчелы требуют минимальных затрат труда и приносят максимальный доход. Мед здесь очень любят, но не умеют правильно готовить. Мы с Юлианом приготовили немного, и он показался нам очень вкусным. Однако не мешало бы найти точные рецепты.

---

[64] Примечания: 64
По-американски *(фр.).*

[65] Примечания: 65
Ок. 36°С.

19 апреля. Я пришел в ее жизнь слишком поздно и не лелеял мечты переделать ее. Я даже не стремился ее изменить. Я любил ее такой, какая она есть. Был идеальным вторым мужем. Мужем великой актрисы — эту роль я играть умел. Я хотел, чтобы она принимала меня как должное, а теперь вижу, что и сам стал принимать ее как должное. Однако я никогда не проникал в потаенные уголки ее души. Странно, почему я так уверен, что М. никогда меня не бросит.

20 апреля. Хуан-Мария, Доротео, Хесус.

21 апреля. Рышард предложил нам, то есть М. и мне, совершить двухдневное путешествие в горы Сан-Бернардино. Я сказал М., что не могу оставить работу, которой вместе с Александером занимаюсь в хлеву, но она может ехать. Рышард, разумеется, рассчитывал, что я откажусь.

22 апреля. М. уехала затемно вместе с Рышардом, в сопровождении старика Сальвадора. Рышард вооружился 14-зарядной винтовкой Генри, револьвером и длинным охотничьим ножом. Сальвадор нес столько оружия, что хватило бы двум бандитам. М. тоже прихватила ружье. За ужином все наши казались подавленными — не перед кем было рисоваться. Возможно, все боятся, что она бросит *их.* Более других смущена была

Анела. «Как же мадам будет спать на улице?» — все твердила она. П. спросил — раз матери нет, можно ли ему лечь спать позже, а пока позаниматься на фортепьяно? Дом показался мне пустым, и около полуночи я вышел прогуляться. Вдали от нашего поселка, посреди безбрежной, девственной природы, под бескрайним ночным небом, я неожиданно осознал чудовищную фальшь человеческих отношений. Любовь к М. показалась мне большой ложью. Точно такая же ложь — ее чувства ко мне, к сыну, к членам нашей колонии. Наша наполовину первобытная, наполовину буколическая жизнь — это ложь, наша тоска по Польше — ложь, брак — ложь, все общество состоит из сплошной лжи. Но я не понимаю, что мне делать с этим знанием. Порвать с обществом и стать революционером? Но я слишком скептически настроен. Бросить М. и преследовать свои постыдные желания? Но я не представляю себе жизни без нее. Когда я вернулся, сел и написал это, дом снова показался мне таким пустым!

23 апреля. Они возвратились сегодня вечером. Воодушевленная М. без умолку рассказывала о том, что видела. У нее — скверная рана, которую нанес не дикий зверь, а чашка горячего

чая; ее правая ладонь — сплошной гноящийся волдырь. Не думаю, что она воспылала любовью к Рышарду. Но как мне узнать, не произошло ли чего-нибудь между ними? Ведь моя жена — актриса.

Двигаясь к горам на восток, они пересекли широкое песчаное русло пересыхающей анахаймской реки. Рышард был удивлен, когда после всех уговоров Марына все-таки согласилась на экскурсию. А теперь он сам собирался поразить ее, дав понять, что вовсе не думал, будто она дала согласие на нечто большее, чем совместная поездка. Терпение — главная добродетель охотника: он не станет торопить события. Рышард не будет обращать ее внимание на то, что они увидят. Это может показаться назойливым, словно бы он полагал, что сама она не способна увидеть ни стадо ангорских коз, ни фазанов, взгромоздившихся на кактус, ни антилопу на холме, ни стайку розовых диких голубей, парящих над головой. Он стыдился потока слов, которые всегда были у него наготове. Слова легки — они слетали с его уст и все озаряли своим светом. Разговаривать не было надобности.

Ближе к полудню они остановились на высоком горном кряже Сан-Бернардино. Сальвадор

показал на большой черный дуб у края долины и что-то прокричал Рышарду по-испански.

Рышард покачал головой:

— *No quiero oirlo*[66].

Перекрестившись, Сальвадор спешился, привязал лошадей и начал собирать хворост для костра.

— Что он сказал? — спросила Марына.

— Что прошлым летом здесь поймали человека, воровавшего скот.

— Прямо здесь?

— Да.

— И что с ним сделали?

Сальвадор разжег огонь и расставил свою оловянную утварь — кастрюлю, чайник, тарелки и чашки.

— Его линчевали.

— На том дереве?

— Увы, это так.

Марына тяжело вздохнула и подошла к костру. Рышард последовал за ней, вынул из седельного вьюка одеяло и разложил на земле, чтобы можно было сесть.

— Я даже не спрашиваю вас об усталости.

---

[66] Примечания: 66
И слышать не хочу (*исп.*).

— Спасибо.

— Вы жалеете, что поехали со мной?

— Рышард, Рышард, перестань волноваться, хорошо ли мне здесь. Вместе с тобой. Мне хорошо.

— Теперь я знаю, что вы любите меня. Вы дважды повторили мое имя.

— Да, и ты тоже, — она засмеялась. — «Марына, Марына!»

Ему показалось, что сердце разорвется от счастья.

— Вы счастливы, Марына? — тихо спросил он.

— Ах, счастье! — произнесла Марына. — Мне кажется, я могу быть очень счастливой.

Еще не время было объяснять Рышарду новую договоренность с собой о счастье и удовлетворении. Счастье в том, чтобы не попасться в ловушку своей жизни — в сосуд с твоим именем. Нужно забыть себя, свой сосуд. И привязаться к тому, что выводит за пределы себя самой, расширяет мир. Например, зрительные удовольствия — она помнила свое наслаждение, когда впервые попала в музей: Генрих повез ее в Вену, ей было девятнадцать, и она, еще девушка, жаждала пройти посвящение. С возрастом у женщины появляется сильное качество: ей больше не нужно делиться этими яркими мгновениями выхода из оболочки.

Но она не забыла (хотя Рышард, похоже, думал обратное) удовольствия рук, губ и кожи.

Сальвадор передал им тарелки с сухим печеньем и вяленой говядиной и пинтовые чашки с японским чаем, подслащенным медом.

Рышард, морщась, поставил чашку на одеяло и затряс обожженной ладонью. Он видел, что Марына продолжала держать свою в руках.

— Вам не горячо?

Марына кивнула и улыбнулась:

— Может, я и люблю тебя.

Рышарда словно ударили в самое сердце. Он потянулся за своей чашкой, все такой же нестерпимо горячей, и быстро выпустил ее из рук.

— Марына, поставьте свой чай!

— Может, и люблю, — продолжала она. — Может, и могла бы. Но, разумеется, я чувствую себя виноватой, когда люблю того, кого любить не должна.

— Марына, покажите руку.

— Когда мне было девять, сразу же после смерти отца, — она поставила чашку и вздрогнула, — меня поместили на год в монастырскую школу.

— Покажите руку.

Она вытянула руку ладонью кверху. Та была темнобагровой.

— Сальвадор! — закричал Рышард.

— *Señor?*[67]

— Идиот! Идиот! — он вскочил на ноги и схватил банку с медом. — Можно, я помажу? — Он увидел слезы в ее глазах. — Ох, Марына! — Склонившись над ладонью, он принялся дуть на нее и смазывать медом. — Меньше болит?

Когда он поднял взгляд, ее глаза уже были сухими и блестящими.

— Там у меня была учительница, сестра Фелицыта, которую я любила больше, чем мать, любила, как никого другого на свете. И я приучила себя никогда не смотреть ей в лицо. Видя мой потупленный взор, она считала меня очень робкой и набожной, а тем временем я горела желанием прижаться губами к ее прекрасному лицу.

— Позвольте поцеловать вас, Марына.

— Нет.

— Так, значит, я никогда не сожму вас в объятиях? Никогда?

— Никогда! Понимаешь ли ты, что это означает? Я хорошо знаю, что если стану… если буду вынуждена скрываться, выбирать — то это будет

---

[67] Примечания: 67
Сеньор? (*исп.)*

невыносимо. Мне нужна простая жизнь.

— Вы считаете брак простой вещью?

— Нет, брак вовсе не прост. И Богдан не прост. Но с Богданом и так сложностей хватает.

Они помолчали.

— Марына?

Она встала:

— Поехали дальше.

Когда они снова сели на лошадей, Рышард, видя, что левой рукой она придерживает поводья, а правую, обернутую платком, прижимает к груди, взял у нее поводья и повел обеих лошадей по каменистому оврагу и вверх по крутому, поросшему куманикой склону. За его спиной она говорила что-то об особых мучениях, которые усложняют жизнь Богдана, о том, что никто не знает (и она не может рассказать), кто он на самом деле. Затем они даже начали спорить, и этого Рышарду хотелось меньше всего, особенно после того, как она фактически пообещала, что когда-нибудь станет принадлежать ему.

— Если бы мой дед был штабным офицером в армии Наполеона, а жена — национальной героиней моей страны, — не к месту сказал Рышард, обернувшись, — я долго думал бы, кто же я такой.

— Сегодня вы не так умны, как обычно, — холодно ответила она.

Но, похоже, она простила его, когда горы сменились равниной, и снова взяла поводья в левую руку. Они некоторое время скакали галопом, подняв лица к сияющему солнцу и нескольким белым облакам на безупречно голубом небе. Все это время Рышард размышлял о своей радости и поразительном маленьком уроке, преподанном Марыной, о том, как терпеть боль.

Когда стемнело, они устроили привал по ту сторону гор, и встревоженный Сальвадор подал им соленую свинину и хлеб на оловянных тарелках, по-прежнему бормоча извинения:

— *Señora, perdóneme, mil disculpas, perdóneme*[68].

У него такие мозолистые руки, объяснял Сальвадор, что он не понял, какими горячими были чашки.

— *Ahora no está caliente, señora, estáfrio*![69]

Рышард перевел.

— Надеюсь, не мясо, — со смехом сказала Марына.

Марына, как ребенок, обрадовалась кровати,

---

[68] Примечания: 68
Сеньора, простите меня, тысяча извинений! (*исп.*)

[69] Примечания: 69
Теперь не горячее, сеньора, теперь холодное! *(исп.)*

которую Сальвадор соорудил из мелко поломанных веточек толокнянки и крушины, устеленных несколькими слоями темного мха и гладкого папоротника. Затем, оставив Сальвадора с ружьем у костра охранять спящую Марыну, — мексиканец в очередной раз заверил Рышарда, что ни одна гремучая змея не переползет через лассо из конского волоса, которое он разложил вокруг нее, — Рышард вышел из лагеря прогуляться к освещенным луной деревьям и выкурить трубку. Марына спит под его защитой на лоне дикой природы, под бескрайним ночным небом — как будто осуществилась его давняя мечта, они с нею — две тонких стрелы, рассекающих огромную вселенную. Изысканное ощущение: победа. Он любит. И любим. В этом он теперь убедился. Поднялся ветер, и молчаливый лес загудел и зашелестел. Восхищенно прислушавшись, он со страхом уловил зловещее шуршание. Такой звук, напомнил он себе, могут издавать желуди, когда отрываются от ножек и с шелестом катятся по листве на землю. А также крадущийся *Ursus horribilis*[70], готовый выпрыгнуть из-за дерева и вцепиться ему в горло, прежде чем он успеет крикнуть. А он,

[70] Примечания: 70
Ужасный медведь *(лат.).*

как назло, оставил ружье у костра. Все его органы чувств обострились от страха. Он даже различил среди лесных запахов отдаленный смрад скунса. И звуки — уханье сов и другой, более слабый шелест, а затем… блаженная тишина, которую он встретил с замирающим дыханием, облегчением и благодарностью, словно бы получил обнадеживающую весть от самой природы. Все хорошо и все будет хорошо. Рышард не питал никаких иллюзий насчет своей неуязвимости, он был слишком рационален для этого. Но ничто не могло разрушить в нем чувства благополучия и удовлетворенности. «Если бы даже моя жизнь сейчас оборвалась, — говорил он себе, — я все равно бы подумал: боже мой, какая поездка!»

14 апреля. «Наша община похожа на брак», — сказала мне сегодня Марына, и я внезапно насторожился. «Я не имею в виду *наш* брак, — сказала она со смехом. — Я говорю о браке, который созрел благодаря компромиссам, разочарованиям и неизменной доброй воле, — речь идет, конечно же, не о Юлиане с Вандой! Это давнишний брак, нерушимость которого приводит в уныние самих супругов, но который они не отваживаются расторгнуть». Марына стала на мгновение прежней, какой я ее люблю: беспокойной, язвительной,

самокритичной и властной.

25 апреля. Еще одна очень американская черта: виноградные лозы растут здесь кустами. Местные жители считают это весьма целесообразным: никакой возни с решетками и т. п. Но я сразу же подумал об отсутствии взаимной поддержки, взаимной опоры и взаимопроникновения. Каждая лоза — сама по себе. Она изо всех сил стремится превзойти соседок.

26 апреля. Если бы удалось найти хорошую книжку по изготовлению изюма из винограда, я мог бы набить наши чемоданы тысячами долларов. Сегодня мы с Юлианом ходили смотреть на две деревенские риги — обе в неважном состоянии. Но местный виноград больше подходит для изюма, чем для вина; к тому же изюм намного лучше продается. Гардинер рассказал, что продал изюм, полученный с двадцати акров, за 8000 долларов. Блестящие карие глаза Хасинто.

27 апреля. Можно бы вложить деньги и в другие культуры. Например, в маслины и апельсины, а также лимоны, гранаты, яблоки, груши и сливы — все они хорошо окупаются. А еще инжир, который продается здесь на развес, в отличие от Польши, где его нанизывают на длинную нитку. Похоже, почва здесь слишком суха для бананов,

и хотя на ней вырастают неплохие арбузы, они не приносят никакого дохода из-за своей дешевизны. Местные жители сажают также много табака, но в основном для себя. Шелководством практически не занимаются; несмотря на то что шелковичные черви растут быстро, а их коконы просто великолепны, американцы говорили мне, что с ними «слишком много мороки».

28 апреля. В Польше я думал, что я таков, каким должен быть. В Америке можно бороться со своей судьбой.

29 апреля. Среди ночи мы проснулись от того, что наша кровать сдвинулась с места. По словам жителей деревни, произошло «маленькое» землетрясение, которое, очевидно, не редкость в южной Калифорнии, хотя мы столкнулись с ним впервые. М. и П. сказали, что им понравилось, а М. утверждала, что увидела вещий сон. Проснувшись, она услышала трубный глас с башни Девы Марии! П. мечтает теперь о большом землетрясении — наподобие того, что произошло около двадцати лет назад, перед тем как в Анахайм прибыли колонисты.

30 апреля. Нашу кобылу ужалила гремучая змея, но, похоже, кобыла поправится. А я обиделся. М. знает, что я не хотел этого. А теперь хочу

больше, чем она. «Наверное, ты сомневаешься в собственной искренности», — язвительно сказал я. «Какой прок в искренности, лишенной мудрости?» — спросила она своим восхитительным, уравновешенным тоном. Я успокоился, но не до конца. Она полагала, что отстаивает свободу и чистоту, а не домашнее хозяйство. Не думаю, что ей действительно нужен дом.

1 мая. Я не могу потворствовать своим желаниям, но не потому, что сам не вызываю ни у кого желания. Даже в вопросах чувственности я все еще остаюсь любителем, дилетантом.

2 мая. На прошлой неделе, неподалеку от Темескаля, батрак-индеец вошел в уборную, где находилась жена владельца ранчо, и, по утверждению женщины, попытался напасть, но она позвала на помощь, прежде чем случилось «непоправимое». Беднягу связал и оскопил на месте преступления разгневанный муж, а затем бросил в амбар, где батрак в ту же ночь скончался, истекая кровью. Мы услышали об этом сегодня. Было бы подло закрывать глаза на эту ужасную историю.

3 мая. Якуб читает мне лекции о преступлениях, совершенных против индейцев. Видимо, индейцы были порабощены уже после Золо-

той лихорадки, а она закончилась около пяти лет назад. Якуб ведет себя так, словно он — единственный из нас, у кого еще сохранилась нравственность.

4 мая. Предприятие может провалиться. Но я не имею права потерпеть неудачу. Не могу подвести М. Мы не производим большую часть того, что нам нужно. И не продаем большую часть того, что производим.

5 мая. 99°[71]. Непрерывный успех этих калифорнийцев действует мне на нервы. Польша научила меня ценить благородство поражения. (Преуспевать — пошло и т. д.) Наши поля опустошает саранча.

6 мая. Ванде нездоровится, и за ужином она раньше времени встала из-за стола. Юлиан сказал, что у нее жар. Мы все обеспокоены. Данута, как и следовало ожидать, предложила ей сесть на диету, напомнив, что, когда одна из дочек заболела, она кормила ее только фруктами и проросшей пшеницей, и через два дня лихорадка прошла.

7 мая. Циприан повел меня к доктору Лоренцу. Худой и бледный, с густыми бровями, нависающими над проницательными глазами, с бородой

---

[71] Примечания: 71
Ок. 37°C.

патриарха и зычным, могучим голосом. Подлинный образчик главы религиозной секты. Каждый член общины носит звание «труженика Божьего сада», но я заметил, что их распорядок дня не включает работы на ферме (за ранчо ухаживают мексиканские батраки), и это объясняет, почему колонисты после утренних молитв нуждаются в интенсивных физических упражнениях, что длятся несколько часов. Я обошел дом для мужчин и другой, поменьше, где живут дети. Эти жилища, как и то, где спят женщины, имеют идеальную округлую форму. Женам и мужьям разрешается проводить вместе субботнюю ночь. Мне пояснили принципы «эдемского питания» и пригласили принять участие в отвратительной трапезе, состоявшей из пшеничных отрубей и ячменя, тонко перемолотых и смоченных фруктовым соком.

8 мая. М. сказала мне, что Рышард спрашивал у Юлиана, почему у них с Вандой нет ребенка. Если верить Юлиану, его жена не может иметь детей. М. подумывает открыть ремесленную школу для индейских девочек.

9 мая. Люди, основавшие Анахайм, приехали сюда для того, чтобы жить лучше, чем в Сан-Франциско. Но наш приезд был «чистой слу-

чайностью», и поэтому мы живем хуже, чем в Польше. Если наша община не оправдает надежд, виной тому станет не иллюзорность всех утопических схем, а наш отказ от слишком многих удовольствий. Мы хотели создать жизнь, а не зарабатывать на жизнь; деньги не были и никогда не могли стать нашим главным стимулом. Мучительно сознавать, что, если мы сдадимся, наши соседи скажут, будто мы плохо трудились — рассчитывали посадить семена, а потом сидеть себе на крылечке или валяться в гамаках, пока те будут расти. Это неправда. Если уж на то пошло, трудимся мы больше, чем они. Но мы слишком рассеянны. Нам не хватает здравого смысла, которым они наделены от природы.

10 мая. Я поскакал в одиночку на анахаймскую пристань — почти двадцать шесть миль туда и обратно — и еще больше влюбился в нее. В одном месте берег усыпан кусками железного колчедана — «золота для дураков», как его здесь называют, — я набрал целую сумку для П.

11 мая. Наши предшественники потерпели неудачу. Брук-Фарм. Фурьеристская колония, которую Каликст Вольский основал в Ла-Реюньоне, Техас. Мы знали об этом. В то самое время, когда мы строили планы насчет эмиграции, я прочитал

покаянный рассказ Вольского об этой авантюре, опубликованный после его возвращения с друзьями в Польшу. Но даже сейчас мне кажется, что мы поступили правильно, не дав себя обескуражить неудачей другой группы, которой не удалось создать в Америке кооперативную общину фурьеристского типа. Если все будут благоразумны, ничего никогда не произойдет. Это все равно, что потерять веру в супружескую жизнь из-за Ванды и Юлиана. Всяк вправе сказать: *«Мой* брак будет иным».

12 мая. Возможно, наша авантюра покажется слишком «польской». Я знаю, какой репутацией мы пользуемся за границей среди тех, кто сочувствует трагической истории нашего народа. Они говорят, что нам недостает политической мудрости — только посмотрите на наши восстания, у которых не было никаких шансов на победу. Что мы легковерны — Наполеон без труда убедил нас, что наше национальное войско должно проливать за него кровь; стоило ему только помахать перед нашим носом «белым орлом» в 1812 году, и мы тотчас же поскакали в Россию, с моим дедушкой во главе. Что наша склонность к неумеренным восторгам говорит о ребячливости и несостоятельности; и, конечно же, несовме-

стима с умелым руководством, дисциплиной, выдержкой и другими качествами, необходимыми в грядущей великой борьбе всех народов за выживание в промышленно-милитаристскую эру. Что на нас всегда можно положиться в отношении доблести и личного мужества, но в нашем благородстве есть некая доля тщеславия. И, наконец, самое горькое обвинение: мы — нация дилетантов.

13 мая. В Польше полно памятников. Мы чтим прошлое, потому что прошлое — это судьба. От природы мы — пессимисты, верим в то, что однажды беда может повториться. Наверное, определение оптимиста звучит так: тот, кто отрицает власть прошлого. Прошлое не имеет здесь большого значения. Здесь настоящее не подтверждает прошлое, а вытесняет и отменяет его. Очень слабая привязанность к прошлому — пожалуй, самая поразительная черта американцев. Из-за нее они кажутся поверхностными и недалекими, но она придает им огромные силы и уверенность в себе. Они не чувствуют себя пигмеями по сравнению с *чем бы то ни было.*

14 мая. Около пяти часов дня. Ванда пыталась повеситься в сарае. Она плохо закрепила на балке веревку, которая развязалась почти сразу после

того, как Ванда спрыгнула с лестницы. Но во время падения петля затянулась — Ванда задохнулась бы в считаные секунды, если бы Якуб не находился в это время наверху, на своем чердаке, и не услышал треск. Он убрал лестницу, развязал петлю и побежал за помощью. Ванда была без сознания, и мы отнесли ее в наш дом, а я поскакал в деревню за Хиггинсом, который поставил ей припарки на шею, перевязал сломанную руку и дал хлоралгидрата. Сейчас два часа ночи; он только что уехал. Ей, конечно, придется остаться здесь на несколько дней. М. все еще рядом с ней. Александер и Барбара взяли Юлиана на ночь к себе. На улице он устроил сцену — рыдал и кричал, что тоже покончит с собой и все будут довольны, только *он* с балки не сорвется. Сейчас, по словам Барбары, он просто сидит, обхватив голову руками. М. запретила ему приближаться к Ванде.

15 мая. Ванда по-прежнему очень страдает, не может ни есть, ни даже пить. Хиггинс заезжал сегодня и сказал, что она уже поправляется, и настаивал, чтобы она оставалась в постели еще несколько дней. Никто не знает, что делать. Юлиан раскаивается, но надолго ли его хватит? «Я знаю, что я не умна», — хрипло прошептала она мне на ухо. Все это так печально, но при этом

грязно и унизительно. Она умоляла М., чтобы та разрешила Юлиану навестить ее.

16 мая. У нас почти столько же причин для раскаяния, как и у Юлиана. Жизнь в общине подразумевает принятие ответственности за других, а не только за себя и свою семью. Все осуждали Юлиана за то, как он обращался с Вандой; и нам нужно было обуздать его всей общиной.

17 мая. Ванда вернулась к Юлиану. Когда она уходила от нас, М. чуть не расплакалась. А сейчас она в гневе. Я напомнил ей, что чужая семья — тайна за семью печатями.

18 мая. Поскольку Юлиан и Ванда не пришли на обед, М. велела Анеле отнести им еду. Когда мы навестили их вечером, Ванда говорила о нервном срыве, вероятно, из-за тяжелого труда, и Юлиан согласился, что она слишком много работала.

19 мая. Юлиан и Ванда возвратятся в Польшу в начале следующего месяца. Случившееся настолько ужасно, что никто не отваживается уговаривать их остаться, хотя (господь свидетель!) маловероятно, что они поладят дома. У Юлиана появится новый повод обвинять Ванду — они бросили друзей, отказались от большого приключения, от Америки, и что из-за своей слабости она опозорила его. М. очень печальна. Их

дом может занять Якуб. Рышард предпочитает оставаться в сарае. Больше ничего не изменилось, и в то же время изменилось все, я чувствую. Мы обречены.

20 мая. Сегодня вечером ничего не хочется писать.

21 мая. Сегодня тоже.

22 мая. Считается, что в Америке все возможно. И здесь *действительно* все возможно, благодаря американской изобретательности и таланту к профанации. Со своей стороны, Америка выполнила условия сделки. В неудачах и промахах виноваты мы сами.

23 мая. Сегодня за обедом все были очень язвительны. Барбара слышала от соседки, что в «Эденике» больной ребенок медленно умирает от голода — из-за диеты, состоящей из протертых яблок, риса и ячменного отвара, и девочке даже не вызывали врача. Данута и Циприан утверждают, что кто-то пытается очернить «Эденику».

24 мая. Вместе с Александером пилили высохшее дерево возле сарая. Держась за один конец пилы, я сбился с ритма, и полотно прогнулось. В Америке трудно представить себе, что поражение исполнено благородства.

25 мая. «Не жди, пока станешь закатным

солнцем». (Я где-то вычитал это изречение.) Благоразумные люди бросают дела до того, как те бросят их. А мудрые люди умеют обратить любой конец в триумф.

26 мая. Дело не в том, что у нас совсем не было опыта — немцам, приехавшим сюда двадцать лет назад возделывать виноградники, его тоже не хватало: среди них были гравер, пивовар, пушкарь, плотник, хозяин гостиницы, кузнец, владелец магазина тканей, шляпник, два музыканта и два часовщика. Мы наверняка обладали не меньшими способностями научиться тому, что необходимо для успеха. Но их основной целью было добиться успеха в сельском хозяйстве. А мы хотели стать фермерами, чтобы вести спокойную сельскую жизнь.

27 мая. Спор с Данутой и Циприаном. Девочку из «Эдеики» забрали деревенские власти, а Лоренцу предъявили формальное обвинение в том, что он подвергал опасности жизнь ребенка. Он предстанет перед местным судом в следующий понедельник. Данута и Циприан уверяют нас, что его оправдают. М. была очень нежна со мной вечером. Она уже спит.

28 мая. Сегодня утром ускакал в горы и вернулся только с наступлением сумерек. Миль пятьдесят.

Совсем не устал.

29 мая. Собрание по поводу того, что делать дальше. Данута и Циприан хотят продолжить наше предприятие, Якуб сказал, что тоже готов к этому и, что бы ни случилось, намерен остаться в Америке. Барбару очень расстроило письмо матери — ее отец болен и, скорее всего, долго не протянет, — но они с Александером домой не собираются, потому что вряд ли успеют добраться до Варшавы. Александер заверил меня, что его тревога за наше будущее вовсе не означает, что он сожалеет о своем участии в нашей авантюре, и мне хочется ему верить. Мы договорились, что подождем до октября и сбора винограда, чтобы посмотреть, удастся ли продать его по выгодной цене. М. сказала, что может временно вернуться на сцену и заработать немного денег, чтобы мы не разбежались, пока ферма не начнет приносить прибыль.

30 мая. 97°, полдень. Не хотелось бы думать, будто я гоню М. обратно на сцену, чтобы отказаться от нашей здешней жизни, которую мы будем потом называть «приключением» и «интерлюдией». А потом пришло в голову: «Но ведь она хочет этого».

31 мая. Наверное, стоит отметить, что обви-

нения, предъявленные Лоренцу, были сняты. Очевидно, община отдала в залог строительному фонду крупную сумму для новой школы. Видел Доротео, тот восхищенно рассматривал соломенную шляпу в витрине деревенского магазина. Он показал мне, что у него есть 15 центов, — шляпа стоила «две монетки», сказал он, так на калифорнийском (?) слэнге называют 25 центов, — и попросил меня купить ее. Мне стыдно.

1 июня. Сегодня утром на станции провожали Юлиана и Ванду. Завтра они сядут в Сан-Франциско на трансконтинентальный экспресс. А через десять дней их судно отправится из Нью-Йорка в Бремерхавен.

2 июня. Весь измучился от бесполезных вопросов. Что побуждает нас принимать то или иное решение? Почему мы должны были поехать именно в Калифорнию, а не куда-нибудь еще? Столкнулся с Доротео на кухне. Тот пытался объяснить что-то Анеле. Спрашивал, не нужен ли нам еще один батрак. На нем шляпа.

3 июня. День был посвящен праздности и разговорам о нашем будущем. Барбара получила еще одно письмо от матери: ее отец умер.

4 июня. После ужина Барбара и Александер отвели меня в сторону. Они решили вернуться в

Польшу этим летом.

5 июня. Данута и Циприан заявили о своем намерении остаться в Калифорнии: они переберутся в «Эденику». М. увещевала их, но тщетно. С фанатиками спорить бесполезно. Ясно, что это безумная затея назревала уже давно. А у нелепой общины Лоренца больше шансов выжить, чем у нас. Возможно, мы недостаточно радикальны или эксцентричны. Ах, Доротео!

6 июня. Оглядываясь назад, мы понимаем, что наивность обрекла нас на неудачу: европейские интеллектуалы решили, что могут стать «пионерами» и т. д. Мы далеко не первые и наверняка не последние, кто верил в лучшую жизнь, пусть и на чужой земле, где, как говорили, можно начать все сначала. Люди, не склонные к идеализму, будут презирать нас. Но нет ничего постыдного в том, чтобы сделать ставку на лучшую часть нашей натуры. Мир оскудел бы без чувств, подобных нашим.

7 июня. Сегодня Якуб уехал в Нью-Йорк. На прощание подарил нам с М. три картины, которые считает лучшими из тех, что здесь написал. Небольшой портрет двух горемык: молодой женщины и бородатого мужчины — Джессики и Шейлока. Портрет во весь рост: М. сидит и

читает. Сцена в Лос-Ньетосе: мексиканка с шумной кучкой ребятишек под ногами развешивает длинные куски вяленой говядины на своеобразной веревке для белья, натянутой между двумя эвкалиптами. Картины великолепны. М. удручена отъездом Якуба.

9 июня. М. вместе с Анелой занялись генеральной уборкой дома. Утверждает, что совершенно спокойна. Нужно поговорить с Августом и Беатой Фишер.

12 июня. Сегодня М., Рышард и я поехали на анахаймскую пристань полакомиться свежей камбалой в местной таверне и посмотреть на закат солнца над океаном. Ничего не требуя от этого прекрасного зрелища, мы ощущали, почти как в первый день приезда, эйфорию и благодарность. Накануне отъезда мы вели себя, словно приезжие. Или будущие туристы. Тихий океан казался нам таким безбрежным, безразличным, завершенным, словно дальше идти уже некуда, можно только отступить назад, по собственным стопам. Но это, конечно, только иллюзия.

13 июня. М. нужна была не новая жизнь, а новое «я». Наша община послужила средством для этого, и теперь она твердо решила вернуться на сцену. По ее словам, она не собирается возвра-

щаться в Польшу до тех пор, пока не покажет, чего способна добиться перед американской публикой. М. бесстрашно указала мне на все те препятствия, которые отделяют ее от положения «звезды» американского театра.

15 июня. М. готовится к переезду в Сан-Франциско. Как только обоснуется там, к ней переедут П. и Анела.

16 июня. Прекрасно зная обо всех улучшениях, которые мы произвели на их собственности, включая постройку двух новых жилищ, Фишеры заявили, что готовы выкупить ферму по цене на 2000 долларов меньше той, что мы заплатили им в декабре. Я останусь поискать другие предложения.

17 июня. Сознавал ли кто-нибудь из нас все непостоянство местной экономики? И сколько потребуется труда для того, чтобы управлять фермой? Быть может, нам следовало отправиться в Южные моря.

7

Это было похоже на побег из дома, на умышленную ложь — а она умела лгать. Начинала сначала; вновь шла навстречу судьбе, которая внушала ей сладостное ощущение того, что она никогда и не сбивалась с пути.

Марына приехала в город в конце июня. Ее кожа отвыкла от свежего морского климата Сан-Франциско, из памяти выветрились величественные виды залива и океана, что открывались сквозь туман крутых улиц из самого центра этого беззаботного города, но она помнила каждую деталь широкого, украшенного колоннами входа в здание у Ноб-хилла, к которому были устремлены все ее мечты.

Богдан устроил Марыну у старого капитана Знанецкого и его жены. Почтенная женщина, временно разлученная со своей семьей, вряд ли захотела бы жить самостоятельно. Знанецких выбрали потому, что они были доброжелательны и оказывали покровительство, к тому же капитан был женат на американке, так что Марыне не пришлось бы все время говорить по-польски.

Кроме того, Знанецкий, как старший землемер и инспектор, был знаком буквально со всеми — от членов «Богемского клуба» до губернатора штата, и оказалось достаточно нескольких кулуарных бесед, чтобы устроить прослушивание у грозного Энгуса Бартона — режиссера театра «Калифорния». На следующее утро после приезда Марына отправилась на Буш-стрит и прошмыгнула в театр. Подобно гладиатору, которого бравада и страх увлекают накануне поединка на последний ряд пустого стадиона, высоко над ровным, еще не окровавленным песком арены, Марына вошла в одну из лож, чтобы взглянуть на красный бархатный занавес и широкую, мирно затемненную сцену. Но сцена оказалась не темной: шла репетиция. Высокий сутулый человек в черном вскочил с кресла в десятом ряду и помчался по проходу: не Бартон ли это?

— Не говорите мне, что вы будете «в форме» сегодня вечером! — кричал он на одну из актрис. — Я терпеть этого не могу! Если вы вообще можете быть «в форме», то должны быть в ней *сейчас*!

Да, скорее всего, это Бартон.

Проблема, как Марына доверительно сообщала в письме Хенрику, в том, что она редко остается

одна. Весть о прибытии актрисы облетела весь город (как она могла приехать в любой уголок мира, где были поляки, и оставаться инкогнито?), и все члены польской общины Сан-Франциско жаждали встречи с ней. Трудно разжечь тлеющие угли амбиций и проникнуться страхом провала в шумно-восторженном окружении изгнанных с родины соотечественников. Кроме того, по вечерам говорили только на польском, хотя капитан Знанецкий, бежавший от волны кровопролития и поджогов (их поощрял Меттерних, и, страшно сказать, совершали сами польские крестьяне), которые обескровили либеральное, мятежное дворянство и интеллигенцию австрийской части Польши тридцать лет назад, был в равной степени поглощен и политикой своей второй родины, и катастрофами, которые регулярно обрушивались на его отечество. Он называл себя социалистом (хотя признавался Марыне, что у социализма практически нет будущего в Америке, где подчинение бедных богатым еще более незыблемо, чем верность монархам и попам в Европе) и пытался объяснить разницу между двумя американскими партиями, но Марына поняла только, что республиканцы выступали за сильное централизованное управление, а

демократы — за свободный федеральный союз штатов. Она предположила, что все эти партийные разногласия проще было понять до войны, когда еще не решили вопрос о рабстве, и всякий благонамеренный гражданин непременно был республиканцем; оставалось неясным, из-за чего американцы спорят теперь. Однажды вечером Знанецкий пригласил ее послушать «великого агностика» Ральфа Ингерсолла, атеистические проповеди которого собирали огромные толпы в Сан-Франциско. Марыну поразил живой отклик слушателей.

Она решила положить конец потоку новых похвал. Похвалы придают уверенности актеру, но Марына была готова к любым последствиям этого шага. «Обожаю безрассудство», — писала она Хенрику и сама себе не верила.

Она съехала от Знанецких и спряталась от восторженных соотечественников в меблированных комнатах, расположенных в полуквартале оттуда. Она заложила драгоценности, которые почти ничего не стоили в долларах, и денег ей должно было хватить на два месяца скромной жизни. Она нуждалась в одиночестве, чтобы восстановить природное чутье, технику, неудовлетворенность и некоторую наглость, благодаря которым стала

актрисой. Искусство ходьбы, прямую осанку и уверенную поступь Марына не утратила. Но искусством думать только о себе, необходимым для истинного творчества, могла вновь овладеть только в одиночестве.

Теперь она осталась наедине с этим городом, с честолюбием, с английским языком — этот строгий учитель, которого она должна была подчинить своей воле.

— Воле, а не *вуолэ*, — говорила мисс Коллингридж.

Она впервые увидела мисс Коллингридж, когда прошла по наклонному деревянному полу своей гостиной и выглянула из окна, прижимая к груди томик Шекспира. Мечтательно глядя на улицу и декламируя про себя «Антония и Клеопатру», она вдруг заметила, что на нее смотрит невысокая полная женщина с песочными волосами и в широкополой соломенной шляпке. Марына непроизвольно улыбнулась. Женщина поднесла ладонь к губам, медленно убрала ее; улыбнулась; минуту помедлила; наконец, сделала колесо (ее плащ взлетел в воздухе) и зашагала дальше.

Они снова встретились несколько дней спустя, когда Марына вышла вечером прогуляться по китайскому кварталу (она жила недалеко

от Дюпон-стрит) после восьми часов занятий и декламации. Она свернула в освещенный фонарями проулок — ее поманила прихотливая музыка и голоса, которые что-то пронзительно выкрикивали с позолоченных балконов чайных домиков. Сквозь открытые, украшенные флажками двери лавчонок виднелось живописное нагромождение фигурок из слоновой кости, красных лакированных подносов, агатовых флакончиков с духами, тиковых столов, инкрустированных перламутром, сандаловых шкатулок, зонтиков из вощеной бумаги и картин с горными вершинами. Сновали проворные кули в синих хлопчатобумажных блузах, неторопливо прогуливались джентльмены в лавандовых парчовых куртках и широких шелковых штанах, в их длинные косицы были вплетены ленты вишневого шелка, за ними очень медленно шли — Марына посторонилась, чтобы полюбоваться, — две женщины с красивыми головами, приглаженными волосами и нефритовыми браслетами на руках. Дам поддерживали под локти служанки. Ее взгляд случайно упал под нижний край пышных платьев — на обрубки длиной около трех дюймов, обутые в вышитые золотом шелковые туфельки. И не успела она вспомнить, что читала про

обычай, распространенный в богатых китайских семьях — ломать ступни маленьким дочерям и привязывать пальцы к пяткам, пока девочки не вырастут, — ее желудок свело, и рот наполнился едкой слизью. Все внутри перевернулось.

— Вы больны? Сбегать за доктором? — Кто-то стоял рядом, пока она боролась с дурнотой. Молодая женщина, с которой она встречалась тогда взглядом.

— А, это снова вы, — бессильно сказала Марына. Пытаясь подавить очередной приступ тошноты, она улыбнулась, заметив, как оживилась ее спасительница от этого приветствия — бросилась в лавку и выскочила оттуда с веером из белых перьев, которым принялась энергично махать у лица Марыны.

— Я не больна, — сказала Марына. — Просто увидела двух китаянок, которые… двух женщин с…

— А, коротконожек! У меня тоже к горлу подступило, когда я в первый раз их увидела.

— Как мило с вашей стороны… очень мило, — сказала Марына. — Я уже пришла в себя.

К тому времени, когда молодая женщина привела ее домой, они уже поняли, что им суждено стать подругами. «Почему я выглянула из окна

именно в этот момент? — писала она Хенрику. — И почему я улыбнулась ей? В этом есть что-то романтическое. А ведь я еще не слышала ее бархатного контральто и восхитительной дикции! Вот как бывает, милый друг. Первым *coup de foudre*[72] за целый год в Америке оказалась разбитная девица, которая носит дурацкие шляпки и бесформенные саржевые плащи и говорит, что в качестве домашней зверюшки держит молодого поросенка. Но вы уже знаете, как легко меня прельстить сладкозвучным голосом».

Новая подруга Марыны похвалила ее совершенное владение английским словарем и грамматикой, отважно заявив, что это — незаинтересованное, профессиональное мнение. Мисс Коллингридж («Милдред, — робко сказала она, — Милдред Коллингридж») преподавала культуру речи. Она давала уроки красноречия женам богачей, живущих в новых особняках на Ноб-хилле.

Марына сказала, что у нее только два месяца, и ни днем более, на подготовку к прослушиванию. Она покажет этому мистеру Бартону, на что способна.

— Мистеру, а не *мы-ыштеру,* — сказала мисс

---

[72] Примечания: 72

Букв.: удар грома, здесь: любовь с первого взгляда *(фр.).*

Коллингридж.

Нанявшись на работу к Марыне за скудное жалованье (которое Марына с благодарностью предложила, не в силах прибавить к нему ни гроша), она приходила каждое утро в восемь часов поработать с актрисой над ролями, которые та переучивала по-английски. Сидя бок о бок за раздвижным столом у окна гостиной, они проходили все строчки, слово за словом, и, когда все согласные были отчеканены, а гласные отточены и весь отрывок отшлифован к их обоюдному удовольствию, Марына расставляла в тексте пьесы паузы, ударения, придыхания и другие подсказки. Затем она вставала, ходила взад и вперед и декламировала, а мисс Коллингридж оставалась за столом и читала («как можно монотоннее», наставляла ее Марына) другие роли. Эти долгие совместные занятия сама учительница не заканчивала никогда: Марына обрела товарища по работе — такого же неутомимого, как она сама. Но иногда актриса настаивала прервать занятия и выйти прогуляться. Умиротворенная деревенскими тяготами, Марына даже не сознавала, насколько соскучилась по ритму и запаху городской жизни.

— Городской, а не *га-радж-кой,* — говорила

мисс Коллингридж.

Капитан Знанецкий часто приходил к ней рано утром и приносил накрытые тарелки со вкусными польскими блюдами, которые он научил готовить жену, расспрашивал, как Марына поживает, и когда она рассказала ему о мисс Коллингридж, капитан сказал:

— Дорогая госпожа Марына, вам не нужен учитель. Произносите слова так, как они пишутся, как бы вы произносили их по-польски, — этого более чем достаточно. Форма губ испортится, а голос огрубеет, если вы будете произносить резкие или трудные звуки. И, прежде всего, не говорите *th*, как они, потому что у вас это никогда получится. Простые *t* и *d* намного приятнее для слуха, чем их шепелявые *th*. и, кроме того, уверяю вас, американцы просто очарованы чужестранными акцентами. Чем сильнее у вас акцент, тем больше вы им понравитесь.

Он сказал, что она никогда не научится правильно выговаривать английские слова. Что, если он прав? Она превратится в посмешище, и ей будут аплодировать потому, что она нелепа, а не прекрасна. Как же она сможет сыграть идеального персонажа? Нет, она не станет следовать его совету.

Марына снова и снова упражнялась с этим проклятым межзубным *th* — приходилось запинаться посреди фразы, а как иначе успеть расположить язык так, чтобы верно произнести этот звук? Наверное, нужны американские зубные протезы, шутила она с мисс Коллингридж. На углу Саттер и Стоктон висела большая вывеска: «Вечные зубы — у доктора Блейка».

— Зубы, а не *жубы*, — говорила мисс Коллингридж.

Каждое слово становилось маленьким свертком странной формы у нее во рту: театр, актер, следовательно, повсюду, тщательно, четверг, думать, идея, терновый, потертый, дебри, трепет, толпа, бросать, биться, процветать… То, то, то. Это, это, это. Там, там, там.

Помимо мисс Коллингридж, единственным человеком, с которым Марына охотно встречалась в первые недели пребывания в Сан-Франциско, был Рышард. Но в конце концов она прогнала и его.

Рышард покинул Анахайм, не успела она еще отправиться на север. Он дожидался ее приезда. Четвертого июля они вместе слушали страстные речи и музыку, смотрели парад, фейерверк и пожарных, проносившихся в красных каре-

тах и тушивших многочисленные пожары. На следующий день взяли напрокат открытый четырехколесный экипаж, чтобы прогуляться вдоль океанского побережья. Марыну влекло к Рышарду. Они держались за руки. И руки их увлажнились. Она была счастлива — несомненный признак влюбленности. Она уже не глава «клана» и временно перестала быть женой и даже матерью, то есть отвечать за других; она вольна жить для себя. (Жила ли она когда-нибудь для себя?) Но, отказавшись на время от мужа и сына, желала ли она взять на себя обязанности любовницы?

Она хотела думать только о ролях.

Рышард предложил ей сходить в театр.

— Только не сейчас, — сказала она. — Я не хочу, чтобы на меня повлияло то, что я здесь увижу. Иначе я подумаю: «Ах, вот что делают американские актеры, и вот чему аплодирует американская публика». Чтобы раскрыть глубины таланта, мне нужно заглянуть внутрь себя самой.

Рышарду было приятно видеть, как она снова превращалась во властную актрису.

— Мне никогда не приходило в голову, — сказал он робко и восхищенно, — что я должен отказать-

ся от того вдохновения, которое привык черпать в книгах других писателей.

— Ах, милый Рышард, к тебе мои слова не относятся, — сказала она серьезно и нежно. — Мне нужно сосредоточиться. По-другому я не умею.

— Это — ваш гений, — сказал он.

— Или мой недостаток, — улыбнулась она. — Должна признаться, я соскучилась по театру.

На следующий вечер Рышард взял билеты в ложу китайского театра на Джексон-стрит — пестрого трехэтажного здания с черепичной крышей, загнутой вверх по углам. Доморощенный оркестрик в задней части сцены ударил в гонги и литавры, с левой стороны, из-за полога, появились один, два, три и, наконец, около двадцати пышно разодетых актеров, которые начали кричать фальцетом друг на друга. Марына, как ребенок, потянула Рышарда за край куртки. Потом что-то произошло — своего рода кульминация, — когда шестеро актеров неожиданно убежали через задрапированную дверь справа.

— Великолепно, не правда ли? — сказал Рышард. — Не нужно ломать голову над выходами и уходами со сцены: актеры всегда выбегают слева и на той же скорости убегают вправо. Не нужно строить характер из внутренних резервов. Этот

— храбрец, потому что он в белой маске, а тот — изверг, потому что у него красное лицо. Никто не пытается скрыть внутренний механизм спектакля: когда нужен реквизит, кто-нибудь выносит его на сцену и протягивает актеру; когда нужно поправить костюм, актер отходит в сторонку, и костюмер приводит его в порядок. Нет…

«И зачем я все это говорю? — мысленно упрекнул себя Рышард. — Ведь она сама видит то же, что и я, даже больше!»

Когда вышли акробаты, картонные львы и драконы, Марына радостно захлопала в ладоши.

— Я могла бы просидеть здесь всю ночь! — воскликнула она, преувеличивая. — Пусть это продолжается вечно!

«Нет, все хорошо», — подумал Рышард.

На следующее утро мисс Коллингридж повела своего поросенка, у которого случилось расстройство желудка, к ветеринару; она сказала Марыне, что сможет прийти к ней только вечером. Рышард решил воспользоваться этой «счастливой неприятностью» и предложил, в порядке исключения, совершить дневную экскурсию. Он зашел за Марыной, и они поплыли на пароме вдоль залива, с остановкой в парке «Золотые ворота». Она сказала ему, что из головы не выхо-

дит необыкновенно изобретательное вчерашнее представление.

— Здесь есть еще один китайский театр, который я, к сожалению, не могу вам показать, — сказал Рышард. — Там только партер со скамьями и стоячими местами, но нет лож для дам, и в тот вечер, когда я туда ходил, зал был набит битком, жара и духота просто невыносимы, а среди публики, помимо китайцев, попадались мужланы и — я могу это подтвердить — карманники. Это место интересно тем (не беспокойтесь, у меня украли только два доллара и носовой платок!), что там не ставят опер и цирковых представлений. Сцена намного меньше, чем во вчерашнем театре, и поэтому я готовился к более скромному зрелищу. К одной, знаете ли, из тех пьес, где появляется солнце, а за ним — дракон, который пытается проглотить солнце, но солнце сопротивляется, дракон бежит, и затем солнце исполняет победный танец, которому восторженно аплодируют зрители. Ничего подобного! *Loin de cela*![73] К моему удивлению, все вполне соответствовало реальности.

— И что же это за реальность, милый Рышард?

---

[73] Примечания: 73
Отнюдь! *(фр.)*

— Прежде всего, — сказал Рышард, — сюжет драмы. Разумеется, я не понял ни слова, но сюжет показался довольно понятным. Речь шла о писателе, безнадежно — впрочем, не совсем уж безнадежно — влюбленном в прекрасную женщину намного богаче его.

— И, несомненно, замужем.

— По счастью, нет. Нет, если не считать различий в материальном положении, она была вольна ответить писателю взаимностью.

— Рышард, — засмеялась Марына, — ты все это придумал.

— Да нет же, клянусь вам.

— И что же, она отдалась этому неимущему писателю?

— Именно этим драма была так поразительно похожа на жизнь. Актеры ходили взад и вперед, спорили, некоторые даже прыгали по сцене, но в конце не было ни свадьбы, ни похорон. Очевидно, с точки зрения логического китайского ума нет никакого смысла показывать за один вечер историю, которая разворачивалась на протяжении нескольких месяцев (или даже лет) жизни ее главных персонажей. Нет, пьеса должна занимать столько же месяцев или лет, как и сама история. Если хотите проследить за ней до конца,

приходите опять.

— И как же, по-твоему, должна закончиться пьеса? Я спрашиваю тебя как писателя.

— Мне кажется, поскольку в Китае иногда происходят вещи, совершенно невероятные, по нашим представлениям, женщина подарит свою любовь нищему писателю.

— Ты действительно так считаешь?

— Впрочем, — продолжал Рышард, — законы драматического действия требуют, чтобы ухаживание растягивалось на очень длительное время.

— В самом деле? Наверное, ты слишком пессимистически настроен.

— Прошел месяц с тех пор, как я видел этот эпизод. Допускаю, что влюбленному писателю еще не удалось добиться руки милого «Чайного цветка»…

— Рышард…

— Но, возможно, он уже нашел нескольких влиятельных родственников, которые пообещали его сосватать, — он грустно улыбнулся. — Вы видите, как я терпелив.

— Рышард, я хочу, чтобы ты куда-нибудь уехал, пока я буду готовиться к прослушиванию.

— Вы меня прогоняете, — вздохнул он.

— Да.

— Надолго? Как в китайской пьесе? На недели? Месяцы?

— Если я добьюсь успеха, позову тебя обратно.

— А потом что?

— Так ты хочешь узнать конец? — воскликнула она. — Но нельзя же быть одновременно персонажем пьесы и ее автором. Нет, ты должен пребывать в ожидании. Как я.

— В каком ожидании? Как *вы* можете потерпеть неудачу?

— Могу, — сказала она серьезно.

— Если Бартон откажет вам, то он идиот и ему не жить. Я вернусь и убью его!

Марына пересказала это мисс Коллингридж, надеясь ее рассмешить.

— Идиот, а не *идыйот*, — ответила мисс Коллингридж. — И вернусь, а не *вырнушь*.

— Мисс Коллингридж предрекает, — сказала она Рышарду, — что я просто обречена на любовь прекрасного пола, — и, не обращая внимания на его гримасу, продолжала: — И это должно тебя радовать. Нужно сказать, что до сих пор ни один янки даже не взглянул на меня, не говоря уже о том, чтобы сделать мне комплимент. Но коль скоро воля женщины — воля божья (если только

здесь верят в это изречение), то я довольна.

Несколько дней спустя Рышард уехал из города, решив остановиться вдали от Марыны у двух пожилых польских эмигрантов — ветеранов антироссийского Восстания 1830 года, которые жили в Себастополе — деревне, расположенной в сорока милях к северу от Сан-Франциско. «Здесь идеальное место для работы, — писал он ей в своем первом письме, — поскольку мне абсолютно нечем заняться: двое старых служак не разрешают вмешиваться в их домашние дела». «Я много пишу, — сообщал он в следующем письме, — в том числе одну пьеску для вас, за которую (можете не напоминать) я однажды (как давно это было!) пообещал никогда не браться. По утрам, перечитывая пьесу, я нахожу ее просто великолепной. Понравится ли она вам? Марына, дорогая моя Марына, милый цветок моего сердца, мне остается лишь надеяться, что вы прикроете убожество моей пьесы своим королевским плащом».

Она ему написала, спрашивая совета, что лучше предложить Бартону для первого прослушивания. Очень хотелось Шекспира (Джульетту или Офелию), но она считала, что благоразумнее начать с пьесы, изначально написанной не на

английском языке: тогда бы ее акцент не так сильно резал слух. С «Камиллы», например. Или, еще лучше, с «Адриенны Лекуврер»: играя актрису, она в худшем случае могла бы показаться… актрисой. Пьеса пользовалась популярностью на американской сцене и любовью у приезжих европейских звезд, начиная с самой Рашели, которая двадцать лет назад открывала ею в Нью-Йорке свои единственные американские гастроли.

«Камилла, — написал Рышард. — Эта пьеса намного лучше. Если хотите, я всегда считал „Адриенну Лекуврер“ слишком сентиментальной и надуманной. Вы должны знать об этом, Марына, как бы ни была дорога вам эта роль. Признаюсь, концовка оставляет меня равнодушным, если только не вы ее играете. А все потому, что…» и т. д. и т. п.

Она спросила также мнение Богдана. «Адриенна Лекуврер», — ответил тот. — Разумеется, «Адриенна». Его письма из Анахайма всегда были лаконичными. В них содержались утешительные новости о Питере и неутешительные — о попытках продать ферму, но почти ничего не говорилось о настроении самого Богдана. Он никогда не упрекал ее, что она оставила ребенка, и Марына была ему благодарна за это. Скоро

она пришлет за Питером и Анелой — как только пройдет прослушивание. Она должна целиком посвятить себя подготовке, и больше ничему. Она хотела ощутить полное одиночество. Возможно, ей уже никогда не остаться одной.

— Вот вы упомянули о гении, — сказал Энгус Бартон, хотя Марына не упоминала о нем, — а гений вещает на всех языках — это, конечно, верно. Как верно и то, что на родине вы были своего рода звездой, все ваши соотечественники здесь, в Сан-Франциско, писали мне письма, приходили в театр, умоляли посмотреть на вас и оставляли мне статьи о вас, которые я, конечно же, не мог прочесть. Там, конечно, не выдумки, верно, но мы в Америке, и вы хотите играть на английском, хотя здесь зарубежной актрисе вполне можно играть и на родном языке, поскольку наша публика уже привыкла к этому и думает, что все понимает, коль скоро сюжет известен, правда, я придерживаюсь старомодного представления о том, что публика должна понимать слова пьесы. И не то чтобы американская публика не открывает объятия зарубежным актерам, но до сих пор они приезжали из стран, названия которых ласкают слух американцев, например из Франции и Италии, но я боюсь, что ваша страна не

принадлежит к их числу, к тому же те актеры приезжали сюда на гастроли, на все готовенькое, и все жаждали увидеть их, а потом они возвращались домой. Нет, я устрою вам прослушивание не для того, чтобы от меня отстали ваши друзья, я готов это сделать, но вы должны дать согласие на мою откровенность, я буду открыто вас критиковать и говорить без обиняков.

— Да, — сказала Марына.

— И не то чтобы я считаю полной потерей времени этот час, что провел с вами, извините, что не могу уделить вам больше времени, через несколько минут у меня деловая встреча, но я не хочу вас обнадеживать, вы — милая женщина, очень гордая и решительная, я люблю женщин с «изюминкой», умеющих постоять за себя, но в этой стране вам тоже придется прогибаться — всем приходится. Я не говорю, что вы не слышали об этом раньше, но театр — это бизнес, и люди здесь не очень-то приветствуют напыщенные представления о театре, которые бытуют в Европе. Вы, конечно, и сами все знаете, но я вижу перед собой даму, и, наверное, у вас на родине такая утонченная женщина произвела бы сильное впечатление, вы можете поразить и здешнюю публику, но не все ж ей утонченные дамы, — да-

же нашим богачам из Сан-Франциско, а их у нас теперь полно благодаря комстокским слиткам, например, покойный мистер Ралстон, который построил этот театр, а также отель «Палас», — уж он-то любил всякие европейские штучки. Не то чтобы это горстка снобов, живущих в особняках на Ноб-хилле, покупает билеты в ложи «Калифорнии», потому что богачи хотят быть культурными людьми и потому в городе так много театров, в высшем обществе есть также несколько евреев, и я думаю, что они самые тонкие ценители, но не можете же вы играть только для них. Нет, не то чтобы в Сан-Франциско не было людей, которые кое в чем разбираются, когда сюда наведывается Бут или приезжает на гастроли европейская звезда, все они стремятся играть в «Калифонии», поскольку каждый знает, что это — лучший театр после Бутовского в Нью-Йорке, и поэтому нашей публике крайне трудно угодить, в особенности газетчикам, которые только и мечтают проткнуть «мыльный пузырь» какой-нибудь зарубежной дутой величины. Но я не говорю, что обычные люди не ходят в театр, и если вы не угодите им, то у вас вообще ничего не получится. Они должны аплодировать и смеяться, толкать друг друга в бок и плакать. Интересно, сумели бы вы сыграть

комедийную роль? Нет, судя по вашему виду, скорее всего, нет. Ну, вот и решено. Вам нужно заставить их плакать.

— Да, — сказала Марына.

Он внимательно посмотрел на нее:

— Я не обескуражил и не обезоружил вас всей этой болтовней?

— Нет.

— А, понимаю. Вы горды и самоуверенны. И, вероятно, умны. Что ж, — он усмехнулся, — для актера это недостаток.

— Мне говорили об этом, мистер Бартон.

— Не сомневаюсь.

— Но ведь можно быть более снисходительным. Например, сказать, что ум — это недостаток для женщины.

— Да, мог бы. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что не сказал этого, — он взглянул на нее с любопытством и раздражением. — Вот что я вам скажу, мадам Язык-сломаешь-пока-выговоришь. Давайте закончим беседу. Вы готовы показать что-нибудь прямо сейчас?

Разумеется, она была не готова.

— Да.

— И расстанемся друзьями, хорошо? Никаких обид. И я с удовольствием приглашу вас в свою

ложу на любой спектакль этой недели.

— Я не отниму у вас много времени, мистер Бартон.

Бартон хлопнул рукой по столу:

— Чарльз! Чарльз!!

В дверь заглянул молодой человек.

— Сбегай к Эймсу и скажи, чтобы он подождал, я освобожусь не раньше чем через полчаса. И скажи Уильяму, чтобы вынес на сцену несколько ламп, стол и стул.

— Достаточно одного стула, — сказала Марына.

— Стола не надо! — прокричал Бартон.

Ведя ее по лабиринту коридоров, Бартон спросил:

— И что же вы собираетесь мне показать?

— Я думала о Джульетте. Или о Маргарите Готье. Или, возможно, об Адриенне Лекуврер. Все эти роли я много раз играла у себя на родине и сейчас выучила по-английски. — Она остановилась в нерешительности. — Если не возражаете, я покажу вам Адриенну. В этой роли я дебютировала в Имперском театре в Варшаве, и она всегда приносила мне удачу. — Бартон присвистнул и одобрительно кивнул головой. — Да, кульминация четвертого акта, когда Адриенна в блестящем обществе читает своей сопернице

оскорбительную тираду из «Федры», а потом я сразу же перейду к пятому акту.

— Читать все пять не стоит, — быстро сказал Бартон. — И не надо никакой «Федры».

— В любом случае, — невозмутимо сказала Марына, — мне потребуется помощь моей юной подруги, которая ждет в коридоре с экземпляром «Адриенны».

— К нам в Сан-Франциско всего два года назад приезжала Ристори со своей труппой. Как раз эту пьесу давала. Правда, она выступала в «Буше». И, разумеется, играла по-итальянски. Может, она и читала один монолог по-английски, но это неважно — все равно нельзя было разобрать ни единого слова. Публика пришла, поскольку Ристори заплатила за большинство рецензий, и гастроли прошли на ура.

— Да, — сказала Марына, — я была уверена, что вы знакомы с пьесой.

Они дошли до кулис. Она увидела перед собой темную сцену, в центре которой ее ждал простой деревянный стул. Сцена! Она снова выйдет на сцену! Марына остановилась на миг — миг подлинного сомнения, — охваченная волнением и радостью, которые, как она полагала, Бартон мог принять за страх сцены. Нет, просто за обыч-

ную панику дилетантки, которая, выдав себя за профессионалку, боится, что ее обман сейчас раскроется.

— Вот мы и пришли, — сказал он.

— Да, — ответила она. «Вот я и пришла».

— Сцена — в вашем распоряжении, — произнес он и спустился по ступенькам с правой стороны, остановившись на полпути, чтобы вынуть из кармана конверт и разрезать его стилетом.

— Отбросьте сомнения, — сказала Марына, намекая на его проклятое письмо. — И *«коль слезы есть у вас, готовьтесь плакать»*[74].

— А, Марк Антоний обращается к плебсу, — Бартон обернулся и посмотрел на нее. — Вам нужно послушать, как эти строки произносит Эдвин Бут.

— Я слышала.

— Неужели? И где же, позвольте вас спросить, вы видели нашего великого трагика? Я и не знал, что он совершал гастрольное турне по Европе.

Она слегка топнула:

— Там, где я сейчас стою, мистер Бартон. В сентябре. Марка Антония и Шейлока.

— Здесь? Так, значит, вы уже были в «Калифор-

---

[74] Примечания: 74

«Юлий Цезарь», акт III, сцена 2 *(пер. М. Зенкевича).*

нии»? Да, вы же говорили, что прожили в штате некоторое время. — Он добрался до своего кресла в середине десятого ряда. — В таком случае вы просто *обязаны* стать моей гостьей на этой неделе.

Марына кивнула оробевшей мисс Коллингридж, чтобы та сняла свою матросскую шляпку, вышла на сцену и села на стул, откуда должна была (совершенно бесстрастно) читать слова Мориса, возлюбленного Адриенны Лекуврер, а в конце акта — несколько строк Мишонне, суфлера «Комеди Франсез» и самого дорогого друга Адриенны, безнадежно в нее влюбленного.

— Помните — не нужно играть. Просто произносите слова.

— Произносите, а не *праижнаши-ите,* — изрекла мисс Коллингридж.

Марына улыбнулась.

— И не волнуйтесь, — прошептала она. — Все будет… — Она опять улыбнулась, однако на сей раз — самой себе. — Все будет «отлично».

Марына окинула взглядом пустой театр. Как в такой гнетущей обстановке показать, на что она способна? Нет ни восторженных друзей в зрительном зале, ни других актеров, ни декораций, ни реквизита (может, надо было попросить

что-нибудь, например, свечу, рожок для обуви или веер вместо букета отравленных цветов?), ни поддержки публики. Только собеседник-стул с сидящей на нем мисс Коллингридж да единственный критик-судья. А мисс Коллингридж казалась такой крохотной и жалкой! Наверное, лучше представить на ее месте Рышарда. И произнесет ли она своим властным голосом, который прекрасно (прекрасно!) был слышен в самом конце второго яруса, слова Адриенны по-английски? В Америке!

— Только сцена смерти, вторая половина пятого акта, мистер Бартон. Не волнуйтесь! Начну с того места, — сказала она совершенно не актерским голосом, — когда я открыла маленькую шкатулку с отравленными цветами, присланную принцессой де Бульон, которую сочла подарком от Мориса, и поцеловала их. Начнем с моего ответа на слова Мориса, который только что вошел в мою комнату и говорит, — почти бесстрастным голосом: — *«Адриенна! У вас дрожит рука. Вы больны».* Мисс Коллингридж…

Марына пристально посмотрела на стул.

— *«Адриенна! У вас дрожит рука. Вы больны»,* — спокойно и невыразительно сказала мисс Коллингридж.

Вызов был брошен.

— *«Нет-нет, я не больна.* — Слова, подобно переброшенному мостику, слетели с уст Марыны. Актерский голос. Она приложила ладонь к сердцу. — *Боль не здесь,* — она поднесла руку к голове, — *а здесь».*

Сказала.

— *«Это так необычно, так странно,* — продолжала она. — *У меня в голове роятся тысячи разных, фантастических образов — беспорядочных и бессвязных».* — Полная противоположность тому, что происходило в голове Марыны, где воцарилась прочная, пронзительная ясность.

И исступленные слова хлынули у нее из груди.

— «*Что вы сказали? Ах, я позабыла… Мысли разбредаются, где же мой рассудок? Только бы не сойти с ума, нет… прежде всего, ради Мориса… и… и ради этого вечера,* — бред, вызванный воздействием коварного яда на мозг. — *Театр только что открылся… зал уж полон.* — Физической боли пока нет. Судорог тоже. — *Да, скоро поднимется занавес… а я знаю, как нетерпелива и любопытна публика. Ей уже давно обещали эту пьесу… да, очень давно… с самого первого дня, когда я увидела Мориса… Кое-кто возражал против ее повторной постановки. Она слишком стара,*

говорили они, даже старомодна. Но я сказала: нет, нет… и у меня была причина. Ах, они даже не догадывались, какая — Морис еще не сказал мне: „Я люблю тебя“… и я тоже не сказала ему этого… Не посмела. Но в пьесе есть строки, которые… Я могу сказать их перед всеми, и никто не поймет, что я обращаюсь к нему. Хитрая уловка, не правда ли?»

— *«Любовь моя, бесценная моя любовь, очнись»,* — сказала мисс Коллингридж за Мориса все таким же восхитительно ровным голосом. Марына посмотрела на мисс Коллингридж. Та раскачивалась на стуле, подняв к Марыне лицо, исполненное страсти, и та ощутила, как душевное волнение мисс Коллингридж передалось ей, разбередив, а затем успокоив внутри что-то нежное и неловкое.

— *«Тише, тише!* — сказала ее Адриенна мисс Коллингридж. — *Мне пора на сцену».*

Она была благодарна мисс Коллингридж: на сцене нельзя показать, на что ты способна, если не чувствуешь, что тебя любят. Актер вянет без любви. Страшно представить, если бы ей пришлось играть эту сцену в пустом театре только для Бартона, на которого она сейчас направляла все свое внимание.

— «Какая прелестная публика! Сколько зрителей, и как они блистательны! Они ловят каждое мое движение. Как любезно с их стороны, что они так любят меня!»

Поначалу он не обращал на нее никакого внимания, читая письмо, затем откинулся, сложив руки за головой, и уставился в какую-то точку в верхней части авансцены: она с презрением отключила от него внимание; но, снова взглянув на него, заметила (Бартон наклонился вперед и скрестил руки на спинке стоявшего впереди кресла), что он наконец-то заинтересовался ею.

— «Адриенна! Она не видит и не слышит меня», — бодрый, сочный, идеально поставленный голос мисс Коллингридж в роли Мориса.

Да, Марына поняла, что завладела вниманием Бартона. Теперь-то он увидит, что она умеет.

— «Неужели никто не может ей помочь? Разве у нее нет друга?» — продолжила мисс Коллингридж в роли Мориса, упорно сдерживая свои чувства. А затем, когда вошел старик Мишонне: *— «Что случилось? Адриенна в опасности?»* — Двойное горе разрушило самообладание мисс Коллингридж, поскольку она встала со стула, хрипло ответив за Мориса: *— «Адриенна умирает!»* — и убежала на край сцены.

«Что же она, глупышка, делает?» — подумала Марына, а потом поняла, что та оказала ей подлинную услугу, уступив стул.

— *«Кто здесь?* — грустно прошептала Марына. — *Как мне плохо! Ах, Морис, и вы, Мишонне. Очень любезно! Голова уже успокоилась, но здесь, в груди, что-то пожирает меня, словно пылающий уголь».*

— *«Ее отравили!»* — выкрикивает мисс Коллингридж в роли Мишонне из своего темного угла.

Марына увидела изумленное лицо Бартона в десятом ряду. Он казался взволнованным. Но заставила ли она его расплакаться?

— *«Ах, боль все сильнее. Вы так любите меня — помогите же!* — Потом, очень тихо, обвиняюще-удивленным тоном: — *Я не хочу умирать».*

Эта фраза неизменно вызывала у публики бурю рыданий и доходила до каждого сердца, за исключением самых черствых и предубежденных. Прислушиваясь к ее отзвуку, Марына признала, что никогда не произносила ее лучше, чем сейчас. *«Я не хочу умирать!»* Она сделала несколько нетвердых шагов и медленно села.

— *«Еще час назад я молилась бы о смерти как об избавлении,* — спокойно сказала она, — *но сейчас,* — не повышая голоса, — *я хочу жить.* —

Немного тверже: — *О силы небесные! Внемлите мне!* — Не слишком громко. Чтобы каждый звук доходил до пустого сердца Бартона. — *Дайте мне пожить… еще несколько дней… всего лишь несколько кратких дней с ним, моим Морисом… Я молода, и жизнь становится такой прекрасной».*

— *«Ах, это невыносимо»,* — простонала мисс Коллингридж в роли Мориса.

— *«Жизнь!* — воскликнула Марына. Теперь лучше всего сделать декрещендо. — *Жизнь!»*

После этих слов Адриенна Ристори, как и Адриенна Рашели, попыталась бы встать, но затем снова опустилась бы на стул. Марына всегда играла этот момент точно так же, — именно этого ждала публика, — но вдохновение подсказало ей новую, более удачную идею. Она выгнула стан, повернувшись лицом к задней части сцены — словно бы Адриенна пожелала избавить возлюбленного и своего старинного друга от зрелища предсмертных мук, исказивших ее черты, и просидела спиной к Бартону в течение бесконечных тридцати секунд. Затем медленно обернулась к нему, но то была уже другая Адриенна — другое, мертвое, лицо.

— *«Нет, нет, я не выживу: все усилия и молитвы напрасны. Не оставляй меня, Морис! Сейчас я*

еще вижу тебя, но более не увижу никогда. Возьми меня за руку. Ты больше никогда не сожмешь ее в своей…»

— *«Адриенна! Адриенна!»* — вскрикнула мисс Коллингридж.

Не было больше слов ни у Мишонне, ни у Мориса, Марына начала заключительный монолог Адриенны, до конца осталось лишь несколько строк, и хотя она могла различить каждую морщинку на восковом лице мисс Коллингридж, стоявшей на краю сцены, лица Бартона она не видела вообще.

— *«О театральные триумфы! Мое сердце больше никогда не будет биться в такт с вашими пламенными чувствами! И ты, искусство, которое я так долго изучала и так сильно любила, ничего от тебя не останется, когда я уйду.* — Интонация благородной жалобы, словно бы Адриенна на миг полностью забыла о себе. — *Ничего от нас не остается, кроме памяти.* — Но теперь-то она вспомнила! Марына машинально оглянулась вокруг. — *Ну, полно, вы будете вспоминать обо мне, правда?* (Она увидела, как мисс Коллингридж кивнула сквозь слезы ее довольно сносному произношению.) И, словно во сне, закончила: — *Прощай, Морис, прощай, Мишонне,*

мои единственные друзья!»

Воцарилась тишина. Она слышала, как всхлипывала мисс Коллингридж. Затем Бартон принялся ритмично, громко и очень медленно аплодировать. Каждый хлопок был для Марыны словно пощечина. Потом вынул носовой платок, шумно высморкался и закричал во тьму зала:

— Скажите Эймсу, что я не смогу с ним встретиться. Мадам, я… Нет, погодите, я поднимусь на сцену.

— Мисс Коллингридж, — тихо сказала Марына, — не могли бы вы зайти ко мне сегодня в четыре часа? Я должна выслушать приговор мистера Бартона без свидетелей.

Жестоко прогонять, но ей нужно встретиться со своей судьбой один на один. Бартон, пыхтя, подошел к ней и схватил за руку:

— Могу ли я пригласить вас на ланч?

— Возможно. Но вначале вы скажете, каков мой жребий?

— Жребий?

— Вы дадите мне неделю?

— Неделю! — воскликнул он. — Я дам вам много недель. Сколько пожелаете!

— Я очень желчный человек, мадам, — говорил Бартон, запихивая в себя обильный обед, подан-

ный в баре «Фаунтин». — Вы простите меня?

— Мне вас не за что прощать.

— Нет-нет, я от всего сердца прошу у вас извинения. Я принял вас за новичка. Более того, я посчитал вас светской дамой, мечтающей выступать на сцене. Я даже предположить не мог, что увижу великую актрису, — он вздохнул. — Возможно, вы — самая великая актриса, которую я видел в своей жизни.

— Вы очень любезны, мистер Бартон.

— Вы хотите сказать, что я глупец. Ладно, я помирюсь с вами.

«Он сказал, что помирится со мной, Хенрик. Все прошло хорошо, Богдан. Рышард, приезжай».

Они сидели в одном из самых изысканных баров города, на углу Саттер и Керни-стрит (популярном среди банкиров, заметил Бартон).

— Как видите, — прибавил он, кивнув на мужчин, суетливо бегавших по залу и заглядывающих в узкую бумажную ленту, которая сползала по стене в корзину на полу. Бартон пояснил: на ленте — тщательно отобранные сведения, обновляющиеся каждую минуту по подводному кабелю. Они необходимы для ведения крупных торговых операций здесь, в Сан-Франциско.

— Новости со всего света передаются через

океаны и поступают на полоске бумаге, которая не намного шире моей сигары.

— Как удобно! — сказала Марына.

— Даже Ралстон захаживал в «Фаунтин». Жаль, что вы не можете с ним познакомиться, он был богатейшим человеком в городе, но полетел бы ко всем чертям (простите за выражение, мадам), если бы не решил поплавать в заливе и не утонул в тот самый день, когда узнал, что его банк лопнул. Проблемы с деловым партнером, — он засмеялся. — Вон с тем парнем, который теребит цепочку золотых часов.

— Может, вернемся к *нашему* делу, мистер Бартон?

— Хорошо, — сказал Бартон.

Беседа началась с разногласия. Бартон считал, что ей не следует открывать свои выступления «Адриенной Лекуврер». «Камилла», по его мнению, подходит намного больше.

Вначале «Адриенна», сказала Марына. А к концу первой недели — «Камилла». Затем одна, возможно, две пьесы Шекспира. Она считала, что следует начать с Офелии или Джульетты, пафос которых был ее второй натурой. Несмотря на то что из всех шекспировских ролей ей больше всего нравилась Розалинда, она предпочла отло-

жить «Как вам это понравится» до того времени, когда исчезнет ее акцент. Что касается комедий Шекспира, сказала она, сложилось впечатление, что публика слушает их иначе. Как бы ожидает большего языкового изящества.

— Я понятно выражаюсь? — спросила Марына.

— Вполне, — ответил Бартон.

— Но, наверное, вы не согласны.

Он улыбнулся:

— Я вижу, с вами трудно будет не соглашаться.

— Пока вы так настроены, мистер Бартон, — оживилась она, — полагаю, нам следует перейти к обсуждению контракта, жалованья и дат, которые вы можете мне предложить. И, конечно же, других актеров — надеюсь, вам удастся найти такого же царственного Мориса де Сакса, с каким я играла в Польше. Еще вы скажете мне несколько слов о местных театральных критиках. Хоть я и не могу пожаловаться на дурное обращение критиков, но никогда их не любила. Они всегда начинают с того, что вас ждет провал. Помню, когда я дебютировала в Имперском театре в Варшаве, критики были настроены крайне скептически. То, что я выбрала «Адриенну Лекуврер», да-да, считалось ужасно самонадеянным поступком. Как я, обычная польская актриса, посмела

прикоснуться к роли, написанной для бессмертной Рашели и ставшей затем собственностью Аделаиды Ристори? Но меня ждал триумф. Благодаря этой роли, меня провозгласили королевой польского театра, и с тех пор меня ждала только удача. — Она улыбнулась. — Триумф становится еще сладостнее, когда приходится пробивать стену скептицизма.

— Вы правы, — сказал Бартон.

Когда они вернулись в театр, Бартон показал ей склад декораций с интерьерами и открытыми пейзажами, к которым были аккуратно прикреплены бирки («Дубовая комната», «Готический дворец», «Английская гостиная», «Старинный венецианский палаццо», «Лесная лужайка», «Балкон Джульетты», «Скромная комната», «Таверна», «Озеро при луне», «Сельская кухня», «Темница», «Французский бальный зал», «Дикий берег», «Зал суда», «Римская улица», «Невольничьи кварталы», «Опочивальня», «Скалистое ущелье»), и склад реквизита (трон, эшафот, царское ложе, деревья, скипетр, колыбель, прялка, мечи, шпаги, кинжалы, мушкетоны, бутафорские драгоценности, шлем, искусственные цветы, кубки, бокалы для шампанского, резиновая гадюка, ведьмовской котелок, череп Йорика); представил ее

главному художнику-декоратору, реквизитору и их пыльным ассистентам; и продемонстрировал все удобства «звездной» гримерной и великолепного артистического фойе. Актеры еще не явились. Бартон заверил, что ей понравится Морис из их труппы, с которым, как она догадалась по бартоновским похвалам («мужественный актер старой школы»), можно легко сработаться, и он довольно доброжелателен.

После этого они вернулись в кабинет Бартона, и он предложил ей неделю, начинавшуюся через десять дней — третьего сентября; главный импресарио «Калифорнии» настаивал на том, чтобы ангажировать на следующей неделе эстрадное представление для толпы, но Бартон охотно уступил бы «Менестрелей из Джорджии», Германа-волшебника и знаменитого френолога профессора О. С. Фаулера театрам «Буш» или «Магуайр». А потом, в октябре, она могла бы получить уже три-четыре недели.

— Еще один вопрос. Ваше имя, сударыня, — разумеется, оно есть в письмах ваших друзей, но будьте так любезны, напишите его для меня, — он взглянул на лист бумаги: — М-А-Р-Ы-Н-А З-А- (очень забавно!) — Л-Е-З-О-В-С-К-А. Да, вспомнил. А теперь, прошу вас, прочитайте его.

Она прочитала.

— Не могли бы вы произнести еще раз фамилию? По-моему, она читается совершенно не так, как пишется.

Она объяснила, что польское перечеркнутое / произносится как *w*, *e* с крючком внизу — как «эн», *z* с точкой вверху — как «ж», а *w* — как «ф» или «в».

— Сейчас попробую еще разок. Зален… нет, Завен… дальше нужно шепелявить, да? — Он засмеялся. — Давайте поговорим серьезно, сударыня. Вы же понимаете, что никто в Америке никогда не научится правильно произносить ваше имя. И вам вряд ли будет приятно слышать, как ваше имя постоянно коверкают, и ведь мало кто даже попытается его произнести, — он откинулся на спинку стула. — Надо бы его укоротить. Может, опустить это *з-о-в*? Что вы на это скажете?

— Я с радостью упрощу свою труднопроизносимую иностранную фамилию, — беззаботно сказала Марына. — Ведь так поступают многие, когда приезжают в Америку? Уверена, что мой первый муж, фамилию которого я ношу, Генрих Заленжовский, — (нет, не буду объяснять, почему он был Заленжовским, а я — Заленжовска, для

янки это уж слишком), — был бы очень доволен.

И, радуясь возможности исказить последний символ власти Генриха над ней, она снова взяла бумагу, написала новый вариант и передала ему обратно.

— З-А-Л… Не будем говорить *l по-польски,* хорошо? — Она кивнула. — З-А-Л-Е-Н-С-К-А. Заленска. Неплохо. Иностранное, но легко произносится.

— Почти так же легко, как Ристори.

— Вы смеетесь надо мной, мадам Заленска.

— Зовите меня мадам Марына.

— Боюсь, что с именем нам тоже нужно будет что-то сделать.

— *Ah, ça non*![75] — воскликнула она. — Это мое настоящее имя.

— Но никто же не сможет его произнести. Неужели вы хотите, чтобы люди говорили «мадам Мэри-Нааа»? Мэри-Наааааа. Не хотите ведь.

— Что вы предлагаете, мистер Бартон?

— Мэри не пойдет. Слишком американское имя. Мари — французское. А что, если изменить одну-единственную буковку? Смотрите.

Он написал: М-А-Р-И-Н-А.

— Но так мое имя звучит по-русски! Нет, ми-

---

[75] Примечания: 75
Только не это! *(фр.)*

стер Бартон, у польской актрисы не может быть русского имени. — Она чуть не сказала: «Русские — наши угнетатели», но тут же поняла, как ребячливо это прозвучало бы.

— Почему бы и нет? В Америке никто не заметит разницы. И люди смогут его произносить. Они будут говорить: «Мари-ина». Подумают, что итальянское. Звучит приятно. Что вы на это скажете? Марина Заленска, — он лукаво взглянул на нее. — Мадам Марина.

Она нахмурилась и отвернулась.

— Ну что ж, договорились. Сегодня после обеда я составлю контракт. А сейчас позвольте провозгласить тост за это знаменательное событие! — Он достал из ящика стола бутылку виски. — Должен сказать вам, что штрафую на пять долларов всех моих работников, если застаю их за распитием спиртного в театре. Актеров — на десятку, — он наполнил бокалы до половины. — Конечно, за исключением Эдвина Бута. Для бедняги Бута, и я считаю это справедливым, всегда делается исключение. Чистое или с водой?

Марина Заленска. Марина Заленска. Марина — что там такое с Эдвином Бутом? — Заленска.

— Что вы сказали? А, без воды.

Марина, мать Питера. Фамилию Питера тоже

придется изменить.

«Так что все решено, Хенрик. Даты, роли, необыкновенно щедрое жалованье, мое исковерканное имя. Нет, этот человек — вовсе не пьянчужка. И когда я вынула сигарету, он просто сказал: „А!“ — и полез за спичками. Он — первый американец на моей памяти, который не был шокирован тем, что женщина курит. Кажется, мы хорошо поладим с этим мистером Бартоном. Я ему нравлюсь, он немного побаивается меня и нравится мне: он проницателен и искренне любит театр. Я обедала с ним и его очаровательной женой — простая домашняя еда: кукурузный суп-пюре, крабы со специями, бараньи отбивные в томатном соусе, фаршированный картофель, жареные цыплята, банановое мороженое, рулет с джемом, кофе и, конечно, расставленные по столу в высоких бокалах свежие черенки сельдерея, которые можно было грызть *ad libitum*[76] по ходу всей трапезы. Вы бы улыбнулись, увидев, какой хороший у меня аппетит».

Марына подошла к зеркалу — единственному откровенному другу актрисы — и признала, что похудела с тех пор, как уехала из Польши, хотя

---

[76] Примечания: 76
По желанию *(лат.).*

вряд ли будет казаться слишком худой, вернее тощей, в любом из привезенных костюмов; ее лицо постарело, особенно вокруг глаз, хотя она знала, что на сцене, благодаря привычному волшебству грима и газовых ламп, ей можно будет дать не больше двадцати пяти. «Конечно, — писала она Хенрику, — жизнерадостный задор легкомысленной девчонки теперь уже недоступен мне, но восторг и энтузиазм остались нетронутыми. Мне кажется, я способна безупречно подражать эмоциям, которые ускользают от меня в реальной жизни. Я никогда не была великой прирожденной актрисой, но я неутомима и сильна».

За четыре дня до премьеры, когда начались репетиции, Марына переехала в роскошный номер-люкс на верхнем этаже отеля «Палас». Это была идея Бартона — его блажь. Как он сам объяснил: «Люди услышат, что вы остановились в „Паласе“, и обратят на вас внимание. Мистер Ралстон всегда размещал своих гастролеров в „Паласе“. Мы же — второй театр в Америке. А „Палас“ — величайший отель в мире». Ей нравились отели: жизнь в отеле — любом отеле — означает (и означала вновь), что Марына выступает в театре. А то, что она принимала роскошь как должное после всех лишений последних месяцев,

чувствуя любопытные взгляды с другой стороны огромного Большого двора с его восьмиярусным сводчатым потолком из янтарного стекла или сталкиваясь с кем-нибудь в зеркальных стенах гидравлического лифта, было уже своего рода представлением. Расклеенные по городу афиши возвещали о дебюте великой польской актрисы Марины Заленской, несмотря на то что Бартону так и не удалось залучить ни одного журналиста из ежедневной газеты, который взял бы у нее интервью. Члены польской общины Сан-Франциско в предвкушении неизбежного американского триумфа своего национального «сокровища» присылали безделушки, книги и цветы, но самый дорогой подарок уже поджидал Марыну на столе, когда она регистрировалась в отеле: маленькая, обитая бархатом шкатулка с ожерельем из черного серебра и подвесками — драгоценный дар бабушки Богдана, к которому прилагалась карточка: «От анонимного (второе слово зачеркнуто, а сверху написано „презренного“) поклонника».

Марына с радостью носила эти чудом вернувшиеся траурные драгоценности до самого понедельника, когда она надела бриллианты Адриенны.

Стремясь побаловать свою удивительную «на-

ходку», Бартон предложил четыре репетиции «Адриенны» в полном составе, включая генеральную репетицию в день открытия. Обычно репетировали только новые пьесы. Для репертуарных же считалось вполне достаточным нескольких часов в день спектакля с беглой читкой всех монологов и просмотром «физических действий». Марына заметила легкое раздражение коллег-артистов, которым пришлось четыре дня подряд приходить в театр в десять утра; для нее же в этих днях не было ничего рутинного. Утро, когда Марыну впервые впустили в «Калифорнию» через служебный вход, казалось ей не менее знаменательным, чем тот далекий вечер, когда она, младшая сестра Стефана, впервые вошла в театр через дверь для актеров. И швейцар Краковского театра, в котором Стефан играл «Дон-Карлоса», был таким же брюзгливым и медлительным, как и местный швейцар со зловещим именем Честер Кэнт[77]. Все театры одинаковы, весело подумала она: те же запахи, шутки и зависть. Привратник театра «Глобус» вполне мог послужить прототипом для бессмертного ворчуна из макбетовой челяди, который,

[77] Примечания: 77
От негативной формы англ. глагола *can't* означающей запрет.

не торопясь открывать ворота замка каким-то шумным полуночным визитерам, возомнил себя привратником ада.

— Ваш шекспировский привратник, — сказала она Джеймсу Гленвуду, своему любезному Мишонне, который тоже пришел рано утром на репетицию, но повздорил с ворчливым швейцаром, судя по шуму в фойе. — *«Мне хотелось от каждой профессии напустить сюда таких, которые шествуют цветочною тропой к неугасимому потешному костру»*[78], — приветливо продекламировала Марына. — Но будем надеяться, что к нашему мистеру Кэнту это не относится, — заметив смущение на лице Гленвуда, она добавила: — «Макбет», 2-й акт.

Гленвуд напрягся.

— Я вижу, вы не знаете, что мы никогда не произносим этого имени. — Он громко закашлялся. — Ни как название пьесы, ни как имя персонажа. Мы не произносим его. Никогда.

— Как интересно! Это что, американское суеверие?

— Для вас, может, и суеверие, — сказала Кейт Иген, их престарелая принцесса Бульонская, ко-

---

[78] Примечания: 78
«Макбет», акт II, сцена 3 *(пер. М. Лозинского).*

торая только что вошла в фойе вместе с Томасом — Томом — Дином, флегматичным Морисом.

— Вы хотите сказать, что американские актеры, играя эту пьесу, не могут произносить имя Мак…

— О, прошу, не повторяйте его! — сказал Дин. — Конечно, три ведьмы должны сказать: *«Где нам сойтись? На пустыре…»* — ну, дальше вы знаете[79], а также Банко, Дункан и все остальные, когда этого требует роль. Но за пределами сцены — никогда!

— Но скажите, ради бога, почему?

— Потому что эта пьеса — про́клятая, — объяснил Дин. — Она приносит несчастье. Всегда. Лет тридцать назад в Нью-Йорке проходило две постановки этой шотландской пьесы в одно и то же время: одна — с Макреди, который считался самым талантливым исполнителем шекспировских пьес после Кина, а другая — с нашим великим Эдвином Форрестом. Некоторым это очень не понравилось. Видимо, среди них было много ирландцев, которые заявили, что англичанин, играющий ту же самую пьесу в другом театре, — оскорбление для нашего американского актера. Они собрались возле этого театра

[79] Примечания: 79

«Макбет», акт I, сцена 1 *(пер. Б. Пастернака).* Дальше: «Макбет там будет к той поре…»

в день первого выступления Макреди и начали выдирать из мостовой булыжники и швырять в окна, а затем вышибать двери. Милиция открыла огонь, и в толпе погибло несколько десятков человек.

— Что ж, тогда я обязательно увешаюсь амулетами белой магии, когда буду играть леди… — Марына окинула шаловливым взглядом обеспокоенных коллег. — Шотландскую леди.

Рышард не отважился спросить, когда приедет Богдан. Марына надеялась, что он в конце концов продаст ферму Фишерам, поскольку убытки будут несколько раз покрыты ее заработками за первую и четыре последующие недели, которые Бартон предложил ей в октябре. А пока что единственной соперницей Рышарда была мисс Коллингридж, которая (в кои-то веки!) не дожидалась в гримерной конца репетиции на тот случай, если Марына захочет еще немного поработать над ролью.

— Она почти влюблена в вас, — проворчал он.

— Не почти, а влюблена, в некотором роде.

— Значит, сердца наши бьются в унисон! Кто бы мог подумать, что у вашей маленькой учительницы и у меня так много общего!

— Рышард, не жалей себя. Ведь мисс Коллин-

гридж не жалеет.

— Мисс Коллингридж не разочарована. Мисс Коллингридж не ждет от своего идола большей близости, чем та, которая уже есть.

— Ах, — воскликнула она, — неужели я действительно тебя разочаровала?

Рышард печально покачал головой:

— Я — болван. Пристаю к вам. То, что я сказал, непростительно. Я ухожу. — Он ухмыльнулся. — До послезавтра.

— А что бы ты подумал, — сказала она, — если бы я дала тебе надежду? Если бы я призналась, что мои чувства вырвались на свободу и… — Она покраснела. — Возможно, тебе и правда лучше уйти. Я сижу здесь одна, тревожусь о том, что может разболеться голова, натираю лоб и виски одеколоном, а затем вдруг понимаю, что думаю не об Адриенне, Маргарите Готье или Джульетте, а о тебе. И мои физические ощущения похожи на страх сцены: учащается дыхание, я не знаю, куда девать руки, и чувствую волнение иного рода, о котором скромность запрещает мне упоминать.

— Марына!

Она подняла руку:

— Но император — мой разум — еще не сказал «да». Потому что я спрашиваю себя: «Любовь ли

это? Или женское желание отдаться назойливому мужчине?» Боюсь, ты почти сломил меня, Ричард, — она произнесла его имя на американский манер, чтобы досадить ему. Небольшая пощечина.

— Мари-ина, — сказал он нежно и прижал руку к сердцу.

Марына была рада, что Богдан еще не с ней, и с опасением ожидала его приезда на премьеру. И все же она еще не сознавала, что вскоре придется выбирать между двумя мужчинами. Но когда она представляла, как они оба, готовые угодить ей, стоят возле артистической уборной, пока она наносит грим и дает указания швее, приходила в голову мысль: «Кого из них я хотела бы увидеть?»

Потом, в субботу, пришла телеграмма из Анахайма:

> НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ТЧК УПАЛ ЛОШАДИ ТЧК НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛ НО ВЕЗДЕ СИНЯКИ ВКЛЮЧАЯ ЛИЦО РУКИ ТЧК СОВЕРШЕННО НЕПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ВИД ТЧК УВЫ САН-ФРАНЦИСКО ПОКА ОТМЕНЯЕТСЯ

Марына не сказала Рышарду, как была раздоса-

дована; себе самой она созналась, что почувствовала скорее злость, чем облегчение. Если Богдан не может приехать на премьеру, значит, о чем-то догадывается… «Ну и пусть», — решила она. Но что она хотела этим сказать?

В воскресенье ночью Марыне приснилось, как перед самым выходом на сцену Бартон сообщает, что она должна играть по-русски.

В понедельник, за три часа до начала спектакля, Марына сидела в гримерной, совершая свои маленькие ритуалы. Рышард, нервничая, словно муж, стоял рядом в своих новых белых лайковых перчатках и лакированных ботинках. Он надеялся, что подобрал нужную интонацию, чтобы поддержать и успокоить ее. (Он вспомнил такой взгляд на выразительном, ироничном лице Богдана.) Он сопровождал ее от самого отеля, видел, как она занималась с костюмершей и прикалывала булавкой телеграммы из Польши к пробковому коврику на стене рядом с зеркалом. Сверху повесила особо дорогие — от Хенрика, матери и Йозефины, Барбары и Александера, Тадеуша, Крыстыны и других молодых актеров Имперского театра. Затем вышел и стал ходить взад и вперед по коридору. В половине восьмого Рышард вернулся в гримерную, изрядно нахва-

тавшись сочного театрального жаргона, и сказал, что освещение уже готово (с помощью факела и длинного шеста осветитель зажег «бордюры» и «рампу» перед занавесом и «засинил свет»), двери открыты, и зрители — он заметил среди них немало соотечественников — один за другим входят в театр.

Поскольку Адриенна в первом акте не появляется, у Бартона было вдоволь времени пожаловаться на публику. Действительно, зал не заполнился до конца, но пришло много уважаемых театралов, а также «первая» американская Джульетта — Роуз Эдвардс, которая была ангажирована «Калифорнией» играть на следующей неделе главную роль в неувядающей британской мелодраме «Ист-Линн».

— Вот погодите, Роуз увидит *вас*! — воскликнул Бартон. — Она — хорошая актриса и вовсе не дура. Возьмет и скажет мне, что не рискнет выступать после вас, и вы сможете получить ее неделю.

— Сомневаюсь, что преуспевающая актриса способна на такое заявление, — сказала Марына с улыбкой. — Вы знаете, как поднять мне настроение, мистер Бартон.

«Но почему я не боюсь?» — спросила себя Марына, прогнав обоих мужчин, чтобы внутренне

подготовиться, осмотреть себя в зеркале и дождаться, когда ее вызовет мальчик во втором акте. Стоя за кулисами, она по-прежнему не замечала ни одного из тревожных симптомов сценического страха: ни вспотевших ладоней, ни бешеного сердцебиения, ни спазмов в желудке. Марына подумала, что, наверное, сошла с ума, если настолько уверена в том, что все пройдет хорошо. А потом поняла, что боится как никогда в жизни, но этот страх — снаружи, словно немыслимо уплотненный воздух. Он окутывал ее — холодный страх без физических отголосков, лишь кожу стянуло, — и внутри ей было спокойно и просторно. Более чем просторно для всех тех слов, которые она несла в себе: английских, под ними слова пьесы на польском, а под теми — французские слова оригинала, которые она заучивала, когда впервые готовила эту роль в Варшаве… но все должно было оставаться внутри, защищенное от страха. Вся ее кожа, от головы до ступней, служила преградой для железной брони страха; верхняя часть тела — рот, язык и губы, шея, плечи и грудь — представляла собой сосуд для расплавленных слов, которые должны политься по-английски, когда она выйдет на сцену.

Она начнет (как снова напомнила себе перед

выходом на свет) без той бури оваций, которой в Польше неизменно встречали ее выход, останавливая пьесу и несколько минут не давая произнести первую строку. Если не считать ее соотечественников, аплодировать ей будут кратко и вежливо. Она видела, что даже когда играл великий Бут, американская публика не разражалась аплодисментами после знаменитых сценических монологов, которые многие знали наизусть. («В опере — да», — говорил Бартон.) Как эта публика, этот новый зверь выражает восторг, безразличие, неудовольствие, покорность? Она знала, что означают польские аплодисменты, польский кашель, шепот и ерзание на креслах. Но эта публика казалась слишком спокойной. Что это означает? Когда она начала читать басню о двух голубях *(«Два голубя нежно любили друг друга…»)*, кашель прекратился; когда она закончила, на мгновение воцарилась тишина, а затем разразилась буря аплодисментов, криков и возгласов. Том Дин пять раз пытался начать слова Мориса. Он казался совершенно безутешным. По окончании акта Марына ушла со сцены в трансе, а зрители ревели, рукоплескали и топали ногами. В антракте Рышард бродил по фойе вместе с Бартоном и мисс Коллингридж. «Чудесно! Чудесно!»

— слышалось со всех сторон, поднималось над оживленной болтовней, взаимными поклонами, улыбками, рукопожатиями и взмахами рук. Мужчина в цилиндре приветствовал Бартона словами: «Теперь она стоит тридцати тысяч долларов в год!» — главный редактор «Ивнинг Пост», как Рышард узнал от Бартона впоследствии, а его импозантная жена в вечернем платье со шлейфом сказала, что, хотя у мадам Заленской есть небольшой иностранный акцент, она должна сохранить его, потому что это «сама мелодичность». Мисс Коллингридж не ответила на коварную ухмылку Рышарда.

В третьем акте Марыну вынесла на сцену волна энергии, которая, казалось, исходила из самого ее нутра. Она чувствовала ореол над головой, была ловкой, подвижной и неуязвимой. В темной беседке — классическая сцена первой встречи Адриенны с ее соперницей в любви к Морису — принцесса Бульонская подходит к Адриенне со свечой в руке, чтобы распознать личину незнакомки, которая великодушно предложила ей свою помощь, когда принцесса оказалась в компрометирующей ситуации. Чуткая и умиротворенная, Марына наблюдала, как приближается свеча, пламя которой было обра-

щено к ее внутренней силе, пока охи из зала (они, по счастью, перекрыли восклицания Кейт Иген «О черт!» и «Простите!») не обратили ее внимание на то, что загорелся уголок ее вуали. Не понимая, извинялась ли Иген за бранное слово или за этот казус, Марына сбросила вуаль на пол, одним быстрым движением закрыла лицо муаровой шелковой шалью Адриенны и протянула руку, чтобы отвести порочную принцессу в безопасное место. Некоторые зрители решили, что так и есть в пьесе; другие же аплодировали дерзкому постановочному эффекту, придуманному польской актрисой.

Ее вызывали аплодисментами в конце третьего и четвертого актов.

Произношение слов, которому она так долго училась, было лишь частью целого потока ритмов ее тела. Что же касается неизбежной переклички некоторых строк с ее собственными чувствами (какой актер не испытывал этого независимо от роли?), то лишь раз, почти в самом конце, Марына позволила себе задуматься над словами. Когда Адриенна говорит в бреду: *«В пьесе есть строки, которые я могу сказать перед всеми, и никто не поймет, что я обращаюсь к нему»*, Марына подумала: «Если меня ждет успех,

то я посвящаю эти слова любви Рышарду».

«Хитрая уловка, не правда ли?»

Нужно непременно кого-то любить.

Она исполняла роль Адриенны так же хорошо, как всегда, — а триумф превзошел все ее ожидания. Одиннадцать вызовов на сцену — одиннадцать! А затем сотни поклонников столпились за кулисами, чтобы поздравить ее. Там были все поляки (кроме ее вороватого приятеля, хотя она была уверена, Халек присутствовал в зале), они широко улыбались, болтали и обнимались. Старый ворчун капитан Знанецкий не смог удержаться и не пожурить ее за русификацию имени, но затем расплакался от радости и гордости; Марына тоже плакала и крепко обнимала его. Но наибольшее удовольствие доставило ей преклонение женщины с каштановыми волосами, в парчовом вечернем платье и туфлях. Она чуть ли не первой пришла в артистическое фойе и представилась как Роуз Эдвардс.

— Я у ваших ног, мадам, — сказала она.

Только через два часа после окончания спектакля Марына смогла наконец выйти из театра.

Возвратившись в отель вместе с Рышардом, она остановилась у столика регистрации и отослала Богдану телеграмму, которая состояла из един-

ственного слова: «ПОБЕДА».

А через полчаса после того, как они пожелали друг другу спокойной ночи в холле, Рышард, переехавший в «Палас» двумя днями ранее, пришел к Марыне в ее номер-люкс. Она ждала его. Она знала, что ждет его, потому что не разделась перед сном и не начала готовить один из своих довольно неприглядных «секретов красоты»: квадратики коричневой бумаги, вымоченные в яблочном уксусе, которые она прикладывала на ночь к вискам, чтобы кожа вокруг глаз оставалась гладкой и без морщин. Она знала, что ждет его, потому что убавила свет в бра ровно настолько, чтобы комната купалась в полумраке. Она знала, что ждет его, потому что уже давно смотрела на огромную кровать из красного дерева с изголовьем, доходящим до середины пятнадцатифутовой стены, и впервые спросила себя, что же ей не нравится, а затем убрала сначала одну, потом две и, наконец, три из шести пухлых подушек на гусином пуху и затолкала их на дно платяного шкафа в гардеробной.

Они начали целоваться, пока она еще закрывала дверь; они целовались, когда она вела его в спальню, — быстрые жесткие поцелуи, которые напоминали слова, шаги: она чувствовала, что

ведет его за собой губами. Когда они упали на кровать, все еще одетые и закрытые, их тела с силой прижались друг к другу, а головы отстранились. Губы Марыны осиротели. А тем временем переплетенные руки и ноги пытались найти более удобное, свободное положение.

— Кажется, я стесняюсь, — прошептала она ему в лицо. — При тебе я чувствую себя маленькой девочкой.

Она встала, чтобы раздеться, и Рышард схватил ее за руку:

— Не снимай пока одежды. Я знаю, как ты выглядишь. Я так долго жил с твоим телом в воображении. Твоя грудь, бедра, врата любви… Я могу рассказать, какие они.

— Но я все же не девочка, — сказала она.

Он отпустил ее руку и встал. Порознь они торжественно сняли с себя одежду. Он сжал в объятиях ее гладкое, стройное тело.

— Я могу отдать тебе сердце, Рышард. Но не могу отдать жизнь. Я не Адриенна Лекуврер, — она засмеялась, — а зрелая актриса, которой нравится представлять себя этой импульсивной девчонкой.

Он лег на кровать и раскрыл объятия. Она легла на него сверху.

— Ты пахнешь мылом, — прошептала она.

— Теперь ты меня смущаешь, — сказал он.

— Мы так долго шли к этому ложу.

— Марына, Марына…

— Если бы ты произнес мое имя только один раз, я решила бы, что ты разлюбил меня.

— Марына, Марына, Марына…

— Когда чего-нибудь слишком долго ждешь, это становится… О!.. — Она глубоко вздохнула.

— Кто сказал, что мы слишком долго ждали? — сказал он.

— Довольно вопросов! — простонала она и впустила его в себя глубже, обвив его всеми своими членами.

После того как они затопили друг друга наслаждением и, на время разъединившись, легли рядом, Рышард спросил, не презирает ли она его за то, что, хотя он влюблен в нее, у него было много других женщин.

— Скажи мне честно, Марына.

Она ответила ему неопределенной, лучезарной улыбкой.

По правде говоря, Рышард никогда до конца не верил, что однажды Марына станет принадлежать ему. Самая искренняя любовь к Марыне была приправлена острым ощущением того,

что его шансы на успех весьма невелики. Но он не мог переступить через желание. Подобно множеству писателей, Рышард на самом деле не верил в настоящее, только в прошлое и будущее. И ему очень не хотелось желать того, чего, как он считал, никогда не добиться.

Ты получаешь то, чего хочешь, и все становится на свои места.

Она уснула после того, как они позанимались любовью еще раз, — уснула, положив голову ему на грудь и забросив ногу на его бедра. Рышард по-прежнему желал Марыну, но ее пришлось оставить в покое — она, должно быть, устала. Он тоже попытался заснуть, но неутоленное желание и радость не давали сомкнуть глаза. Остаток ночи он то и дело соскальзывал в полудрему, придерживая на себе тело Марыны, а на самом краю сна вновь пробуждался от мысли: «Я по-прежнему не сплю». Он забылся на рассвете, очнулся несколько часов спустя и обнаружил, что она по-прежнему лежит на нем. Он попробовал пошевелиться, не разбудив ее; ей нужно хорошенько выспаться, чтобы собрать все силы перед очередной «Адриенной» сегодня вечером.

Но Марына не спала и оśыпала его поцелуями.

— Ах, сколько во мне жизни! — воскликнула

она. — Ты вернул мне мое тело. Какой сегодня будет спектакль! И все наши польские друзья, которые, наверное, ломали голову над тем, почему Богдана нет в Сан-Франциско, поймут, что все из-за тебя. Мой Морис наверняка заметит, когда я прильну к его груди, чтобы прочитать басню о двух голубках, что Адриенна уже не та застенчивая девушка, какой была вчера. Мистер Бартон будет удивляться: «Что произошло с этой горделивой дамой из Польши? Успех совершенно вскружил ей голову». Голову! — она склонилась над ним и принялась целовать ему пах.

— Польская дама влюблена? — спросил Рышард.

— Польская дама по уши — безрассудно — неприлично — безумно — влюблена!

После еще двух представлений «Адриенны», в четверг вечером, Марына дала премьеру «Камиллы», а после третьей «Камиллы» в субботу днем завершила неделю еще одной «Адриенной». Все эти дни зал был полон, овации были бурными и продолжительными, а толпа пышно разодетых поклонников, которых ликующий Бартон приводил за кулисы, становилась все многочисленнее. Марына обращалась к ним по имени после первого же визита, и текучая энергия ее

игры быстро испарялась под напором этого обмена любезностями в артистическом фойе, — она была приятна в общении («Да, спасибо, благодарю вас… ах, вы так любезны»), всем довольна и неприступна. «Если бы они только знали, какую цену я заплатила — и буду платить — за то, что делаю!» А теперь у нее появился еще один секрет: к обычной отрешенности, наступающей после спектакля, добавилось сексуальное напряжение. Но сначала нужно отослать доброжелателей, отдать их цветы костюмерше и реквизиторам, чтобы освободить место для завтрашних цветов, и только после этого наконец вернуться с Рышардом в отель.

Самым большим из цветочных подношений, скопившихся в гримерной перед субботним выступлением, была гигантская корзина в форме башни. В ней уложили рядами красные, белые и голубые цветы. С верхушки свисал квадратный лист пергамента с позолоченными краями.

— Стихи, — сказала Марына. — Неподписанные.

— Ну конечно! — воскликнул Рышард. — Я так и знал. Ты пленила сердце еще одного писателя. Дай мне его стихи, и я скажу со всей объективностью, есть ли у моего нового соперника талант.

— Нет, — рассмеялась Марына, — я сама прочитаю их тебе. Вряд ли они труднее сонетов Шекспира, и, к счастью, здесь нет мисс Коллингридж, которая стала бы исправлять мое произношение.

— Фортуна на моей стороне!

— *Là, mon cher, tu exagères*![80] Ревнивцы могут быть интересны на сцене, но в реальной жизни они вскоре становятся ужасными занудами.

— Я и есть зануда, — сказал Рышард. — Все писатели — зануды.

— Рышард, любимый мой Рышард, — воскликнула она, и он застонал от счастья, — ты когда-нибудь перестанешь думать только о себе и научишься просто слушать?

— Да я только это и делаю!

— Тссс…

— Но сначала я поцелую тебя, — сказал он.

Они поцеловались, и им не хотелось размыкать губы.

— Ты по-прежнему намерена мучить меня стихами моего соперника?

— Да! — Она снова взяла пергамент, вытянула перед собой и продекламировала голосом, который польские критики называли ее «серебряным

---

[80] Примечания: 80
Дорогой, ты преувеличиваешь! *(фр.)*

регистром»:

Не в ореоле славы и любви,
А милой чужестранкой Вы пришли.
Был холоден вначале наш прием —
Симпатий Вы не отмечали в нем;
Вос…

— Эх, мадам Мари-ина, милая мадам Мари-ина, — проворчал Рышард. — Симпатий, а не *синпатий*!

— Я так и сказала, болван! — воскликнула Марына и наклонилась поцеловать его, а затем продолжила:

Воспринимали Вас не как звезду,
А ученицу в творческом кругу.

— Ага, мой соперник — всего лишь театральный критик!

— Тихо! — сказала она. Согнув правую руку, Марына два раза легонько ударила себя в грудь большим и указательным пальцами — освященный веками драматический жест, — нарочито откашлялась и прочитала своим знаменитым бархатным голосом:

Как изменилось все с тех пор! И мы

Искусством Вашим вмиг покорены.

Вас узы чуждой речи не страшат…

— Узы, — презрительно повторил Рышард.

— Рышард, я все равно прочту!

Вас узы чуждой речи не страшат,

И зависть порождает Ваш талант.

С восторгом мы признали Ваш успех,

Который удивил немало всех.

— А сейчас этот маленький театральный критик поцелует край твоего платья.

— Почему бы и нет?

«Пусть Польша…»

Она запнулась.

— Что случилось, Марына, любимая?

— Я… я не знаю, смогу ли прочитать последний куплет.

— Что этот подлец говорит о тебе? Разорви сейчас же!

— Нет, я дочитаю.

Пусть Польша только в сердце впредь живет,

Америка — отныне Ваш оплот!

Она положила пергамент и отвернулась.

Ты получаешь то, чего хочешь, и впадаешь в отчаяние.

— Марына, — сказал Рышард. — Милая Марына, прошу тебя, не плачь.

Ранним утром, на следующий день после открытия сезона, семеро журналистов разбили беспокойные враждующие лагеря в гигантском вестибюле отеля «Палас»; Марына спустилась в полдень. Рышард подошел к ним часом ранее и сказал, что мадам скоро будет, а затем отправил телеграмму редактору «Газеты польской», анонсировав свой предстоящий полный отчет об американском дебюте Марыны, который наверняка заставит польские сердца затрепетать от гордости. Узнав через день от редактора, что конкурирующая варшавская газета послала своего сотрудника в Сан-Франциско для освещения этого события, Рышард опередил его, наспех написав не одну, а целых две длинных статьи: в первой подробно описывалась игра Марыны, а во второй — ее восторженный прием в день премьеры зрителями и критиками, которые, по его выражению, «все, как один, были потрясены женскими чарами и несравненным гением нашей польской дивы». Его читателям не нужно напоминать, кто такая Марына, но следует рассказать, какой

великолепной актрисой она стала.

То, кем (чем) она была, стало главной темой в остроумной беседе Марыны с потрясенными местными журналистами, что поджидали ее в то утро в отеле «Палас»; в последующие дни появилось множество других. Интервью влекли за собой «корректировку» прошлого, начиная с возраста (она сбросила себе шесть лет), образования (школьный учитель латыни превратился в профессора Ягеллоновского университета), начала ее сценической карьеры (Генрих стал директором влиятельного частного театра в Варшаве, где она дебютировала в семнадцать лет) и причин, по которым она приехала в Америку (посещение Выставки столетия), а затем в Калифорнию (поправить здоровье). К концу недели Марына уже сама начала верить в некоторые из этих историй. В итоге у нее появилось множество причин для эмиграции. «Я была больна». (Действительно ли?) «Я всегда мечтала о том, чтобы выступать в Америке». *(Всегда* ли я мечтала вернуться здесь на сцену?)

Были и ненужные выдумки. Марына знала, почему сказала, что ей тридцать один: ведь ей уже стукнуло тридцать семь. И почему сказала, что только полное истощение, вызванное

многолетней изнурительной работой в Польше, могло склонить ее к деревенскому уединению («Вы можете представить себе, джентльмены, что я десять месяцев провела среди кур и коров?» — спросила она со смехом): она не хотела, чтобы кто-нибудь причислил ее к любителям «простой жизни». Но зачем она сказала, что их ферма находилась рядом с Санта-Барбарой? Никто не подумал бы ничего плохого, если бы она призналась, что ферма располагалась за Анахаймом. И зачем рассказывать разные истории разным интервьюерам? Обычно ее отец был выдающимся филологом-классиком, по-прежнему преподававшим в благородном и древнем Краковском университете, который, когда его дочь «заболела театром, так вы это называете?» (мило сказала она), яростно воспротивился ее стремлениям сделать актерскую карьеру («но я была полна решимости и уехала из Кракова в Варшаву и дебютировала там в 1863 году»); но также он неоднократно становился горцем — единственным ребенком в семье, неприспособленным к жизни мечтателем, заучивал стихи великих польских поэтов во время долгих одиноких недель, когда пас овец в Высоких Татрах, и, уехав из родной деревни в Краков в надежде поступить в универ-

ситет, сумел найти лишь очень скромную работу, так и не приспособился к городской жизни и не дожил до того дня, когда смог бы гордиться своей дочерью-актрисой. Наверное, просто устаешь все время пересказывать одно и то же.

Она могла бы сказать, что всего лишь «адаптирует» воспоминания, чтобы сделать себя более понятной: подобное проделывает любой иностранец. («Да, — говорила она, — да, особенно приятно, что мой американский дебют состоялся в Сан-Франциско».) Или признаться с улыбкой, что придумывание небылиц — обычное развлечение для актрисы. Она слышала от одного из старейших актеров Имперского театра, что Рашель рассказывала журналистам о себе самые невероятные вещи, когда приезжала выступать в Варшаву двадцать лет назад. («Подобно многим людям с чрезвычайно богатым воображением, — как с огромной деликатностью выразился этот очаровательный человек, — Рашель была склонна к тому, что у обычных людей называют ложью».) Но когда вы так часто пересказываете истории из своей жизни, бывает нелегко вспомнить, какие из них правдивы, а какие — нет. К тому же все они отвечают какой-то внутренней правде.

Когда становишься иностранцем, невозможно, да и неблагоразумно выкладывать все начистоту. Некоторые факты следует подчеркивать, если они соответствуют местным представлениям о приличиях (она знала, что американцы любят, когда им рассказывают о первоначальных тяготах и неудачах тех, кто ныне увенчан богатством и успехом), а о других фактах, имеющих значение только на родине, лучше и вовсе не упоминать.

На следующее утро после дебюта три кандидата на роль личного импресарио Марыны также поджидали ее в вестибюле «Паласа», угрюмо переглядываясь, но Марына подписала контракт с первым же претендентом — Гарри Г. Уорноком, который явился к ней с рекомендацией Бартона. Рышард был встревожен, как он позже сказал Марыне, с какой быстротой она приобрела этого профессионального супруга. «Супруга?» Разумеется, он ему не нравится, неуклюже продолжал Рышард, но дело не в этом. Осознает ли она, что отныне Уорнок всегда будет вместе с ней (вместе с нами, имел он в виду), уверена ли в том, что соседство этого человека сможет долго терпеть и т. д., и, наверное, Марына не понимает, какое важное решение приняла, поскольку в польском театре личных импресарио не было. Но Уорнок

оказался очень убедителен: он предложил короткое турне в конце месяца по западной Неваде (Вирджиния-Сити и Рено) и северной Калифорнии (Сакраменто, Сан-Хосе), дебют в Нью-Йорке в декабре, а затем — четырехмесячные гастроли по стране. А Марына была нетерпелива и опьянена триумфом. Они договорились насчет репертуара. Марыне хотелось показать главным образом Шекспира — она играла четырнадцать шекспировских героинь в Польше и планировала заново выучить все эти роли — и также предложить «Адриенну Лекуврер» и «Камиллу», а в более провинциальных общинах, без которых не обойтись на любых больших гастролях, — несколько мелодрам («Но только не „Ист-Линн“!» — сказала она; «За кого вы меня принимаете, мадам? Уж я-то разбираюсь в артистах».) Ей пообещали колоссальные гонорары. По всем вопросам они приходили к общему мнению, пока Уорнок не упомянул, что очень обрадовался, когда один из ее польских друзей проговорился вчера, что она — графиня. Он мог бы извлечь из этого большую выгоду и сделать ее звездой!

— Нет уж, мистер Уорнок! — Марына поморщилась. — Это совершенно неправильно. — За такое осквернение своей фамилии брат Богдана

никогда бы ее не простил. — Это титул не мой, а моего мужа, — сказала она и, надеясь разбудить демократа в этом толстяке с бриллиантовой булавкой в галстуке, прибавила: — Мне достаточно звания артиста — актрисы.

— Мы говорим не о вас, мадам Марина, а о публике, — любезно сказал Уорнок.

— Но на афишах будет стоять мое имя! Как я смогу быть одновременно Мариной Заленской и графиней Дембовской?

— Очень просто, — сказал Уорнок.

— В Польше это было бы немыслимо! — воскликнула она и тут же поняла, что проиграла спор.

— Но мы в Америке, — сказал Уорнок, — и американцы любят иностранные титулы.

— Но это… это так вульгарно, называться графиней в профессиональной жизни.

— Вульгарно? Какой ужасный снобизм, мадам Марина! Американцы никогда не обижаются, если им говорят, что предмет их любви вульгарен.

— Но американцы любят звезд, — сказала она, строго улыбнувшись.

— Да, американцы любят звезд, — ответил он и укоризненно покачал головой. — И если они вас полюбят, то вы сможете заработать кучу денег.

— Мистер Уорнок, я — не с другой планеты. В Европе публика обожает звезд. Людям нравится поклоняться, об этом мы знаем. Однако в Польше, равно как во Франции и немецкоязычных странах, драма — это прежде всего вид изящных искусств, и наши основные театры, которые поддерживает государство, служат идеалу…

Пока Марына, сидя вместе с Уорноком в приемной «Паласа», спокойно пыталась обрисовать импресарио своей будущей американской карьеры тот престиж и привилегии, которые дает карьера в варшавском Имперском театре: надежная работа и постоянное продвижение, освобождение от службы в царской армии, а после выхода в отставку — гарантия хорошей пожизненной пенсии («Актер — гражданский служащий», — сказала она; «Что-что?» — переспросил он), — Роуз Эдвардс металась по кабинету Бартона.

— Вы знаете, Энгус, что я не дура, и я скажу вам напрямик: я не могу играть после такого гения. Да еще в старой доброй «Ист-Линн»! Критики разнесут меня в пух и прах. Вы же не станете хуже ко мне относиться, если я отменю свои выступления на следующей неделе? Нет, вы же мой друг. Скажите, что я заболела, Энгус. И не могли бы вы по старой дружбе оплатить мой

счет в отеле и покрыть расходы на приезд сюда и комфортное проживание в рамках ангажемента на следующую неделю? Да? Нет?

— Дорогая моя Роуз! — ласково прорычал Бартон. — Завтра же я объявлю во всех газетах, что вы по доброй воле отказались от ангажемента в пользу мадам Марины. Публика будет аплодировать вашему благородному жесту и примет вас еще более восторженно в следующий раз, а я не только возмещу ваши издержки, но еще и дам в придачу полтысячи долларов.

Так что Бартон мог сообщить Марыне, что, как он и рассчитывал, Роуз Эдвардс уступила ей свою неделю.

Во вторую неделю Марына повторила свою Адриенну и Маргариту Готье и, перейдя наконец на исконно английский репертуар, добавила к ним Джульетту. Том Дин с удовольствием играл Ромео, Джеймс Гленвуд создал подкупающий образ брата Лоренцо, а Кейт Иген предложила свой удручающий вариант кормилицы Джульетты, за что Марына ее простила, как простила и за то, что Кейт подожгла ее вуаль (нечаянно? — конечно, нет) в день премьеры. Прошлогодняя Джульетта «Калифорнии» впала в уныние оттого, что ее понизили до роли кормилицы, и вела себя

бесцеремонно с героиней громких газетных заголовков: «Дебют в театре „Калифорния“ знаменует новую эпоху в драматическом искусстве» и «Американский дебют величайшей в мире актрисы состоялся в Сан-Франциско».

Мысленно готовясь к зависти, которая неизменно сопровождает успех, Марына вспомнила первый год в Имперском театре. Своим приходом она нанесла тяжелое оскорбление старой системе, созданной по образцу «Комеди-Франсез», при которой актеров набирали главным образом из драматических школ Имперского, а немногочисленные посторонние, принимавшиеся в труппу, начинали с самого низа служебной лестницы. Беспрецедентным было приглашение, которое Марына получила от нового, стремившегося к реформам директора театра — генерала Демичева: приехать из Кракова в Варшаву для участия в двенадцати спектаклях; столь же неслыханным и мучительным для других актеров было то, что пожизненный контракт, предложенный ей затем Демичевым, включал в себя право выбирать роли. Как хорошо Марына понимала злобные и хмурые взгляды своих новых коллег, пока они не полюбили ее! Она сама всегда завидовала успеху любой предполагаемой соперницы. (Низменная

фантазия: вот если бы ее увидела сейчас Габриела Эберт!) Но американские актеры казались на удивление великодушными. (Ей даже хотелось подражать этим американцам, чтобы облагородить собственный характер.) В Америке актеры часто говорили хорошо друг о друге и, похоже, любили восторгаться.

Марыне казалось таким естественным быть предметом всеобщего восхищения, и она была достаточно свободна, чтобы принимать любовь Рышарда. Если и внутренний голос и говорил: «Подобная идиллия не может длиться вечно», — она его не слышала.

А Рышард слышал его повсюду. Он был неповоротлив и ворчлив — именно таким через несколько дней после того, как они стали любовниками, он обещал Марыне никогда не становиться. Она вытянула это из него холодным вопросом:

— Теперь, когда ты получил меня, — они валялись в постели поздним утром, — что ты собираешься со мной делать?

«В конце концов, я ждал этого вопроса, — подумал он. — Я хотел, чтобы она считала меня самым легкомысленным на свете».

— Что за вопрос, любовь моя! Я собираюсь смотреть на тебя. Пока я вижу тебя каждый день, я

счастлив.

— Просто смотреть? А когда ты не мог этого делать?

— Сейчас, — он прижал ее к себе, — я могу смотреть на тебя… вблизи.

Но, конечно, все было не так просто.

Рышард считал себя вольнодумцем, свободным от ревности. Да и как могло быть иначе? До недавнего времени женщин, которыми он обладал, он не любил, а женщиной, которую он любил, он не обладал. Теперь, когда он завладел ею (так, по крайней мере, ему казалось), его приводили в ярость все поклонники Марыны. И, конечно же, приходили письма и нерегулярные телеграммы от Богдана, которые Марына даже не пыталась скрывать, а это означало, что она отвечала на его послания. Но Рышард не мог требовать отчета об этой переписке. Во-первых, он был благодарен ей за то, что имя Богдана не упоминалось. Этот человек каким-то волшебным образом исчез из их вселенной. Но теперь казалось, что, никогда не говоря о Богдане, Марына тем самым защищала его.

В начале второй недели, после первой Джульетты, его недовольство вылилось в тираду:

— А этот тупица, гватемальский консул, кото-

рый каждый вечер приходит за кулисы, — никакой он не гватемалец, как там его зовут, Хенгс…

— Хэнкс, — сказала Марына. — Лесли К. Хэнкс.

— Лучше уж Хенгс[81], — сказал Рышард. — Ты флиртовала с ним.

Вполне возможно. Мужчины казались ей теперь более привлекательными. Как Рышард не мог понять, что сам сделал ее восприимчивой к мужским знакам внимания? Все дело в том, что она была с *ним,* — но нет, он просто ревновал, все сильнее и сильнее. Богдана только забавляло, когда другие мужчины флиртовали с ней, а она отвечала взаимностью. Он знал, что в этом нет ничего серьезного. Он знал, что это вызвано привычным легкомыслием, лицемерием и ненасытной жаждой любви, свойственными каждой актрисе. «Значит, Рышард — еще мальчик, — подумала она, — а Богдан — мужчина».

А на следующий день появился биржевой маклер по имени Джон Э. Дейли, и та же сцена повторилась вновь: Рышард метался по гостиной ее люкса, уже готовый вернуться к себе в номер на третьем этаже, и Марына рассмеялась над ним, когда он прокричал:

---

[81] Примечания: 81
От англ. *to hang* — вешать.

— Я убью их обоих!

Но в таких отчаянных мерах не было надобности, как вскоре констатировал ничуть не отрезвленный Рышард. Несколько дней спустя, прогуливаясь по Маркет-стрит и думая (как он заверил Марыну) только о том, как припасть губами к ее лону, Рышард увидел, что из здания вышел биржевой маклер (Рышард узнал, что это офис его брокерской фирмы) с багровым лицом, разгневанный, он что-то кричал через плечо человеку, который выбежал вслед за ним. Затем маклер зашагал по улице — в сторону Рышарда, — после чего его преследователь, в котором Рышард теперь узнал гватемальского консула, вытащил пистолет и выстрелил Дейли в спину. Биржевой маклер сделал еще несколько шагов, закашлялся, схватился за воротник и упал замертво к ногам Рышарда.

— Возможно, я и убил бы Дирли, продолжай он присылать свои маленькие *billets-doux*[82]. Но Хенгс сделал это первым.

— Рышард, это не смешно.

— Единственная неприятность, — продолжал он, — состоит в том, что теперь я не могу надолго

---

[82] Примечания: 82
Любовные записочки *(фр.).*

отлучаться из Сан-Франциско. Как свидетель убийства, я должен давать показания на суде, который состоится не раньше ноября.

— А мистер Хэнкс сознался в мотивах преступления?

— Нет. Он отказывается говорить. Ведь его все равно повесят. Если только он не скажет, будто неожиданно обнаружил, что Дирли был любовником его жены, и потерял рассудок от этого удара. Очевидно, в Сан-Франциско не вешают за убийство любовника жены, если ты совершил его сразу же, как только узнал об измене. Полиция предполагает, что все дело в каких-то грязных спекуляциях с акциями горнодобывающих компаний в Неваде, которые Дирли уговорил его приобрести…

— А ты подозреваешь, что они повздорили из-за меня.

— Я этого не говорил, Марына.

— Но подумал.

Так между ними разгорелась первая ссора, которая благополучно закончилась тем же вечером в постели.

— Я ревную тебя ко всем только потому, что очень сильно люблю, — наивно пояснил Рышард.

— Я знаю, — сказала Марына, — но все равно, этого делать не надо.

Она собиралась еще сказать: «Богдан не ревновал меня к *тебе* в Польше», но поняла, что не знает, правда ли это.

В конце второй недели сан-францисского триумфа Марыны и за два дня до отъезда в трехнедельное турне, организованное Уорноком, во время которого она должна была посетить необычайно богатые горнодобывающие общины восточной Невады, Бартон устроил прощальный ужин. Когда ее попросили провозгласить тост, она подняла бокал и, щурясь от света канделябров, проникновенно сказала:

— За мою новую родину!

— Родину, — прошептала мисс Коллингридж, — а не *уоден-ну*.

Рядом находились Рышард, Уорнок, который заранее все подготовил, и мисс Коллингридж — она охотно согласилась взять на себя обязанности секретаря Марыны, но выказала надежду, что впредь мадам будет называть ее по имени.

— Разумеется, мисс Коллингридж, если вы на этом так настаиваете, — ответила Марына, с улыбкой пожав плечами.

— Коллингридж, — сказала мисс Коллин-

гридж. — В одно слово, а не…

— Милый друг, — сказала Марына, — я с радостью буду обращаться к вам «Милдред».

До Вирджиния-Сити, где открыли Комстокскую рудную жилу, — самого крупного города между Сан-Франциско и Сент-Луисом — было три сотни миль.

— Но это необычный город, — предупредил Уорнок перед отъездом, — и сама поездка тоже полна приключений.

Крутые повороты железной дороги, окаймленной гранитной стеной с заснеженными вершинами, узкие мосты над глубокими каньонами, — легендарный тихоокеанский переход через «Большую Горку», как, по его словам, в шутку называли Сьерры, могли произвести сильное впечатление. Но самое интересное начнется, когда они почти доберутся до места, сделав пересадку на вокзале в Рино. Оставшееся расстояние до Вирджиния-Сити: семнадцать миль, если вы — птица, и пятьдесят две мили — если вы пассажир одного из желтых пульмановских вагонов железнодорожной компании «Вирджиния и Траки» (еще один безумно прибыльный проект покойного мистера Ралстона). Они проедут по дороге круче самой крутизны, наматывая бесконечные

витки вокруг безлесой горы, чтобы добраться до легендарного города на вершине.

— Но я знаю, что у вас крепкие нервы, мадам Марина, — заключил он.

— Да, — улыбнулась Марына. Американцы так любят свои чудеса! — Благодаря вам, мистер Уорнок, я готова ко всему.

Он ручался, что она забудет драматическую поездку в Вирджиния-Сити, когда увидит знаменитый театр, достойный большого города, и роскошь семиэтажного отеля «Интернэшнл», который соперничал с «Паласом» в Сан-Франциско своим плюшем и золоченой бронзой, позолотой и хрусталем, маркетри и клуазоне, хрустальными кубками из Вены и парчовыми шнурками для звонков из Флоренции — изящно попирая тот факт, что город построен на самой вершине рудника.

— Только, знаете, — сказал он, — там двери внезапно перестают закрываться или окна разбиваются, хотя вы даже не подходили к ним.

Рышард взглянул на него с нескрываемой неприязнью.

— Готова ко всему, — мечтательно повторила Марына.

— Оседание грунта, — твердо сказала мисс

Коллингридж.

— Совершенно верно, — подтвердил Уорнок. — Время от времени.

Неделя выступлений в этом наклонном городе началась с «Камиллы».

Режиссер оперного театра «Пайпер» сказал Марыне, что его труппа, конечно, не сможет предоставить такой же сильный вспомогательный состав, как театр «Калифорния».

— Но уверяю вас, все они — хорошие актеры, и у каждого за спиной — десятки ролей. Звезда может известить нас в последний момент, что ей нужно: «Ромео и Джульетта», «Полукровка», «Ришелье», «Наш американский кузен», «Камилла», да все, что угодно, и мы готовы играть. Как я всегда говорю своим актерам, первое правило — освободить для звезды середину сцены и не стоять у нее на пути. Но если потребуется помощь, мы и помочь готовы. Помню, как Бут впервые приехал к нам в «Пайпер» показывать «Гамлета». Думаю, он считал, что у нас захолустный городишко, что мы не потянем его требования. Больше всего беспокоил его пятый акт, но я заверил, что у него будет настоящая могила и все, что понадобится, и мы постарались — бьюсь об заклад, такой натуральной могилы у него не было за всю долгую карьеру.

Я велел вырезать отверстие в полу сцены, нанял парочку горняков из «Офира», чтобы они там постучали, и в тот вечер могильщики выгребли на сцену несколько интересных образцов руды, перед тем как подали наверх череп Йорика, и когда Бут воскликнул: «Это я — Гамлет, принц датский!» — и прыгнул в могилу Офелии, чтобы сцепиться там с Лаэртом, то очень удивился — вы бы видели его лицо! — пролетев почти пять футов и приземлившись на скальную породу!

— Конечно, великий трагик не сказал ни слова благодарности и, к счастью, не ушибся, — продолжал режиссер театра «Пайпер». — Он такой странный, молчаливый. Но гении все такие, я знаю.

Он сказал Марыне, что посоветовал Буту после отъезда из Вирджиния-Сити остановиться у особого минерального источника, в миле к западу от Карсон-Сити, который часто посещают люди, страдающие ревматизмом и меланхолией. Это «куриный источник» — если добавить в его воду соли и перца, она приобретает вкус жидкого куриного супа и действительно очень питательна.

— Я вам тоже советую, дорогая мадам.

— Спасибо, мистер Тайлер, но я не ревматик и не меланхолик. Во всяком случае, пока.

«Ками-ил, Ками-ил!» — звали ее люди на улице. Ей попался высокий мужчина с широкой аккуратной повязкой под подбородком: ему, по предположению Рышарда, пытались перерезать горло. В каждой из трех пьес, которые Марына давала в течение этой недели, ей приходилось притворно умирать — в роли Адриенны она умирала в мучительном бреду; в роли Джульетты — в чувственном обмороке, упав на тело своего Ромео; а в роли Маргариты Готье — в судорожном протесте против несправедливости смерти, — но все признавали, что наиболее удачной была сцена смерти в «Камилле», при которой, как сообщала ведущая городская газета «Территориальное предприятие», два зрителя из разных концов зала на тысячу мест испытали такой ужас, когда Маргарита спрыгнула со своего ложа и со страшным грохотом замертво упала на пол, что их обоих сковал паралич, и они целый час после спектакля не могли подняться с мест.

Но как иначе могло «Предприятие» передать своим читателям волшебство Марыниной игры? Небылицы, мистификации и розыгрыши были излюбленным, «фирменным» способом этой газеты рассказывать о стране удивительных возможностей. Сам Вирджиния-Сити был такой

небылицей. Около двадцати лет назад несколько невежественных старателей случайно открыли жилу богатого серебром кварца под самой почвой недалеко от вершины горы, называвшейся тогда Солнечным пиком. И магнаты из Сан-Франциско, сумевшие разработать месторождение, превратили его в самое прибыльное горнодобывающее предприятие в истории человечества. Совсем недавно несколько горняков наткнулись на глыбу чистого серебра шириной пятьдесят четыре и высотой тридцать футов. У сдержанных репортажей мало шансов, что их услышат на фоне подобных правдивых историй.

В конце недели Марына объявила, что желает осмотреть недра легендарной горы, и немедленно получила приглашение, подписанное Джедедайей Форстером, управляющим самой крупной шахтой бонанцы — «Объединенная Вирджиния». Прибыв с Рышардом в канцелярию шахты, она получила шапку, бриджи и плащ, облачилась в этот костюм на соседнем складе и вернулась в канцелярию, где ее встретил очень высокий, статный мужчина в одежде из оленьей кожи с серебряными пряжками — сам Форстер. Ему очень лестно — он поклонился — выступить в качестве гида мадам Заленской, но она должна

понимать, что шахта плохо оборудована для приема гостей, в особенности таких знатных дам. Дав одному из мужчин с масляной лампой знак следовать за ним, он вывел Марыну и Рышарда на улицу и подвел их к кирпичному сараю, в котором располагалась железная конструкция с квадратным дощатым полом, куда он вошел первым. Когда клеть с лязгом начала медленно спускаться, воздух уплотнился и сырость приобрела резкий отвратительный запах, от которого щипало в носу и саднило в горле. Опускаясь все ниже и ниже, они слышали, как вода стекает по стволу шахты, и когда клеть начала раскачиваться из стороны в сторону, Рышард вытянул руку, чтобы оградить Марыну от соприкосновения с шершавой мокрой стеной. («Для чего может пригодиться это приключение? — спрашивала себя Марына, стараясь не поддаваться панике. — Одна из тех безрассудных авантюр, в которых выживаешь, лишь зажмурив глаза и заткнув уши?») Наконец клеть остановилась, высадив пассажиров у темного входа в узкий тоннель. Они стали в него углубляться все дальше и дальше. Голые по пояс шахтеры, орудовавшие кирками и совками, терпеливо сносили невозможную жару. Адская работа!

— Мы находимся на глубине тысяча девятьсот футов под землей, — сказал гид, который, спросив разрешения у Марыны, снял куртку из оленьей кожи и остался в ослепительно белой шелковой рубашке.

Рышард решил не снимать своей куртки, как бы ему этого ни хотелось, и даже любезно согласился посмотреть на воду, собиравшуюся в соседнем отсеке, и новый насос, который спустили сюда для ее откачки. Элегантно одетый управляющий «Объединенной Вирджинии», оставшийся с Марыной, не предполагал, что дама может заинтересоваться работой шахты. Но ему было очень приятно находиться в ее обществе.

— Это вторая шахта, которую я посещаю, — заметила Марына, не придумав ничего лучшего. — Несколько лет назад для меня провели экскурсию по знаменитой соляной шахте, расположенной к югу от Кракова — моего родного польского города.

— Соляная шахта… Местные жители вряд ли назвали бы ее «шахтой».

— Я согласна с вами, полковник Форстер, — Марыне сказали, что ко всем начальникам шахт следует обращаться «полковник». — Соль не так ценна, как серебро, но саму шахту стоит посетить.

Ведь ее непрерывно эксплуатируют, начиная с тринадцатого века.

— И до сих пор не добыли всю соль? Наверное, у вас на родине очень медленно работают. Наверное, мало стимулов, учитывая ту прибыль, какую приносит соль.

— Я вижу, мой дорогой полковник, что не объяснила вам как следует, что такое большая королевская шахта. Это не просто бизнес, как в Америке. И не нужно полагать, что нашим польским горнякам не хватает усердия. За несколько столетий они вырыли огромный подземный мир на пяти уровнях, с многомильными просторными галереями, соединяющими более тысячи залов, или комнат, многие из которых огромны. Одни поддерживаются сложными деревянными решетками, другие — соляными столбами, которые по толщине не уступают большим старым деревьям в северной Калифорнии, а некоторые из этих подземных пещер, таких длинных и широких, что кажутся бесконечными, обходятся безо всякой опоры посредине. В двух самых крупных помещениях расположены величественные озера, которые можно переплыть на плоскодонке. Но не только этими пугающими «плутоническими» видами привлекала шахта

столь многих выдающихся туристов, начиная с великого польского астронома Коперника; даже Гете счел нужным ее посетить. Интереснее всего, что, пробурив камеры и подняв на поверхность всю соль, горняки высекают из нее скульптуры в натуральную величину, которыми украшают заброшенные штольни.

— Статуи? — сказал Форстер. — И у них еще хватает времени высекать под землей статуи?

— Да, статуи польских королей и королев — там есть замечательная статуя одной из мучениц — основательниц моей родины — Ванды, дочери Кракуса. И, конечно же, религиозные статуи в часовнях на каждом уровне, где горняки молятся каждое утро, самая величественная и древняя посвящена Антонию Падуанскому — там есть колонны с декоративными капителями, арки, изваяния Спасителя, Девы Марии и самого этого святого, алтарь и кафедра с полным убранством, а также фигуры двух священников, молящихся перед гробницей святого, — все высечено из темной каменной соли. Раз в месяц здесь служат торжественную мессу.

— Церковь в шахте. М-да.

Ясно, что полковник ей не поверил. Он умел отличить быль от небылицы.

А Марына, когда они вернулись в отель, с удовольствием рассказала Рышарду о том, как сбила с толку своего импозантного гида.

— Я знаю историю о другой соляной шахте, — сказал Рышард, — но, к сожалению, ее придумал не я, а Стендаль. В соляной шахте Галлейна, близ Зальцбурга, у горняков существует прелестный обычай оставлять зимнюю ветку в заброшенной штольне, а затем, спустя два-три месяца, поднимать ее наверх. Насыщенная солью вода пропитывает ветку, а потом убывает, и вся ветка, вплоть до самых крошечных отростков, покрывается сверкающими кристалликами. Эти редкостные украшения преподносят туристкам, посещающим шахту. Стендаль утверждает, что любовь отчасти напоминает этот процесс кристаллизации. Погружая образ возлюбленной в свое воображение, влюбленный наделяет ее всеми совершенствами, подобными кристаллам на голой ветке.

— Как ты сделал со мной.

— С другими женщинами, и на две-три недели, — засмеялся Рышард.

— Но не со мной.

— Дорогая моя, бесподобнейшая Марына!

— А почему со мной — нет? Может, я просто

зимняя ветка? На сцене сверкаю и ослепляю, а…

— Марына!

— Не понимаю, зачем ты рассказал мне эту историю.

И Рышард подумал: «Я тоже не понимаю. Как можно быть таким бестолковым? Что я делаю?» И его ответ, конечно, был глуп и малодушен:

— Любимая, прошу тебя, давай не будем сейчас ссориться.

Сейчас?

— Никогда!

Около полуночи, выйдя через служебную дверь «Пайпера» после заключительного спектакля, Марына, Рышард и мисс Коллингридж присоединились к двухтысячной толпе, которая при ярком лунном свете и в отблесках костров глазела на женщину в коротком платье и трико, которая ступила на воздух с кованой железной балюстрады над входом в театр. Они последовали за толпой по Юнион-стрит, а женщина тем временем шла над головами вдоль этой угловатой улицы; и аплодировали вместе с толпой, когда мисс Элла Ларю внезапно сошла с каната, гордо топнув ножкой по крыше кирпичного здания на углу Ди и Юнион.

— Забавное зрелище, — сказал Рышард Ма-

рыне. — У нее слишком широкие бедра, ты не находишь? — добавил он, пытаясь досадить мисс Коллингридж.

Затем, в поисках новых развлечений, они вернулись на Си-стрит и через двойные стеклянные двери зашли в салун «Полька».

Поскольку шахты работали постоянно, салуны тоже были открыты круглосуточно. Горняки приходили сюда сразу после смены сыграть на заработанные деньги в фараон, монте или покер (они не любили спортивные игры и всякого рода игровые автоматы), и Марына попросила своих спутников заняться чем-нибудь, пока сама она будет сидеть и наблюдать за ними.

Рышард подошел к стойке, и вскоре репортер «Предприятия» развлек его рассказом о том, как в одной герметично закрытой горной пещере был обнаружен «серебряный человек» — какой-то бедный индеец попал в ловушку много-много лет назад, и тело его спустя столетия, благодаря характеру грунта, водяным испарениям и перемещению металлов, превратилось в глыбу серебра; точнее, как показал анализ тела в Карсон-Сити, — в сульфированное серебро с незначительной примесью меди и железа. Тем временем мисс Коллингридж восторгалась «та-

лисманом» салуна — Черным Билли, который, в отличие от множества козлов, живших в старых штольнях и питавшихся скудной растительностью на склонах горы Дэвидсон, принадлежал к более привилегированной и дерзкой стае, которой разрешалось жить в городе: Билли обитал и жевал табак на Си-стрит.

Марыне удалось спокойно посидеть с бокалом шампанского примерно пятнадцать минут, после чего бородатый великан в красной клетчатой рубашке встал из-за соседнего столика и, пошатываясь, направился к ней с бутылкой в одной руке и красной геранью — в другой. Он горланил:

— О Жу-улиетта, Жу-улиетта, ты ли это, Жу-улиетта?

Она поискала взглядом Рышарда, но за спиной нахала уже появилась женщина, которая закричала на него:

— Проваливай, Нейт! Не приставай к даме. Она тоже много работала и имеет право спокойно посидеть у меня в салуне, отдохнуть от поклонников.

Ее спасительница задержалась у столика. Толстая, затянутая в корсет, с лентами в волосах. Лет сорока пяти или пятидесяти, определила Марына.

— Я только хотела сказать, какая честь принимать вас у себя в салуне. — Женщина улыбнулась, и Марына заметила, что когда-то она была очень красивой. — Просто не верится, что вы здесь сидите. Словно королева ко мне пришла. Королева! У меня в «Польке»!

— Которую мы танцуем у себя в Польше, — весело сказала Марына.

— Правда? — удивилась женщина. — А я-то думала, что это стопроцентный американский танец! — Она помолчала. — Вы, наверно, хотите побыть одна. Я вас понимаю. Наверно, вас все время окружают люди.

— Посидите со мной, — сказала Марына. — Мои друзья скоро вернутся.

— Можно? — Она плюхнулась на стул. — Правда можно? Не буду много болтать, честное слово. — Она с благоговением смотрела на Марыну. — Я только хотела сказать, что вы были так… — и вздохнула, — …так прекрасны вчера вечером. Знаете, у нас в Вирджинии показывают кучу пьес, и я всегда хожу, если могу, почти все пересмотрела, и все актеры приходят сюда, даже Бут, я видела аж трех его «Гамлетов». Он иногда заходит в «Польку». Один раз сидел за этим самым столиком.

— Мне очень приятно сидеть за столиком мистера Бута, — сказала Марына с улыбкой.

— Как раз на вашем месте. Очень вежливый, никакого зазнайства, но такой горемычный! И напился, как сапожник, но на следующий день это было ничуть не заметно. Он, конечно, великий, спору нет, но мне больше нравятся актрисы, а вы — лучше всех. Когда женщина страдает, тебя пробирает до самого нутра, по крайней мере, мне так кажется. Взять хотя бы ту французскую дамочку, что вы намедни изображали, — ей пришлось прогнать того славного паренька, которого она по-настоящему любила, и притвориться, что больше его не любит, никак не могу запомнить ее имени, оно не такое, как в названии пьесы.

— Маргарита Готье.

— Вот именно. Нам показывали кучу Камилл, но вы — лучшая. Я никогда в жизни так не ревела над «Камиллой».

— Это прекрасная роль для актрисы, — сказала Марына.

— И как вы отлично играете Джульетту, и ту, другую, — я пересмотрела все ваши спектакли на этой неделе, — про французскую актрису, как ее, опять забыла…

— Адриенна.

— Точно! Вы изображали ее намного лучше, чем та итальянка, которая приезжала два года назад, забыла, как ее зовут, и играла по-итальянски. Но это меня не волнует, если человек хорошо играет, то ты понимаешь его чувства.

— Аделаида Ристори.

— Она самая. Мне нравится эта пьеса. Но «Камилла» — лучше.

— Это очень интересно, — сказала Марына. — Не могли бы вы рассказать, почему предпочитаете «Камиллу»?

— Потому что Джульетта — просто милая девчонка, и она была рождена для счастья, но это от нее не зависело — их семьи не ладили между собой. А французская актриса, опять забыла ее имя…

— Адриенна.

— Правильно. Она тоже хорошая. И не виновата в том, что мужчине, которого она любит, приходится любезничать с этой ужасной принцессой, которая взяла да и отравила ее. Ей просто не повезло, если вы понимаете, о чем я. Но «Камилла» больше похожа на реальную жизнь. В смысле, она не была такой уж хорошей и невинной, — да и откуда ей быть? — жила с кучей мужчин и как бы смирилась с судьбой, не верит в любовь, —

почему она должна верить? — после того, как перевидала столько мужчин, а потом вдруг встречает совсем другого человека и хочет изменить свою жизнь. Но не может. Ей не дают. Она должна быть наказана. Должна вернуться к своей старой жизни, — женщина расплакалась.

— Успокойтесь, миссис… миссис… Извините, вы не представились, — сказала Марына, протянув носовой платок.

— Минни, — ответила женщина. — Откуда вы узнали, что я замужем?

— Просто предположила.

— Вы правы, я замужем. — Она приложила платок к глазам. — Но вы же знаете, как оно в жизни бывает. — Она качнулась на стуле назад. — Выходишь замуж не за того, кого любишь.

— Печально, — сказала Марына.

Женщина махнула официанту, и тот принес ей «сазерак».

— На старости лет я пристрастилась к этим затейливым сан-францисским напиткам. А в молодости и чистое виски пила, и бурбон, и рай-виски, и кукурузную — сойдет что угодно. Вам чего-нибудь еще? Мой бармен готовит очень вкусный «бренди-смэш».

— Нет, спасибо. Скоро вернутся мои друзья, и

нужно будет идти.

— Надеюсь, меня не прогонят. Но вам-то я, кажется, могу доверять. Вы актриса, все понимаете…

— Я бы так не сказала.

— Я скажу вам, почему этак отзываюсь о браке и обо всем остальном. Моя история хорошо начиналась, хотя вряд ли вы сможете сделать из нее пьесу, потому что она плохо кончилась.

— Я не ищу новой роли, — спокойно сказала Марына, — но с удовольствием послушаю вашу историю. Я люблю истории.

И Минни начала:

— Это было двадцать пять лет назад, да нет, больше… и я жила в Калифорнии, в Клауди-Маунтин, не знаю, слышали ли вы о таком месте. Этот парень увивался за мной, он был шерифом, а еще картежником, но, в общем, неплохим малым, и когда сказал, что любит меня, я знала, что он говорит правду, а не просто пытается залезть мне под юбку. Он все твердил: «Выходи за меня, девчонка!» — так он меня называл: «девчонка», и когда я напоминала, что у него жена в Новом Орлеане, он говорил, что это не важно, потому что ему нужна такая жена, как я. Вы, наверное, не поверите, но я была недурна собой, чиста серд-

цем и молода, несмотря на то что уже держала салун, куда приходили все горняки, — «Полька», я все свои салуны называю «Полька», — и большинство парней уважали меня, словно я была их младшей сестренкой, хотя некоторые и не очень, но я ничего не могла с этим поделать, ведь они были завсегдатаями. Но мне это не нравилось, становилось грустно, хоть я и не подавала виду, всегда пела и смеялась, я искала выход из этой жизни, но выхода не было. И тогда я подумала: «Шериф — неплохой малый, по крайней мере, он любит меня», и все размышляла над этим про себя.

А потом встретила другого парня, на которого и вправду положила глаз, он был таким романтичным, сказал, что у меня ангельское личико, — мне, содержательнице салуна! Это у него было ангельское личико, я никогда не видела мужчины с такой внешностью. Лицо худое, но гладкое, так и хотелось потрогать его щеку, а еще высокий лоб, и волосы иногда лезли ему в глаза — большие темные глаза с красивыми ресницами, с морщинками, когда он улыбался, он медленно, очень медленно улыбался, будто целовал меня своей улыбкой. Стоило взглянуть на него — и внутри все холодело, а коленки подкашивались.

Беда в том, что он был бандитом, — так уж у него жизнь сложилась, наверно, он просто оступился, а его ославили и разыскивали потом как убийцу, так что ему пришлось пойти по этой дорожке. Пока он был бандитом, то скрывался под видом мексиканца Рамерреса, потому что все знали, что мексиканцы — бандиты. Но когда он проник в Клауди и стал ухаживать за мной, то расфрантился, как пижон из Сакраменто, и назвался своим настоящим именем — Дик Джонсон. А потом сказал мне, что он — тот самый Рамеррес, которого все ищут, но, увидев меня, расхотел быть Рамерресом и пообещал исправиться, и я знаю, что говорил он искренне. И я тоже поведала ему все свои тайны, это было так хорошо, у меня никогда не было человека, с которым я могла бы поговорить, излить душу. Я чуть не забыла, кто я такая! И все это время шериф везде и всюду искал Рамерреса, и никто не знал, что Рамеррес — это на самом деле Дик. Но шериф Джек никогда ничего не упускал, когда дело касалось меня. Он видел, что я вроде как интересуюсь парнем из Сакраменто, но не знал, что это Рамеррес. Интересуюсь! Да я с ума по нему сходила! А какая женщина, только настоящая женщина, не полюбит бандита больше, чем шерифа? Вы же знаете, вы — жен-

щина, да к тому же актриса, и вы можете играть всяких женщин — ангелов и грешниц…

Угадайте, за кого я вышла? Вон он там, возле сейфа, с шестизарядным за поясом, этот салун — наша общая собственность. Шериф. Но он бросил работу, когда увидел, что в салунах можно зарабатывать намного больше денег, и через десять лет, когда открыли Комстокскую жилу, мы приехали сюда, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что из этих голодных шахтеров после смены можно выжать кучу денег. Но я все спрашиваю себя, почему вышла за него, если так любила Дика и собрала тогда все мужество и убежала с ним, вся в мечтах. Нам пришлось уехать из Калифорнии, которую я так любила, потому что его повсюду разыскивали за убийство — если бы его поймали, то повесили бы, и мы приехали в Неваду, которая тогда еще не была штатом или даже районом. Пока ни одна душа не знала, что находится под этой горой, Невада была просто графством в штате Юта, и мы долго скитались без гроша в кармане, а голод — не тетка. И тогда Дик снова стал Рамерресом, и я испугалась, представив ту жизнь, которая меня ждала: вечно прятаться, убегать и бояться, и я бросила его и приползла обратно в Калифорнию,

и Джек простил меня, и я поняла, что он и вправду любит меня, потому что знал, что я никогда не полюблю его так, как Дика, а все равно любил, и я его зауважала, но это же не значит, что я должна выйти за него. Но я вышла. Вначале мы вроде как расписались в Клауди у настоящего мирового судьи, хотя у Джека была жена в Новом Орлеане, но я решила, что пусть уж все будет всерьез, а потом она умерла, так что теперь я — настоящая миссис Рэнс, причем уже давно. Но моя жизнь закончилась в Неваде, пятнадцать лет назад. Иногда я лежу рядом с Джеком и всю ночь не могу сомкнуть глаз. Там, в горах, козлы выбегают на плоские жестяные крыши, как у нас на доме, и я просыпаюсь от стука копыт и начинаю думать, что надо было остаться с Диком, хоть он и вернулся к разбойной жизни. Может, я мало думала о себе. А может, просто не хватило смелости. Дик все время вот эти стихи читал:

Не меркнет свет звезды, увиденной однажды,

Мы на земле большой родиться можем дважды.

— Теперь я часто повторяю их про себя. — Она взяла Марыну за руку и крепко сжала. — Но это

неправда.

— Марына! — позвал Рышард.

Взглядом дав ему понять, что не происходит никакой «сцены» и что ее не нужно спасать, Марына представила их друг другу.

— Муж ваш? — спросила Минни. — Я видела, как вы с ним выходили из отеля.

— Мой бандит.

— Вот оно что, — сказала женщина.

— О чем это вы здесь беседуете? — нервно спросил Рышард. — Или, может, вы не хотите посвящать мужчину в свои женские тайны?

— И вы собираетесь совершить ту же ошибку?

— Да, похоже на то.

— Дамы, дамы, — сказал Рышард, встревожившись. — Марына, уже поздно. Ты, наверное, устала. Давай, я отведу тебя в отель.

— А говорит как муж, — сказала Минни.

— Потому, возможно, что это и не ошибка.

— Вам виднее. Вы — красавица. Звезда. Все вас любят. Вы можете делать все, что душе угодно.

— Все? Нет, не все.

Мисс Коллингридж, пахнущая козлом, встала рядом с Рышардом:

— Мадам Марина, вам что-нибудь нужно?

— По-моему, она тоже хочет, чтобы вы верну-

лись в отель, — сказала Минни.

Этот вопрос Рышард мысленно задавал ей уже несколько дней. Этот вопрос… Наконец, когда они вернулись в отель и занялись любовью, он все же спросил:

— Ты не хочешь, чтобы я остался с тобой, так ведь?

Он уже мысленно слышал ответ Марыны. Но все равно удивился.

— Нет.

— Но ты же любишь меня! — воскликнул он.

— Да, люблю. И ты подарил мне много счастья. Но, как бы сказать, это *à deux*[83] не имеет и никогда не сможет иметь для меня большого значения. Теперь я это понимаю. *Déformation professionelle*[84], если угодно. Я хочу любить и быть любимой (а кто не хочет?), но мне нужен покой… внутренний. А с тобой я буду волноваться, не скучно ли тебе, не встревожен ли ты, не мало ли ты пишешь? И буду права. Что ты написал за последний месяц, за исключением статей обо мне?

---

[83] Примечания: 83
Букв.: вдвоем *(фр.)*.

[84] Примечания: 84
Профессиональный изъян *(фр.)*.

— Какая разница! Я слишком счастлив, чтобы писать!

— Разница есть. Сочинительство — твоя жизнь, а театр — моя. Тебе не нужна та жизнь, которую я веду. Сейчас ты не ведаешь об этом, но скоро узнаешь — через полгода, не позже чем через год. Ты не создан быть супругом актрисы. Поверь, это ненадолго.

— Говори за себя, невыносимое создание! — Он стукнул рукой по оконной раме.

— Что я слышу, Рышард? Неужто звенят кристаллы, опадающие с зимней ветки?

— О, Марына!

— Ты спрашиваешь — и у тебя есть на это все права, — действительно ли я люблю тебя. И я хочу сказать — о любимый мой Рышард, — ты знаешь, что я *хочу* сказать. И это желание — тоже любовь, хотя и не та, которую ты имеешь в виду. Но правда в том, что я никогда точно не знаю, что чувствую, когда я не на сцене. Нет, не так. Мне интересно, жалко, мне страстно хочется нравиться — все на свете. Но любовь, о которой ты говоришь, которой ты хочешь от меня… Не уверена. Я знаю, что не чувствую той любви, которую изображаю перед публикой. Возможно, я вообще ничего не чувствую.

— Марына, любовь моя, ты никогда не убедишь меня в этом. Я сжимал тебя в объятиях, видел твое лицо таким, каким его не видел никто на свете… — Он запнулся. «Никто?» — спросил он самого себя. А затем продолжил: — Марына, я *знаю* тебя.

— Да, — сказала она, — сейчас я много чувствую, и эти чувства обращены к тебе и больше ни к кому. Но я также чувствую, как они уклоняются от тебя и снова вливаются в тех персонажей, которых я создаю на сцене. Ты так много дал мне, дорогой мой Рышард!

— Ты делаешь меня совершенно несчастным!

— Возможно, — задумчиво сказала она. — Я думала, что больше никогда не познаю любви, и поэтому не хотела больше играть. Думала, что смогу отказаться. Но теперь я вновь познала ее и…

— И что?

— И никогда не забуду о ней.

— Ты собираешься жить *воспоминаниями* о нашей любви? Этого для тебя достаточно, Марына?

— Пожалуй. Актеры мало интересуются реальной жизнью. Нам хочется просто играть.

— И ты считаешь, что я помешаю твоей карьере? Буду тебя отвлекать?

— Нет-нет, я просто не хочу тебя обманывать.

— Понятно. Ты прогоняешь меня ради моего же блага.

— Я этого не говорила, — сказала она.

— На самом же деле я думаю, что ты прогоняешь меня ради собственного блага. Только у тебя не хватит мужества это признать. Нет, Марына, настоящая причина, по которой ты отвергаешь меня, не имеет никакого отношения к заботе о моем счастье.

— Ах, Рышард, Рышард, причин много.

— Ты права. Посмотрим, угадаю ли я их. Страх скандала — актриса бросает мужа и ребенка ради другого мужчины! Стремление к безопасности — актриса оставляет богатого мужа ради нищего писателя! Нежелание потерять классовые привилегии — великая актриса меняет мужа-аристократа на плебея…

— Благодарю за виртуозный перечень!

— Постой, Марына, я еще не закончил. Страх пренебрежения условностями — актриса бросает мужа ради мужчины, который младше ее на десять лет! Нежелание лишиться с трудом завоеванной респектабельности — она воспитывает внебрачного ребенка и утверждает при этом, будто состояла в браке с его отцом. Ты думала, я

не знаю об этом, потому что милый Богдан делает вид, что ничего не знает.

— Наверное, я не вправе просить тебя сейчас, чтобы ты не оскорблял меня.

— Не говоря уже об эгоизме, бессердечии, ограниченности… — Рышард запнулся. Непоправимые слова. Слова, которые нельзя взять обратно. Он разрыдался.

Дело было не только в том, что он терял Марыну. То был конец его юности: его способности коленопреклоненно любить и беспомощно страдать. О чем он будет мечтать, когда перестанет мечтать о Марыне? «Это чувство, — подумал Рышард, — самое мучительное из тех, что мне когда-либо суждено испытать». Страдала ли она? Могла ли подняться над своими чувствами, чтобы не утонуть в них? «Это, — подумал он, — самое печальное, что могло со мной случиться». Он пребывал в темноте, весь израненный. И вдруг — вспышка утешения. Сколько книг он теперь сможет написать, когда его перестанет отвлекать это наваждение! «Больше никогда, — и эта мысль пришла к нему вместе со стыдом, — я не буду „слишком счастлив“, чтобы не писать».

8

Марыне не оставалось ничего другого, как поверить рассказу Богдана, когда он наконец приехал к ней в Нью-Йорк, в отель «Кларендон» в начале января. Не в характере Богдана сочинять небылицы. Как отмечал он сам, его редко подмывало рассказывать сказки.

— И я боялась… — Слово увяло, не успев расцвести. — Я волновалась, что ты умираешь от скуки и безысходности там, в Анахайме.

— Вовсе нет, — сказал он. — Природа не терпит пустоты.

— Бедный Богдан, — она влюбленно, встревоженно улыбалась. Они сидели рядом на оттоманке. Марына обнимала его за голову.

— Вовсе не нужно меня жалеть. Ты должна мне верить.

— Так заставь же меня поверить, — сказала она и склонила голову ему на плечо. — Ты сочтешь меня излишне доверчивой или влюбленной до беспамятства, если я поверю каждому твоему слову?

— До беспамятства? Да мне ничего другого и

не нужно, — сказал он, поднеся ее руку к щеке. — Тогда я могу быть уверен, что, если даже ты не поверишь в мое приключение, все равно не усомнишься в нем.

— Рассказывай, — прошептала она.

— Несколько лет назад Бен Дрейфус (надеюсь, ты помнишь его) поведал мне о некоем странном культе, который, по слухам, существовал в Соноре. Его приверженцы пытались построить машину для путешествия по небу. Не шар, наполненный горячим воздухом и отданный на милость ветра, а управляемый аэростат, который мог бы самостоятельно подниматься над землей и лететь в любом направлении. Некоторые из этих «птиц» якобы поднимались в воздух, но затем разбивались. Когда Бен попытался узнать побольше об этой группе, ему сообщили, что она распалась, а ее руководитель, немец по имени Кристиан фон Рёблинг, переселился на юг — в Монтойя-Бич, рядом с Карпинтерией. Выяснилось, что фон Рёблинг по-прежнему проводит свои эксперименты, потому что один из друзей Дрейфуса, приехавший из Сан-Франциско в августе на пароходе, божился, что видел, как *нечто*, совершенно непохожее на воздушный шар, летело сквозь тучу высоко над берегом близ

Карпинтерии. Поскольку, утверждает Дрейфус, недалек тот день, когда появятся самодвижущиеся летательные аппараты, он предположил, что не мешало бы посмотреть, как далеко продвинулись эти смельчаки, чтобы подумать о возможном вложении капитала. Он оказался настолько любезен, что одолжил мне деньги на погашение долгов за механизмы и припасы, о которых я тебе не говорил, — и я предложил обратиться к фон Рёблингу от его лица. Поэтому, оправившись от несчастного случая, я поехал на побережье — помнишь ту неделю, когда мы потеряли всякую связь? Ты была в Вирджиния-Сити — вызывала слезы у шахтеров и спускалась в недра серебряной горы. А я охотился за Дедалом-шарлатаном, который мог бы поднять меня в воздух.

— Но мне же ничего не угрожало, — воскликнула Марына. — Богдан! Будь осторожен!

— Ах, Марына, когда я забывал об осторожности? — сказал он. — Я снял комнату в деревенской гостинице, беседовал в салунах с людьми, ни один из которых не знал человека по имени фон Рёблинг, и бродил по дюнам, вглядываясь в небеса. Несколько дней спустя я потерял всякую надежду и зашел в магазин купить продуктов

для поездки обратно. Кроме меня, единственным посетителем магазина оказался седовласый субъект в широких, как бандитская маска, очках, который покупал… целую груду гвоздей. Услышав сильный немецкий акцент, я представился. Он сказал, что его зовут Дельшау или что-то в этом роде, но я подозревал, что нашел самого фон Рёблинга. Выйдя вслед за ним из магазина, я сказал по-немецки, что, в силу своих научных интересов, узнал о работе, которую он проводит, и попросил разрешения понаблюдать за очередной попыткой поднять его машину в воздух. Он долго молчал; а я надеялся, что он окажется одним из тех скрытных людей, которые боятся и в то же время жаждут вторжений извне. Но затем он сказал мне на ужасном английском, пересыпанном немецкими словами, что мое любопытство может иметь весьма неприятные последствия…

— Богдан! — вскрикнула Марына.

— …поскольку, если есть хоть доля правды в этой *phantastisch*[85] истории, этом *Blödsinn*[86], который я слышал об аэростатах и «Аэроклубе» (его собственные слова, я их не употреблял), то я

---

[85] Примечания: 85
Фантастической *(нем.).*

[86] Примечания: 86
Вздоре *(нем.).*

должен понимать, что смотреть на такую машину вблизи, не говоря уже о том, чтобы наблюдать за ее полетом, *streng verboten*[87] всем, кроме действительных членов клуба. Он настоятельно советовал мне *schnell*[88] уехать из города.

— Но ты его не послушал.

— Конечно, нет.

— И ты что-нибудь увидел?

— В воздухе — нет. Но однажды ночью я гулял по пляжу при луне и увидел впереди темную штуковину, которую вначале принял за вытащенную на берег шлюпку. Она имела форму каноэ, но была намного больше каноэ — с четырьмя крыльями (по два — на каждой стороне), своеобразной корзиной в самой широкой части, где могли разместиться два аэронавта, и пропеллерами, присоединенными к носовой и хвостовой частям.

— Я зарисовал ее, мама.

— Тебя же там не было, Питер!

— Но я все про это знаю и… сейчас покажу!

Он убежал в соседнюю спальню номера-люкс и вернулся с большой папкой. Богдан разложил

---

[87] Примечания: 87
Строго запрещено *(нем.)*.

[88] Примечания: 88
Поскорее *(нем.)*.

рисунки на полу.

— Очень милые картинки, — сказала Марына.

— Мама, это же наука!

— Да, это очень точные схемы, — подтвердил Богдан. — С навигационной частью все ясно: вот пропеллеры, а вот — руль. Но я так и не выяснил, как это устройство приводится в действие. Любая паровая машина, с двигателем, паровым котлом и большим количеством воды и топлива, слишком громоздка и тяжела. Но если не пар, то что же? Что они могли изобрести такого, что поднимало бы над землей предмет тяжелее воздуха?

— Прилетает дракон, — сказал Питер. — У них есть ручной дракончик, который подбрасывает машину в воздух хвостом.

— Питер!

— Это не ребячество, мама. Это шутка.

— Я хотел подойти поближе, — продолжал Богдан, — но увидел четырех человек с факелами. Среди них был фон Рёблинг. Они были вооружены, так что я решил вернуться в город.

— Ружья, — сказал Питер, — у них у всех ружья. В Нью-Йорке тоже все ходят с ружьями?

— Нет, мой милый, — ответила Марына. — Мы же не на Диком Западе. А теперь будь умницей — ступай в гостиную и почитай книжку.

— Я просто хотел тебя насмешить, — сказал Питер. — Но если тебе не смешно, то я спущусь в вестибюль и поищу Анелу или мисс Коллингридж.

Он с шумом захлопнул дверь. Марына нахмурилась:

— И что потом?

— Когда на рассвете я пришел на то же место, корабля уже не было.

Марына подумала: «Может, он все это выдумал? Может, Богдан тоже пытается развеселить меня?»

— Конечно, смешно, наверное, что человек, недавно упавший с лошади, пожелал подняться на несколько сотен футов над землей в какой-то фантастической штуковине, которая, возможно, очень недолго продержится в воздухе.

Вспомнив об этом происшествии, в которое она поначалу не слишком верила, Марына еще раз спросила, насколько серьезную травму он получил в сентябре.

— Ты хочешь знать, что именно я повредил? Но зачем? У меня что, остались шрамы или я стал инвалидом? — Он поднялся. — Говорю же тебе: тут нечего пересказывать.

— Извини, — нежно произнесла она. И, помол-

чав: — Ты сказал фон Рёблингу, что видел его аппарат?

— Нет. Но я скоро вернусь в Калифорнию и, возможно, попытаюсь поговорить с ним еще раз.

— А если эти… аэростаты действительно летают, войдешь ли ты в долю к Дрейфусу?

— Конечно, нет, — он снова сел рядом с ней и взял за руку. — Я вынес по крайней мере один урок из прошлогодней сельской авантюры — я никогда не стану бизнесменом. В обозримом будущем, дорогая моя, единственной добытчицей в нашей семье будешь ты.

Деньги были той причиной, по которой они не воссоединились сразу же, как Марына решила порвать с Рышардом. Деньги — и отказ Рышарда уехать из Сан-Франциско: предлогом послужило то, что он должен выступить свидетелем по делу Хэнкса. Богдан так и не уладил свои дела в Анахайме, и было бы глупо поспешно все ликвидировать, чтобы успеть к повторному ангажементу Марыны в театре «Калифорния» в октябре, коль скоро у него с Питером был дом в южной Калифорнии — глупо и совершенно разорительно. Возможно, Марыне не пристало каждый день жаловаться Уорноку, что приходится экономить и многим жертвовать, учитывая, что она получала тысячу

долларов в неделю — намного больше (как добрый старик капитан Знанецкий счел нужным ей напомнить), чем большинство тружеников в Америке зарабатывают за год. Но ведь у большинства людей не было таких расходов и таких обязанностей, как у Марыны. По крайней мере, она могла послать немного денег Богдану, чтобы погасить его долги, накопившиеся в Анахайме; спасти обнищавшую семью Циприана и Дануты, разочарованных жизнью в «Эденике» и мечтавших вернуться в Варшаву (она оплатила им дорогу); полностью уплатить, как того требовали честь и достоинство, оскорбительный штраф в пять тысяч рублей, взысканный Имперским театром за разрыв контракта (она умоляла директора — бывшего друга! — продлить ее отпуск еще на год, но получила отказ). И еще предстояли расходы на поездку в Нью-Йорк и шесть дней проживания в отеле, пока ей не станут снова выплачивать жалованье, когда она начнет новый сезон в середине декабря (Уорнок выдаст аванс для оплаты счета в гостинице, но вряд ли оплатит проживание Богдана, Питера и Анелы, и она уже привыкла платить за мисс Коллингридж); но самых обременительных расходов требовали костюмы. Марына еще как-то обошлась в Сан-

Франциско. Костюмы для Адриенны и Джульетты она привезла с собой из Польши, а для «Камиллы» одолжила денег у капитана Знанецкого и наняла швею, которая сшила довольно сносное платье. Но в Нью-Йорке она открывала сезон «Камиллой», и все пять костюмов должны быть поистине роскошными. В Нью-Йорке — и Марына это прекрасно понимала — от костюмов ведущей актрисы ожидали многого. Даже большего, чем в Париже, заметил Уорнок.

Но реклама в Париже наверняка не была бы такой вульгарной. Работа Уорнока в этой области — афиши возвещали о нью-йоркском дебюте «графини Заленской из Русского имперского театра, Варшава» — ее коробила. *Графиня* Заленска — скажите на милость, кто это такая? И что, нужно обязательно писать «русский»? Но Богдан только посмеивался:

— *Que veux-tu, ma chère*[89], это же Америка. Они ведь не обязаны разбираться в иностранных титулах. Уорнок считает, что на тебе можно сколотить состояние, но он очень осторожен. Поверь, Марына, скоро он поймет, что к твоему очаровательному новому имени не нужно добав-

---

[89] Примечания: 89
Чего ты хочешь, дорогая *(фр.).*

лять мой неуместный титул.

Ей передавалось спокойствие мужа — благожелательное спокойствие. Он не сильно изменился: приехал по-деревенски загорелым и немного грузным, да еще взял в привычку грызть ногти, но остался прежним. Богдан был добр, очень добр, делая вид, что его не интересует местонахождение Рышарда: Марына сама рассказала, что их друг по несчастью стал свидетелем того, как один человек застрелил другого на улице, и задержался в Сан-Франциско дать показания на суде, после чего вернулся в Польшу. Долгое время не зная, с кем поделиться своими мыслями, Марына с благодарностью почувствовала, как искусная сдержанность Богдана успокоила ее, а затем укрепила. Она так нервничала перед его приездом. В течение месяца она могла спокойно общаться только с манекеном из проволочной сетки, на который примеряла новые костюмы для «Камиллы». Марына ссорилась со швеей по поводу пышного бального платья для четвертого акта и предсмертного одеяния (ночной рубашки из белого индийского муслина) — для пятого. Все действовали ей на нервы.

В день премьеры она очень волновалась. Отчасти это был страх сцены, что вполне уместно,

но не только он. Ее героиня была циничной и отчаявшейся в первом акте, во втором — встревоженной и уязвимой, но в конце концов приняла любовь Армана. Марына знала, что изображает страдания и радость Маргариты Готье так же хорошо, как всегда. Но нервничала из-за того, что эта пьеса не давала ей выразить одну эмоцию — злость. Наконец в третьем акте Марына смогла дать ей выход. Исступленно счастливая Маргарита живет теперь со своим возлюбленным Арманом под Парижем; в то утро он уехал в город по небольшому поручению, и она сидит одна в залитой солнцем комнате, смотрит в окно на сад. На ней кашемировое платье персикового цвета, отделанное спереди каскадом кружев и одной узкой оборкой внизу, кружевными манжетами на коротких рукавах, кружевным рюшем на вороте и слева кружевным кармашком в форме раковины, украшенным розовой розеткой, которая снискала особое расположение нескольких рецензентов. Ее служанка Нанина только что объявила о прибытии джентльмена, желающего поговорить с ней. Маргарита, решив, что это ее юрист (без ведома Армана она выставила на продажу всю обстановку своего великолепного дома в Париже), велела впустить его. Разумеется,

это не юрист.

«Мадемуазель Маргарита Готье?» Сановитый пожилой мужчина появился в дверях с правой стороны сцены и прошел мимо живой канарейки, которую режиссер, стремившийся к сценическому реализму, поместил в декорацию. *«Именно так меня зовут,* — сказала Марына. — *С кем имею честь разговаривать?»* Канарейка защебетала. *«Мсье Дюваль».* Чик-чирик. Можно было подумать, что в клетке сидят две птицы. *«Мсье Дюваль?»* Чик-чирик-чик. *«Да, мадам, отец Армана».* Марына должна была произнести следующую фразу слегка встревоженным, но спокойным тоном — но как она могла успокоиться, когда рядом мерзко пищала эта пичуга? *«Армана здесь нет, мсье».* Чир-чирик-чик-чик. *«Знаю. Но я хочу поговорить с вами. Будьте так любезны, выслушайте меня».* Выслушать? Да ей же ничего не слышно! *«Мой сын губит себя из-за вас».* Чик-чир-чик-чик-чирик-чир-чик. Потеряв всякое терпение, Марына подошла к декорации, сняла клетку и швырнула ее в бутафорское окно, а затем, в глубокой печали, бесшумно вернулась по наклонному полу сцены на свое место.

Она боялась, что это могло шокировать некоторых зрителей, — не все же решили бы, что так и

есть в пьесе! — но успокоилась, когда через пятнадцать минут Маргарита наконец поняла, что ее чистая, бескорыстная любовь к Арману никогда не будет признана его отцом, Марына услышала всхлипывания в зале и увидела, как суфлер бросил текст пьесы на пол и забился в угол кулис, чтобы всласть высморкаться. К несчастью, один из критиков все же напомнил ей об этом эпизоде. В рецензии, опубликованной на следующий день в «Сан», говорилось о «весьма оригинальном проявлении пылкого темперамента, отличающего великих актрис: казни крикливой канарейки путем выбрасывания из окна». Марына была в ужасе, когда увидела это в печати. Ох уж эти критики! Им бы только смеяться и выискивать недостатки! Но в подлинное бешенство ее привела бесконечно покорная юная секретарша и учительница правильной дикции, которая ворвалась в гримерную сразу же после спектакля:

— Птица больше не поет, мадам Марина! У нее наверняка сотрясение мозга!

Мисс Коллингридж возненавидела Марыну за то, что та сделала с канарейкой.

Марына даже подозревала, что мисс Коллингридж стояла за грозным визитом двух наивных олухов из Американского общества по борьбе

с насилием над животными. Те постучали в гримерную за час до следующего спектакля и попросили, чтобы она предъявила невредимую, щебечущую канарейку. Грубо выпроводив их, Марына сказала, что все птицы и животные находятся на попечении секретарши, которую поможет найти импресарио — вестибюль, третья дверь налево. Она надеялась, что канарейка запоет.

Несколько дней Марына страдала из-за того, что решила отправить мисс Коллингридж обратно в Сан-Франциско. Неужели не от кого ждать поддержки и сочувствия?

Но во вторую неделю, незадолго до Рождества, когда она играла «Адриенну Лекуврер», название которой Уорнок убедил ее сократить до «Адриенны» («Адриенна Лекуврер, в главной роли — графиня Марина Заленска? Столько иностранных имен даже ньюйоркцам не проглотить». «Мистер Уорнок, я вижу, вам нравится выводить меня из себя. Нет такого человека, как графиня Заленска. Графиня Дембовска — есть. Это фамилия моего мужа. Но актрису, карьере которой вы столь любезно согласились способствовать, зовут просто — ведь так вы, американцы, выражаетесь? — просто Марина Заленска». «О'кей», — ответил

Уорнок.). Едва начав играть «Адриенну», Марына получила известие от Богдана — он направляется на восток вместе с Питером и Анелой. Богдан так ее поддерживал, а ей как раз нужна была поддержка, потому что в третью неделю своего нью-йоркского сезона она показывала «Ромео и Джульетту» и «Как вам это понравится». Правда, «Камилла» и «Адриенна» получили только восторженные отзывы. «Геральд»: «Она завоевала сердца всех зрителей»; «Таймс»: «Успех у публики, артистический триумф»; «Трибьюн»: «Она — великая актриса»; «Сан»: «Величайшая актриса со времен Рашели»; «Уорлд»: «Не пропустите». Но это не имело значения. С Шекспиром всегда возможны сюрпризы.

— Я вижу, не только ты оправдала ожидания, но и критики тоже, — сказал Богдан. — Целые россыпи панегириков.

— Фразы для новой афиши Уорнока, — хмуро возразила Марына.

— Бог с ним, с Уорноком.

— Увы, не получится. Он правит моей жизнью. Но скажи мне, я так же хорошо играла, как в Польше?

— По-моему, даже лучше. Как тебе прекрасно известно, дорогая, трудности придают тебе сил.

— А мой английский?

— Нет уж, — засмеялся он, — в этом вопросе тебе лучше обратиться за поддержкой к незаменимой мисс Коллингридж.

— *Армонг, я лублу тебя*, — ответила мисс Коллингридж. И затем, заметив испуганный взгляд Марыны и улыбку Богдана, снисходительно добавила: — Впрочем, не всегда.

Богдан поддерживает; Богдан успокаивает. Он весело одобрил пополнение Марыниной свиты — новый образчик искренней, асексуальной американской женщины. А мисс Коллингридж полюбила Богдана, который произвел на нее хорошее впечатление, но самое главное — она мгновенно, без всяких усилий, подружилась с Питером. «Лишней» женщиной во вновь соединившейся семье Марыны оказалась Анела, бледное и шершавое лицо которой морщилось от ревности. Эта американка, у которой столько разных шляпок, — еще одна служанка или подруга Марыны? Выбираясь из своего польского «кокона» в Анахайме, Анела научилась считать до двадцати и говорить своим мелодичным голоском: «Вон то», «половина», «больше», «хорошо», «спасибо», «слишком дорого», «до свидания». А в Нью-Йорке, благодаря любезным урокам мисс

Коллингридж, она уже освоила такие полезные фразы, как «Мадам занята», «Мадам отдыхает», «Пожалуйста, положите цветы вон туда», «Я передам ваше сообщение». И это было только начало. Анеле пришлось признать мисс Коллингридж, что ей еще оставалось?

— Все вернулось на круги своя, — сказала Марына, когда они улеглись на большой кровати в номере-люкс отеля «Кларендон». — У меня есть ты, если только ты готов меня терпеть. У меня есть Питер. У меня есть сцена…

— Именно в таком порядке? — проговорил Богдан.

— Ах, Богдан! — воскликнула она и страстно поцеловала его в губы.

В отличие от сцены, где женская измена никогда не оставалась безнаказанной, реальная жизнь, как с благодарностью отметила Марына, вовсе не обязательно переходила в мелодраму. Жизнь была долгим откисанием в горячей ванне, глицериновым массажем и педикюром. Жизнь никогда не была праздным времяпрепровождением, непрерывными попытками превзойти самое себя, заказыванием трех новых париков, выбрасыванием канарейки из окошка на сцене и вызыванием слез у незнакомцев. Жизнь была

спокойным разговором с Богданом о Питере.

— Не лучше ли поместить его в пансион, прежде чем я отправлюсь в гастрольное турне? Такая жизнь — не для ребенка.

— Мне кажется, он должен остаться с нами на время турне, по крайней мере, до конца лета. Мы вместе с мисс Коллингридж будем давать ему уроки. Слишком рано снова разлучать его с тобой.

— Но он злится на меня.

Она принесла ему конфет в белую и красную полоску. Он их выбросил. Она купила ему подарки. Он их поломал. Она читала ему книгу. Он сказал, чтобы она перестала.

Богдан ничего не ответил.

— Вчера он сказал мне, что любит Анелу больше, чем меня.

— Он не мог не рассердиться, когда ты уехала. А поскольку он ребенок, то не обязан скрывать свои чувства.

— Но я смогу помириться с ним. Он все забудет. Забудет ведь? Не может же он постоянно злиться.

— Думаю, он перестанет злиться, — сказал Богдан.

— Я пообещаю, что больше никогда не брошу его.

— Это будет замечательно, — произнес Богдан.

«Вы могли бы приехать, Хенрик. Я считаю, милый друг, что у вас больше не осталось никаких оправданий, с тех пор как я в Нью-Йорке, который намного ближе к нашей старой Европе. Богдану так хотелось, чтобы вы были со мной, ведь сам он не мог приехать. (С радостью сообщаю, что сейчас мы вместе.) Но… *passons*[90]. Итак, наконец-то я дебютировала в Нью-Йорке. И, естественно, — позвольте мне похвастать, — имела успех. Я раз и навсегда доказала себе самой, что сильная воля может преодолеть любые препятствия. Театр всегда полон (на гала-представлениях лучшие билеты продаются с аукциона), газетчики очарованы мной, женщины меня любят. И все же — вы удивитесь? — я сгораю от злости. Или, может, это печаль? Ведь я совершенно одинока в своем триумфе; не могу себя обманывать. Где мои друзья? Где та община друзей, в которую я верила? Где Польша? Конечно, все поляки, с которыми мы познакомились в прошлом году, были в зале в день премьеры, но из настоящих друзей присутствовал только Якуб, который, как вы знаете, уже полгода живет в Нью-Йорке. И что же произошло

---

[90] Примечания: 90
Здесь: промолчим *(фр.)*.

с нашим замечательным художником? Он нашел работу иллюстратора в популярном журнале „Фрэнк Леслиз Уикли“ и целыми днями сидит за столом в офисе этого журнала в компании других иллюстраторов. Он говорит, что еще надеется попутно заниматься живописью. Как жаль! А еще Якуб узнал от своего краковского друга, что недавно Ванда снова пыталась покончить с собой. Почему вы не рассказали мне об этом? Ужас, ужас, ужас! Я знаю, что если слабые люди хотят причинить себе вред, то они обязательно это сделают. Но даже в этом случае…»

Как всегда, Марына напомнила Хенрику о силе воли, — здесь звучал упрек, а также похвальба, — но, возможно, воля всего лишь синоним желания. Она стремилась к такой жизни, чего бы это ни стоило: к этому одиночеству, этой эйфории. К притворной любви и одобрению бесчисленных людей, которых она никогда не узнает; к мучительной, вдохновляющей неудовлетворенности. Ей стало бы пусто, не будь рецензии подобострастно-хвалебными. Если бы Марына верила тому, что читала о себе, то никогда бы не занималась декламационным искусством. Ее «простота» и «утонченность», ее «изящное и рафинированное искусство», ее «абсолютная естественность»

казались ньюйоркцам весьма оригинальными. Но она не верила тому, что читала, особенно сплошным похвалам — главным образом, из противоречия. Конечно, в ее естественности не было ничего естественного, ведь каждая роль была соткана из тысяч мельчайших мнений и решений. Она знала, что многое можно было улучшить. Ее голос все еще обладал мощью, признавала Марына, но за год без сцены она разучилась управлять дыханием. Она чувствовала, что словам порой не хватает остроты. Ей нужно было еще больше разнообразить интонацию некоторых пассажей. Но когда восемь выступлений в неделю все это исправят (в воскресенье Марына приходила в театр на несколько часов, чтобы поработать на пустой сцене), не станут ли ее вокальные эффекты слишком явными?

Она опасалась, что возродившееся ощущение «ворованного» мастерства заставит ее переигрывать. Одно дело, если ты выразителен всегда, — это и есть игра, и совсем другое — когда актер, вследствие вульгарности или не сознавая себя, слишком старается. Она сказала Богдану:

— Я отдала бы десять лет жизни за то, чтобы хоть раз сесть в зрительном зале и посмотреть, как я играю, чтобы узнать, чего мне следует из-

бегать.

Власть на сцене — способность постоянно, плавно, пронзительно выражать сущность. В природе существует множество необязательных моментов и несущественных жестов; но в театре характеры все время раскрывают себя. (Все остальное было бы расплывчатым, обыденным; медленным растеканием, а не четкой формой.) Играть роль — значит показывать, что в человеке наиболее выражено и устойчиво. Существенные жесты повторяются. Если я зол, то зол все время. Обратите внимание на мои сердитые, злобные взгляды. Я оскаливаюсь (если я мужчина). Думая о страданиях, которые я готов причинить своим доверчивым жертвам, я содрогаюсь всем телом. Или я добра (как добры женщины). Взгляните: я улыбаюсь, смотрю нежным взором, склоняюсь, чтобы помочь, или в страхе отшатываюсь от грязных приставаний «того, от кого я бессильна себя защитить».

Все были согласны с таким образом действий. Публика не ошибается, кого ей любить, кого жалеть, а кого презирать. Но подразумевает ли показ сущности подчеркивание тех признаков, по которым мы ее узнаем? Если бы у кого-то хватило смелости не расставлять все точки над «і» в

самом начале, была бы его игра тоньше и правдивее? Завораживала бы сильнее? Каждый вечер, когда Марына выходила на сцену, она обещала себе: «Попытаюсь что-нибудь утаить. Не буду совершенно понятной. Больше противоречий, — приказывала она себе, даже рискуя поставить зрителя в тупик. — Больше неопределенности».

«А *моя* сущность? — думала Марына. — Что бы я показала, если бы играла себя?»

Но актеру не нужно обладать сущностью. Возможно, будь у актера сущность, это ему мешало бы. Актеру нужна только маска.

Пытаясь проанализировать то невыразимое, что она привносила в свои роли, критики использовали слова «тонкий» и «аристократический». В Нью-Йорке оказалось недостаточно той подачи собственной персоны, которая очаровала всех в Сан-Франциско. Марына обаяла многих калифорнийских репортеров рассказами о тяжелом начале своей карьеры, когда гастроли по польской провинции подразумевали игру в школах верховой езды и конюшнях, а не только в театрах. Ньюйоркцы же интересовались ее мыслями о театре, коль скоро эти мысли были возвышенными. Но была ли у нее надежда избавиться от обидного непонимания, которое преследует при переезде в

другую страну? Каждый актер (певец, музыкант или танцор) где-то учился, у него были наставники и артистическая (а также нравственная) родословная; но имя Марыны Заленжовской, — равно как и другие, столь же непроизносимые имена, — ничего не говорило ньюйоркцам. Ее талант был «сиротой». И как объяснить американцам особенный смысл слова «призвание», который был взлелеян польской привычкой предаваться мечтам о невозможном?

— Мы, поляки, — заядлые театралы, — заявила она с умыслом новой группе журналистов.

В Польше она представляла устремления целой нации. Здесь же она могла представлять только искусство или культуру, которой многие боялись, как чего-то фривольного, снобистского или опасного для морали. Богдан говорил с улыбкой: американцев нужно постоянно успокаивать, что искусство является не просто искусством, а служит более высокой нравственной или общественно-полезной цели.

Для своих первых интервью нью-йоркской прессе она имела под рукой выполненный Рышардом английский перевод бережно хранимой статьи, что была опубликована в варшавском театральном журнале «Антракт». «В каждой сво-

ей роли Заленжовска полностью соответствует той эпохе, в которой живет, подобно тому, как музыка Верди вздыхает, плачет, страдает, любит и сетует на языке всего человечества. Если Верди — величайший композитор нашего века, то Заленжовска — величайшая актриса». Но Марына подозревала, что здесь никому не будет дела до того, что знаменитый польский театральный критик сравнил ее — по универсальности выразительных средств, а не по роли носительницы народных чаяний — с Верди. Американцы могли бы подумать, что она обладает не универсальным, а только оперным талантом.

Вместо этого Марына заявила:

— Господа, неужели вы можете представить меня с альбомом для вырезок в руках? Уверяю вас, я редко читаю рецензии, и у меня даже в мыслях никогда не было хранить посвященные мне статьи!

Она совладала с критиками, включая грозного Уильяма Уинтера из «Трибьюн» — самого сильного театрального критика в стране. Правда, Уинтер не смог удержаться и не высказать некоторое сожаление по поводу выбора первой пьесы. «Неужели этой утонченной артистке (и, заметьте, графине) нужно было начинать завоевание на-

ших сердец с роли подозрительной личности со слабыми легкими и еще более слабой моралью?» Уинтер, конечно, простил ее. В старом добром Сан-Франциско или в шумном Вирджиния-Сити не было и намека на подобную цензуру, и Уорноку пришлось объяснять Марыне, что Запад — более терпимый («распущенный», как говорят некоторые), а восточная Америка («Не забывайте, мы занимаем целый континент и нас пятьдесят миллионов!»), особенно центральная часть страны, могла «слегка» возмутиться моральным обликом женщин, изображаемых на сцене. Он хотел сказать, что Марыне нужно быть готовой к «изрядному количеству» нравоучений об угрозе общественной морали, которую представляет печально и широко известная пьеса Дюма.

К счастью, далеко не все критики волновались о том, не снижает ли их новый идол ценность своего искусства, играя падшую женщину. Влиятельная Дженетт Гилдер из «Геральд», ставшая горячей поклонницей Марыны, больше заинтересовалась пышным нарядом куртизанки — интерес, о котором, как заметил Богдан, невозможно догадаться по предпочтениям самой мисс Гилдер: высокому воротничку и галстуку, котелку и мужскому пальто. «Ее обнаженные руки

ниже локтя заключены в лайковые перчатки кремового цвета на двенадцати пуговицах, а от локтя до плеча — обвязаны бархатной ленточкой, закрепленной дорогой булавкой», — отмечала мисс Гилдер в описании потрясающего выхода Маргариты Готье в первом акте. И до чего забавно, продолжал Богдан, что костюмы, которые Марына носила в «Камилле», копировали и самые придирчивые, и самые модные.

Именно Богдан первым указал ей на то (сама она заметила бы это последней, сказала Марына), что нью-йоркские дамы начали подражать ее манерам, жестам и прическам (как, например, в первом акте «Камиллы», где ее волосы зачесаны наверх и украшены лентами) и что в самых фешенебельных магазинах появились шляпки, перчатки и броши «а ля Заленска», а также новый одеколон «Польская вода». На этикетке — овальный портрет Марыны висит в гостиной с фортепьяно, за которым сидит молодой человек с длинными волосами и чувственным, чахоточным лицом Шопена. Фотографии актрисы в полном облачении Маргариты Готье вывешивали в витринах аптек и продавали в табачных лавках. Газеты ежедневно сообщали последние новости о светской жизни мадам За-

ленской. Марына еще не набрала потерянный вес и, будучи слишком худой, плохо выглядела бы в своем любимом наряде для первого акта «Камиллы»: облегающее вечернее платье-кринолин из сизого шелка с зеленовато-черным бархатным шлейфом. Но ей не давали покоя фотографии новомодной парижской звезды Сары Бернар с птичьим лицом и тощей фигурой. Готовясь к будущему соперничеству, Марына поклялась себе не набирать вес.

После четырех недель в театре «Пятая авеню» и еще недели работы (там ушить, здесь выпустить) над сценическим гардеробом — он занимал теперь два десятка чемоданов, за которыми присматривала швея-немка, — Марына отправилась на завоевание Америки. Она играла с местными театральными труппами по всей стране, за исключением крайнего Запада. В Филадельфии главный городской рецензент восторгался «крестом и тиарой с бриллиантами стоимостью сорок тысяч долларов» (слух, распущенный Уорноком), — разумеется, фальшивыми, — которые она надевала в четвертом акте «Камиллы». Марына решила, что было ошибкой (ошибкой Уорнока) играть одну лишь «Камиллу» во время ее недели в знаменитом театре «Арч-Стрит». Филадельфия

разочаровала Марыну. Балтимор и Вашингтон, где она предложила также «Как вам это понравится» и «Ромео и Джульетту», оказались более гостеприимными. Затем она прибыла на пароходе в тот город, где, как сказал Уорнок, должна была играть — только Розалинду и Джульетту — перед самой образованной публикой страны, в одном из самых уважаемых театров. («„Бостонский Музей“, мистер Уорнок? В Америке театры называют музеями?» — «Только в Бостоне, сударыня».) Ее новый друг Уильям Уинтер, патриот Нью-Йорка, был скептически настроен по отношению к хваленой столице высоколобой Америки. Даже в Бостоне, поддразнивал он Марыну, она не найдет той публики, которая заполняла театры Лондона во времена Дэвида Гаррика и настолько хорошо знала Шекспира, что если актер искажал текст, неправильно произносил слово или ставил ударение, то партер и галерка могли его освистать или громогласно исправить. Но, конечно, соглашался он, в Бостоне хватало разборчивых шекспироведов. Марына уверенно приняла этот вызов. Поскольку Марына, убаюканная похвалами (несмотря на бдительность), стала уделять меньше времени своему английскому, ее потрясло, когда на следующий день после открытия

сезона в бостонском «Музее» самым беглым, на ее взгляд, исполнением роли Розалинды, она прочитала в «Ивнинг Транскрипт» о том, что выдающийся драматический критик находит ее акцент обворожительным, особенно в романтических пассажах «Как вам это понравится», но считает его дефектом, который не отвечает требованиям шекспировской шутливой беседы.

— Это правда? — закричала она на мисс Коллингридж, которую срочно вызвала к себе в номер отеля «Ленгем» для занятий. — Сколько я сделала ошибок?

— В Филадельфии вы сказали *тругой* вместо «другой», в Вашингтоне — *лублу* вместо «люблю» и *сыла* вместо «сила», а в Балтиморе вы сказали *дысу* вместо «дышу», *дрон* вместо «трон» и *жаваранак* вместо «жаворонок».

Уходишь ты? Еще не рассвело.
Нас оглушил не жаворонка голос,
А пенье соловья[91].

Это было хуже всего.

— Милая Милдред, как только вы меня терпите?

---

[91] Примечания: 91
«Ромео и Джульетта», акт III, сцена 5 *(пер. Б. Пастернака).*

— *Армонг, я лублу вас.*

— Перестаньте, Милдред. Я все поняла.

Если бы ее разочарования ограничивались лишь тем, что она не могла отшлифовать свой английский под стать Шекспиру!

В Торонто все прошло благополучно; Буффало и Питтсбург признали, что очарованы этим новым, экзотическим украшением американской сцены; Кливленд и Коламбус прямо-таки излучали одобрение Марына случайно проговорилась Уорноку, что никогда не учит новую роль больше двух дней. И каких-то три дня до приезда в Цинциннати он сообщил ей, что в афишах объявлено не только выступление в «Адриенне» и «Как вам это понравится», но еще и в «Ист-Линн» в субботу днем. В гневе Марына напомнила, что она не собирается снисходить до «Бист-Линн»[92], как она ее называла:

— Я — артистка, мистер Уорнок, — гремела она, — а не торговка слезами!

Но ничего не поделаешь — шел второй месяц турне, и она сдалась мольбам и настойчивым уговорам Уорнока, сыграв эту пьесу в Цинциннати и Луисвилле, Саванне и Огасте, Мемфисе и Сент-

---

[92] Примечания: 92

Игра слов: здесь: англ. *east* — «восточный», *beast* — «зверский, скотский» *(англ.).*

Луисе. Уорнок, конечно, был прав, убеждая ее:

— Это же денежки в банке!

— Что-что?

— Я хочу сказать, публике нравится.

— Потому что ей хочется поплакать?

— Ну да, людям нравится плакать в театре почти так же, как и смеяться, и что же в этом плохого, сударыня? Но больше всего им нравится смотреть на великую игру. На вас!

Ни одна демонстрация актерского мастерства не доставляет публике большего удовольствия, чем та, когда по сюжету главный персонаж исчезает, затем незаметно возвращается, переодетый в практических целях или преображенный страданием, под видом кого-то другого, чья подлинная личность, вполне очевидная тем, кто заплатил за спектакль, остается неизвестной всем, кто находится на сцене. Такова главная роль в «Ист-Линн» — в сущности, две роли. Одна из них — слабовольная, доверчивая леди Исабель, которая бросает любящего мужа и детей, поддавшись пагубному влиянию коварного распутника. Другая — раскаявшаяся грешница, преждевременно постаревшая от угрызений совести, которая возвращается в свою семью под видом седовласой гувернантки в очках, «мадам

Вайн», ухаживать за собственными детьми. Ее крик, когда младший из троих (она его оставила еще младенцем) умирает на ее руках: *«О Вилли, ребенок мой, он умер, умер, умер! Так и не узнав меня, так и не назвав меня матерью!»* — вызывал у публики целую бурю эмоций. И зрители вновь обливались слезами, когда, умирая, она раскрывала свое инкогнито и просила у мужа прощения: *«Пусть мой нынешний образ изгладится из твоей памяти, представляй меня, если сможешь, невинной доверчивой девушкой, которую ты взял в жены»,* была прощена и умоляла его не наказывать двух оставшихся детей за ее проступок: *«Будь добр и нежен к Люси и малютке Арчи,* — хрипло шептала она. — *Не карай детей за грехи их матери!»*

«Никогда, никогда!» — восклицал актер, игравший Арчибальда в этой труппе; в Америке были десятки Арчибальдов, но только одна Исабель — самая лучшая и необычайно грустная, какой ее научилась играть Марына. Арчибальд наклонял голову. Она видела перхоть у него на воротнике. Она кружилась в вихре неизбывного горя. «Что я делаю?» — спрашивала себя Марына, мало-помалу поддаваясь неистребимому волнению и громкому пафосу «Ист-Линн».

Она искала немыслимого покоя.

В Чикаго, где она десять дней играла в оперном театре «Гулиз», ее засыпала цветами, подарками и горячими просьбами постоянно растущая польская колония — самая многочисленная в Америке. В воскресенье, после торжественной мессы в церкви Св. Станислава вместе с Богданом и нескончаемого завтрака, который давал монсеньор Климовский, Марына выступила в большом зале для собраний, примыкавшем к церкви (выручку должны были распределить между нуждающимися прихожанами), — читала стихи Мицкевича, отрывки из «Мазепы» Словацкого и некоторые свои знаменитые монологи из Шекспира: милосердную речь Порции, сцену безумства Офелии и сомнамбулический бред «шотландской леди». Она так беззаботно исполняла Шекспира, перелицованного на польский. Угрюмые мужчины в поношенной одежде и заплаканные женщины в косынках подходили и целовали ей руки.

Когда так много путешествуешь и на каждом новом месте делаешь одно и то же, мир уменьшается. Новый город сводился к размерам и обстановке ее гримерной, большей или меньшей непрофессиональности актерской труппы,

чувству безопасности, когда она видела Богдана на «посту» (за кулисами, как предпочитал он сам, или в ложе, как часто настаивала Марына, чтобы лучше видеть его со сцены), и его теплых заверений, что все прошло хорошо.

Когда Марына была юной актрисой в труппе Генриха, она думала, что сполна испытала все тяготы гастролей. Но в Америке необходимость передышки практически не признавалась: американцы изобрели непрерывное турне — спектакль за спектаклем — с несколькими днями отдыха между городами. Когда Марына ехала в купе поезда, в стуке колес ей слышались реплики ее персонажей. Богдан читал. И не отрывался от книги, когда после какой-нибудь безлюдной станции их переводили на запасный путь, где они целый час дожидались, пока мимо прогрохочут более привилегированные составы. Питер выглядывал в окно, бормотал что-то себе под нос, а Марына вставала и садилась, садилась и вставала. Как-то раз она прервала его и теперь знала, что лучше этого не делать.

— Двадцать восемь чего, милый?

— Мама, ты все испортила!

— Ради всего святого, что я испортила, Питер?

— Я складывал номера на товарных вагонах.

Там было 1, 9, 8, 7, 3, а потом ты…

— Извини. Больше не буду тебе мешать.

— Мама!

— Ну, что я еще не так сделала?

— Мне придется ждать другого поезда.

Она часто не высыпалась за ночь, но отличалась удивительной выносливостью. Она могла заснуть в любой момент и проснуться через час свежей и полной сил.

Уорнок ждал от нее жалоб.

— Как видите, я не жалуюсь, мистер Уорнок, — говорила Марына посреди ночи, попивая чай в конце вагона где-то в заледеневшем Висконсине. Она сыграла два спектакля в Большом оперном театре Милуоки и теперь должна была дать еще три в Музыкальной академии Канзас-Сити. Они остановились в товарном депо, и поезд покачивался из стороны в сторону, скрипя и содрогаясь, уже более часа. — Все эти ужасные ночные поездки. Грязные гостиницы, в которых вы размещаете меня с семьей. Жуткие актеры, с которыми приходится играть. Это первое американское турне Марины Заленской, и оно многому меня научило. И вот что я скажу вам, только, пожалуйста, послушайте меня, потому что я не люблю повторять: больше *такого* не будет.

Польша была концентрической — все знакомое, насыщенное, центробежное. Эта же страна становилась все более обширной и расплывчатой, растекалась и разрасталась во всех направлениях. Постоянно перемещаясь из одного незнакомого места в другое, Марына была как никогда сосредоточенной, стойкой и невосприимчивой к окружающей обстановке. Игра дарила ей настойчивость и приносила удовлетворение. Шекспировские Джульетта и Розалинда; Адриенна и Маргарита Готье; даже несчастная леди Исабель из «Ист-Линн» — как уютно она чувствовала себя в их компании! Иногда они приходили в ее сны и беседовали друг с другом. Ей хотелось утешить их. Им удавалось утешить ее. Часто ей достаточно было лишь думать, как думают они.

А между тем что-то отступало все дальше, оставалось невысказанным. Что-то судорожно мелькало и снова закрывалось. Она вспомнила, как три года назад из-за брюшного тифа у неё выпали волосы, обнажив, к ее изумлению, два темно-розовых пятна на затылке: одно на макушке, другое — на загривке Повернув ручное зеркальце под нужным углом, она с отвращением смотрела на отражение этих родимых пятен в большом зеркале гримерной у себя за спиной.

Только тупейный мастер да костюмерша видели ее затылок, вскоре покрывшийся первым пушком, а затем волосы полностью отросли, и вряд ли ей когда-нибудь снова придется увидеть голую кожу своего черепа.

Ты смотришь, схватываешь, что-то неприятное, неприглядное появляется в поле зрения… а потом исчезает, и нет смысла гнаться за ним, нет смысла настаивать на существовании того, чего больше не видно. Как легко тревожное знание становится знанием бесполезным!

Предположим, во время долгой разлуки в прошлом году Марына и Богдан искали любви, как водится, на стороне: они не собирались рассказывать друг другу о том, что было понятно без слов. Любовь, любовь в браке полна великодушных умолчаний. Они хотели быть великодушны друг к другу.

Марына думала, что знает, почему так бесповоротно привязана к этому человеку. «Он очень бдительный, и я чувствую себя свободной».

Но не слишком ли самонадеянно предполагать, что Богдан всегда будет рядом, на каждом спектакле? В Польше он был графом Дембовским, патриотом и знатоком театра. А в Америке стал человеком без занятия, но с ролью: стоять рядом

с женой в пылающем горниле ее славы.

— Я волнуюсь о тебе, дорогой. Проклятие моей профессии в том, что приходится всегда думать только о себе. Я так благодарна за твое участие, твою поддержку, твою любовь…

— Ты волнуешься обо мне? — сказал Богдан. — Не может быть. — Хотел ли он упрекнуть ее? Нет. — Ты лишь просишь, чтобы я подбодрил тебя.

— Наверное, да, — ответила Марына, успокоившись.

В самой западной точке турне — неделя в оперном театре «Бойд» в Омахе — Богдан покинул жену и вернулся в южную Калифорнию. Заявил, что хочет купить дом, куда они могли бы приезжать, когда у Марыны перерыв в гастролях. Она предполагала, что Богдан вернется в Карпинтерию и снова попытается проникнуть в таинственный «Аэро-клуб». Она хорошо знала Богдана и была уверена, что, получив разрешение понаблюдать за полетом, он вскоре захочет сам стать аэронавтом.

— Если с тобой что-нибудь случится, — сказала Марына, — я этого не переживу. Но ты должен это сделать.

Богдан не мог успокаивать ее в письмах, по-

тому что Марына постоянно была в разъездах; и они договорились обмениваться телеграммами только в случае крайней необходимости. Ее турне должно было закончиться в июне неделей в бруклинском театре «Парк», где она собиралась сыграть «Камиллу», «Адриенну» и «Ромео и Джульетту». Они купили билеты на пароход «Европа» — рейс в начале июля. Если ничего не помешает, Богдан приедет к ней в Нью-Йорк.

Он, конечно, хотел заставить ее поволноваться. Это его супружеское право. Но обязанностью Марыны перед своим искусством и здоровьем было не волноваться слишком сильно.

На самом деле, она не хотела, чтобы Богдан рассказывал обо всех своих планах; по крайней мере, она могла предоставить ему право пережить собственное тайное приключение. Ему не хватало ее доверия. Возможно, они полетят. И наверняка разобьются.

«Нет, мама, я больше не могу здесь оставаться. Через неделю собираюсь поехать в Закопане. Врач, что лечил Стефана, мой большой друг, д-р Тышиньский, верно, я должна навестить его, пока я здесь, — нет, он больше не живет в Кракове. Да, он уже около года живет в Закопане. Мама, я не понимаю, неужели ты хочешь, чтобы мне

было неловко? В гостинице мне будет прекрасно. Так гораздо лучше, и у меня масса дел. Триумфальное возвращение на родину. Это ирония, мама. Сугубо частный визит, ты знаешь. Мне покоя не дают. Почему? Ручаюсь, мои поклонники перестанут изводить тебя и Йозефину, как только я уеду. Возможно, я напишу „Письмо из Америки“ для „Антракта“, пока я здесь, как ты думаешь, Богдан? Нет, в Кракове у меня никогда не будет того душевного спокойствия, которое мне нужно, я напишу его в Закопане. В Варшаве? А зачем мне ехать в Варшаву, мама? И речи нет. Если мои варшавские друзья захотят меня увидеть, они могут сесть на краковский поезд. Просто меня смертельно раздражает администрация Имперского театра. Да, я считала директора своим другом. Пока не узнала, что он обычный мстительный бюрократ. Богдан, ты не согласен? Мы никогда не задумывались над этим. Я начну устраивать сцены. А мне необходимо спокойствие. Как бы ни хотелось встретиться с прежними коллегами (больше всего жалею, что не увижу Тадеуша на главной сцене Имперского), я не поеду в Варшаву. Просить, чтобы меня взяли обратно? Мама, ты в своем уме? Я до сих пор чувствую себя оскорбленной. Но в Америке я остаюсь не поэтому. Мы все

равно собирались вернуться в июле — августе и навестить родственников. Позвать в гости друзей. Богдану нужно поехать прямиком в Познань, заглянуть в некоторые поместья Дембовских, увы, ему придется обсуждать с братом вопросы наследства. Досадно, что мы с ней так и не встретились. Мы покинули Нью-Йорк, вышли в открытый океан! Она была удивительной женщиной, Йозефина. Совершенно несовременной, такой непочтительной. В Польше таких женщин больше не сыщешь. Богдан, у моей матери есть воздыхатель, если только к нему подходит это вежливое словцо. Неужели в этой стране все продолжает идти своим чередом? Ей уже скоро восемьдесят! Глиньский, пекарь с Флорианьской улицы, нескладный человечек с большой продолговатой головой и усыпанными мукой усами, я наверняка застану его на месте, когда зайду с утра посидеть часок с *le petit*[93]. Я? Нет, не собираюсь. Не вижу в этом ничего плохого. Он разрешает Питеру приходить в пекарню и слоняться там без дела. Да, теперь его зовут Питером. Нет, правда, это американское имя, но уверена, что тебе он позволит называть его Петром. Мама, ты удив-

[93] Примечания: 93
Малыш *(фр.).*

лена, что он не забыл польский? Но ему ведь приходится общаться с Анелой. Мой секретарь? Анела сказала или Питер? Она американка. По-польски — ни слова. Конечно, *могла бы* выучить, но зачем? Это же Америка, мама! Анела просияла, когда я сказала, что она поедет с нами, а мисс Коллигридж вернется в Калифонию на два месяца. Но возвращение в Польшу, похоже, ее не растрогало. Наверное, потому, что у нее нет семьи. У меня так болит сердце. Нет, это я сама с собой, мама. Я так рада видеть тебя здоровой, мама. Поверьте мне, Хенрик, самое большое удовольствие, которого я жду от этой поездки, — увидеться с вами. Богдан, милый Богдан, ты в самом деле не хочешь, чтобы я поехала с тобой в Велькопольску? Игнацы не посмеет. Мама, перестань уговаривать меня съездить в Варшаву! Да, наложили штраф. Я же тебе говорила. В каждом театре есть список штрафов, взимаемых с актеров за разные нарушения дисциплины. Мама, разумеется, меня никогда раньше не штрафовали! Десять тысяч рублей, мама. Да, *десять.* Столько стоит моя свобода. Хоть теперь-то ты поняла. Я раздала все подарки, которые привезла сестрам, братьям и их семьям, Хенрик, и отдала Питера на попечение матери и Йозефины, с ним все кругом носятся. Нет, Питер,

ты не можешь поехать со мной в Закопане. Но Анела останется с тобой. Нет, мама уедет ненадолго. Мама вернется через недельку. Мама, я не хочу блинов с яблоками. Я сыта, большое спасибо. Мама, я… мне тридцать восемь лет! Богдан, представляешь, что Анела сказала сегодня утром, когда мы уходили с Посельской улицы? „Здесь не так хлопотно, как в Америке“. Да уж, у нее хлопот поубавилось! У меня, к сожалению, тоже. Хенрик, жаль, что вас не было на вокзале, когда мы приехали из Бремена. Толпы, цветы, песни! Точно так же, как при отъезде. Я была очень растрогана. Не могла представить себе, что буду чувствовать, когда приеду на родину, а ты, Богдан? Вся моя американская эпопея могла показаться теперь путешествием на Луну. Но это же не так, Богдан.

Американская лесть неглубока, а в польской есть такие глубины… ты знаешь, о чем я. Да, интервью. Одно-единственное. Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли кофе? Я могу уделить вам только час. Да, я очень счастлива в Америке. Конечно, о театре там совершенно другие представления. Нет, у них есть превосходные актеры. Полагаю, вы не слышали об Эдвине Бутe? Само собой разумеется, я собираюсь снова выступать в Польше! Я всегда буду прежде всего

польским патриотом и польской актрисой. Но, как современная артистка, я хочу, чтобы с моим искусством познакомилось как можно больше людей. Для меня вполне естественно играть по-английски, и в следующем году я планирую сезон в Лондоне. Благодаря чудесам современного транспорта, можно привезти свое искусство куда угодно. Теперь меня не смущают большие расстояния. В этом отношении я стала настоящей американкой. Богдан, тебе обязательно нужно сейчас уехать? Останься еще на пару дней. Богдан, каким маленьким кажется наш красивый старинный Краков! Ничего не изменилось. Ни-че-го! Знаю, это глупо, Хенрик, но я боюсь приезжать в Закопане. А вдруг там все изменилось? Вы знаете, каково возвращаться после долгого отсутствия. Хочется, чтобы даже то место, откуда ты убежал, оставалось в точности таким же, каким ты его покинул. Те же безобразные картины на стенах, тот же сонный пес под столом, та же пара фарфоровых собачек на каминной полке, те же собрания непрочитанных классиков в кожаных переплетах в книжном шкафу, тот же безголосый щегол поет на окне. Он приезжает в Краков, Богдан. Он смеется надо мною в письме, будто не может ручаться, что Закопане не изменилось.

О господи! У вас на лице морщины, Хенрик. Я сейчас расплачусь. Нет, дело не в морщинах, вы же знаете. Дело в том, что вы — здесь. И волосы поседели. Что это у вас руки дрожат? Дайте же еще раз обнять вас, Хенрик, мой любимый друг. Мне нужно было приехать в Закопане, простите меня. Я могла бы отвести глаза, проходя мимо дач, выстроенных богачами из Кракова. Я могла бы сказать, что больше не узнаю нашего Закопане, но вы бы мне не поверили. Вы же знаете, как я люблю преувеличивать. Надеюсь, вы не забыли, что ваша Марына — актриса? Дайте еще разок поцеловать вас в щеку. Это правда, я не хочу, чтобы хоть что-нибудь из того, что я оставила, изменилось, да и зачем ему меняться? Прошло не так уж много времени. Всего два года. Вы не *можете* назвать два года вечностью? И кто же из нас после этого актер? Вы смеетесь надо мной, Хенрик? Конечно, я хотела, чтобы те, кто остался, увидели, что я изменилась — к лучшему. Что вы сказали? Да, я *стала* сильнее. Да. Впервые в жизни я понимаю, что значит быть одной. Хоть я никогда не бываю одна. Ну, вы понимаете. Нет, я *не* бросала вас навсегда, мой милый, милый друг. Знаете, что значит быть величайшей польской актрисой? Помните, как верхом моих желаний

было стать лучше Габриелы Эберт? Теперь я, естественно, хочу быть лучше Сары Бернар. Но лучше ли я, чем Бернар? Я никогда не узнаю этого, если останусь в Польше. Мне нужны испытания, подвиги, загадки. Мне нужно чувствовать себя не в своей тарелке. Именно это делает меня сильной, теперь-то я это знаю. Мне нужно убежать от самой себя, вы понимаете, Хенрик. И речь идет не только о том, чтобы стоять на сцене, изображая и преображая нечто. Ведь что такое игра? Игра (конечно, я могу сказать это только вам, Хенрик) — это *ложное* представление. Театр? Притворство и вздор. Нет, я не разочарована. Наоборот. Толпы студентов поют серенады у меня под окном. Каждый день — груды живых цветов, сваленных у входа в гостиницу. Намедни я слышала, как Питер рассказывал матери, будто в пьесах ему нравится то, что люди не умирают по-настоящему, а только притворяются! Избавь Питера от мамы и Йозефины и покатай его верхом, Ярек. Не сидеть же ему целыми днями в квартире или в пекарне. Ему нужно двигаться, бывать на свежем воздухе. После того как я покинула наш фаланстер, — не смейтесь, Хенрик! — наступили тяжелые времена, но я не могла попросить Богдана помочь, у него было столько проблем с фермой.

Я продала все, что могла, заложила драгоценности и кружева, и порой у меня не было денег даже на фунт чаю и кусок сахара, и я ложилась спать голодной. Но бедность — не самое страшное. Ведь за нечаянной радостью наступила глубокая печаль. Я стала сильнее благодаря тем жертвам, которые принесла. Простите меня, что не вдаюсь в детали.

Я чувствую, что если расскажу об этом, даже вам, то совершу самое большое предательство по отношению к Богдану. Вы знаете? Он… он говорил с вами, когда приехал? Конечно, нет. Я посчитала, что он будет сама рассудительность и достоинство. Даже не упоминал обо мне? Ни разу? Он очень злится на меня. Тогда откуда же вы *узнали,* Хенрик? И зачем я только спрашиваю? Вы знаете меня, как никто другой. Я — чудовище. Я отвергла любовь. Я — плохая мать. Я лгу всем, включая себя. Нет, я не хочу вашего прощения, Хенрик. Нет, наверное, хочу. Да? Я не кажусь вам таким уж чудовищем? Я хочу положить голову вам на плечо. А вы обнимите меня. Как приятно! Мой Хенрик, мой самый дорогой друг, а как *вы* поживаете? Что я все о себе да о себе! Богдану нужно поехать и договориться со своими капризными родственниками. Пролить слезу

над могилой своей бабушки. Она была суровой женщиной. Я восхищалась ею и побаивалась ее. С Богданом она была *toute tendresse*[94]. Когда он вернется, мы на время остановимся в Париже, а в конце августа отплывем из Шербура, и весь сентябрь я буду прослушивать актеров для труппы, которую собираю для своего осенне-зимнего турне — оно начнется с шестинедельного сезона в Нью-Йорке. Крыстына, голубушка, дай взглянуть на тебя. Конечно, мы сможем поработать пару дней над твоей Офелией. Ничто не доставит мне большего удовольствия. Приходи ко мне в гостиницу завтра после обеда. Хорошо. Хорошо. Неуклюжая походка. Мне нравится. Можешь даже споткнуться, когда будешь подносить букет Гертруде. Будь смелее. Можешь использовать любой эффект, только не затягивай. Создай собственную роль и следи, чтобы ее не затмевало мое исполнение. Когда великая Рашель привезла свою шотландскую леди в Лондон (не притворяйся, будто не знаешь, кого я подразумеваю под шотландской леди!) и великая миссис Сиддонс сказала ей, что все возможные варианты, как играть сцену сомнамбулизма, уже исчерпаны,

---

[94] Примечания: 94
Сама нежность *(фр.).*

Рашель ответила: „Разумеется, не *все.* Я собираюсь лизать свою руку“. Самые буйные фантазии, Крыстына! Пошатывайся! Браво! У тебя большой талант. Но ты робеешь. Актер должен пару раз „выстрелить из пистолета“. Даже Офелия — не просто жертва. Остерегайся вялых реплик, вялых жестов, вялых уходов. Не говорите так, Хенрик. Я скоро вернусь. Как же вы останетесь без меня? Хенрик, Хенрик. Уж и подразнить вас нельзя! Не будьте таким угрюмым. Смените тон, Хенрик. Ах! Вы все равно спросите меня, не сможете не спросить. И получите ответ: мне кажется, я ни по ком не скучаю. Я так занята. Иногда скучаю по Богдану, что может показаться странным, ведь он почти всегда со мной. Вам это не кажется странным? В самом деле? Идеальный муж? Отстраненный-умный-снисходительный? Теперь вы говорите, как Рышард. Такое высказывание в его духе. Но *вам* не обидеть меня, милый Хенрик. Вы знаете, что я не настолько сосредоточена на себе самой, как может показаться. Я беспокоюсь, что Богдану нечем заняться Ему очень нравится Калифорния, и он ведет переговоры насчет земельной собственности, расположенной в живописном каньоне в горах Санта-Ана, где мы могли бы отдыхать вместе, когда я не буду

выступать. Разумеется, я всегда буду выступать. Актер, пользующийся успехом в Америке, играет двести пятьдесят, а то и все триста спектаклей в год. Очень помогает. Она не секретарь, а скорее гувернантка. Очень строгая и бедная. Каждому человеку нужна гувернантка, даже мне, и Питер ее обожает. Йозефина, ты не думала о том, чтобы еще раз выйти замуж? Я понимаю, почему ты оставила сцену, ты не настолько тщеславна или эгоистична, чтобы быть актрисой, и более чем похвально, что ты живешь с мамой. Но тебе следует подумать и о себе. Не хмурься, Йозефина. Брак не всегда наилучшее решение для женщины, но ты, моя любимая сестрица с морщинками на красивом лбу, *ты* должна кому-нибудь себя посвятить. А еще лучше — какому-то идеальному делу или служению, как Хенрик. Тебе нужно было стать учительницей. Да, он — изумительный человек. Возвышенная душа. Его благотворительная деятельность в Закопане восхищает. Ты тоже могла бы… ах, ты еще прелестнее, когда краснеешь, Йозефина. Хенрик, у меня есть идея. Только пока я не могу вам о ней рассказать. Я сама подведу вас к ней. Да, американские турне изнурительны и могут продолжаться до тридцати двух недель. Но в жизни ведущего актера есть место для удо-

вольствий, в основном „детских“: подурачиться, помечтать, пофантазировать, покапризничать. Вы улыбаетесь, Хенрик, означает ли это, что вы считали меня совершенно неспособной рассуждать здраво? А я *должна* быть пылкой, властной, непостоянной и жаждать любви; и у меня будет понимающая, избранная семья: другие актеры, мой деспотичный импресарио, мисс Коллингридж, одевальщица… и Богдан будет проводить со мной сколько-то месяцев в году, хоть я и не могу рассчитывать на то, что он будет просто ездить со мной. В Калифорнии у него были свои приключения. Может, он привязался к кому-то?

Он ничего не говорил, и я благодарна ему за это, но, как бы там ни было, он по-прежнему хочет делить свою жизнь со мной. Питер, мама говорит с дядей Хенриком. Да, вы с Анелой можете сходить в пекарню. Нет, мама, к обеду меня не жди. Завтра возвращается Богдан. Через несколько дней мы поедем в Познань и остановимся на неделю у его сестры. Он — мой ангел-хранитель, Хенрик. Да, я знаю, что вы не об этом спрашиваете. Я не *знаю.* Но он нужен мне. Необходим. Мне с ним хорошо. И спокойно. С ним мне никогда не скучно. Я *надеюсь*, что люблю его. Было бы так несправедливо не любить. Да, я *люблю* его. Ах! Вы слишком суро-

вы со мной, Хенрик. Но вы, конечно, правы. Я же сказала: я — скверный человек. Никого не люблю. Нет, меня не удручает чужая любовь. С чего вы взяли? Но *вам* все равно не стоит тревожиться обо мне. Вы слишком добры ко мне, Хенрик. Слишком, слишком добры. Дайте мне поплакать. Я все порчу. Никому не приношу счастья. Вы качаете головой. Но я безутешна, Хенрик. Нет, я не играю. Сказать тебе, что такое игра, Тадеуш? Игра — это *ложное* представление. Искусство актера состоит в том, чтобы использовать пьесу для показа своей способности пленять и притворяться. Актер похож на фальшивомонетчика. Богдан, у нас новости. Тадеуш и Крыстына собираются пожениться. Я не имею ничего против, если люди ведут себя предсказуемо, а ты? Они созданы друг для друга. Надеюсь, эта дуреха не собирается отказаться от своей карьеры ради семейной жизни. Она талантлива, талантливее Тадеуша. И я стану крестной матерью их первенца. Ох, Богдан, как ужасно быть старой! Ненавижу стареть. Ты говоришь так, потому что очень добр и любишь меня, но я знаю, как выгляжу. Мой прекрасный Краков! Американские города невероятно уродливы, Йозефина. Уродливы и… непочтительны. Но земля, земля — горы, пустыни, прерии и бурные реки

— величественнее, вдохновеннее и грознее всех наших европейских фантазий об Америке. Вы не можете себе представить, насколько… эпична южная Калифорния. Надеюсь, когда-нибудь вы увидите ее, Хенрик. Там даже дышится по-другому. Океан и пустыня во всем их высокомерном безразличии внушают совершенно иное представление о жизни. Ты глубоко вдыхаешь воздух и чувствуешь, что способен совершить все, что задумал. Нет, мама, я не больна. Мне просто нужно денек отдохнуть. Слишком много приемов, слез и встреч. Меня ждет множество предложений вернуться на польскую сцену, от которых я не смогу отказаться, включая пост директора моего собственного театра. Богдан, почему мне здесь так плохо? Может, потому, что я все время думаю о Стефане? Теперь я припоминаю, почему мне захотелось уехать из Польши. Потому что… нет, не знаю почему. Даже сейчас. Мне так беспокойно. Мой собственный театр. Польский театр. Чего мне еще желать? Я приехала покрасоваться и вызвать восхищение, убедиться, что меня по-прежнему любят и скучают по мне, и теперь все просят меня вернуться, но это не доставляет мне никакого удовольствия, отнюдь. Барбара, давно я не видела тебя такой довольной, дорогая моя.

Ты иногда вспоминаешь наш Арденнский лес? Какая пленительная мечта! И какими мы были решительными! Я очень горжусь нами. Александер, мы купили землю в каньоне Сантьяго. Ранчо „Ханнекот“. Ты помнишь. Мы все должны встретиться там следующим летом, когда построят дом. Богдан хочет разводить скот, но мы наймем работников, и вам не придется кормить лошадей или доить коз, обещаю! Это будет замечательно. Вы оба, Данута и Циприан с девочками и… Ах, не напоминайте мне. Это не выходит у меня из головы. И некому было остановить ее! Это ужасно. Ужасно.

Мы, конечно, пригласили бы Юлиана. Но я знаю, что он не приедет. И Якуба из Нью-Йорка. Рышарда? Ну, разумеется, правда, Богдан? Он по-прежнему снимает комнату в Варшаве? В Женеве? С каких это пор? И почему Женева? Нет, мы не получали от него никаких вестей в последнее время. И вы тоже приезжайте, Хенрик. Не в Калифорнию, это не для вас. В этом году я собираюсь набрать собственную труппу и совершить более длительное турне по стране. В Америке ведущим актером „управляют“, словно бизнесом, и „управляющий“ сопровождает его в турне. А вы будете врачом нашей труппы. В дороге кто-нибудь все-

гда болеет. Превосходная мысль! Подумайте над этим, Хенрик. Возможно, я приглашу также Йозефину. Моя сестра — удивительная женщина, вы не находите, Хенрик? Ностальгия, Александер? По Польше? По окаймленным елями тропинкам в Татрах, каштановым аллеям в Кракове и тому подобном? А, по моей прежней жизни. Мне кажется, не испытываю. Нет, Хенрик, ничто не вызывает у меня ностальгии. Я отреклась от прошлого. Америка помогла мне в этом. „Америка, Америка!“ — иронизируете вы; кстати, я люблю этот тон. Если вы полагаете, что я нашла в своей новой стране все, что *хотела* там найти, то вы правы, Хенрик. Америка и в этом мне помогла. Ты что, сам испек эти кайзерские булочки, мой милый Питер? Они восхитительны. Богдан, на днях я узнала одну очень интересную вещь. По словам Хенрика, еще совсем недавно ностальгия считалась серьезной, порой смертельной болезнью. Самым опасным временем года была осень, а наиболее уязвимыми — люди военной профессии. Практически все: любовное письмо, картина, песня, ложка вкусной овсяной каши твоего детства, несколько звуков родной речи, подслушанных на улице, — могло вызвать это заболевание Все истории болезни, которые он

читал, были опубликованы во французских медицинских журналах, но весьма маловероятно, что только французы способны умереть от привязанности к прошлому. Мы сошлись во мнении, что поляки, должно быть, еще больше подвержены этому недугу, подобно тому, как американцы превзошли всех в своем умении избавляться от прошлого. Да, очень вкусно, мама. Нет, мама, я не хочу ни свиную котлетку, ни цветную капусту в панировочных сухарях и сливочном масле. (О господи!) Мама, я *не худая.* Самая популярная европейская актриса, королева французской сцены, весит не больше… да ничего страшного! Мама, у тебя есть хоть *малейшее* представление о том, кто я такая? Именно этот вопрос, Богдан, я ему задала. Вероятно, спад этой болезни — одно из многочисленных благ прогресса: парового двигателя, телеграфа и регулярных почтовых сообщений. Но ты же знаешь Хенрика, — оптимизм чужд его натуре, и он не может обойтись без язвительных замечаний, — он сказал, что, по его мнению, спад этого чувства в летальной форме предвещает возникновение нового заболевания — неспособности к привязанности. Конечно, иногда я думаю о Рышарде, Хенрик. Доктор, пропишите мне что-нибудь болеутоляющее.

Может, это просто „нечувствительность“? Я была не просто эгоистична. Я паниковала. Он потряс меня. Я разрывалась на части. Богдан, Хенрик сказал мне вчера (ты знаешь, каким он бывает резким): „Польша любит вас. Вы нужны Польше. Но вам самим Польша больше не нужна“. Что я могла ответить ему? Хенрик, существует два типа людей. Одни, подобно вам, милый друг, чувствуют себя хорошо только там, где все понятно и знакомо. И другие, к породе которых принадлежу я и которые чувствуют себя загнанными, подавленными и раздраженными, когда они дома. Что не исключает моего пламенного патриотизма. В Йозефине, Хенрик, меня больше всего восхищает ее великодушие. Ах, Богдан, как Игнацы может быть таким непреклонным! Наверное, тебе с ним очень трудно общаться. Мы заслужили немного отдыха. Я рада, что мы сделали над собой усилие и проводили Хенрика до Закопане. Неужели чета закаленных южных калифорнийцев испугалась бы двухдневной поездки в кибитке? Как не порадоваться приходу прогресса в деревню и появлению нового, прекрасно оборудованного диспансера Хенрика? Деревня по-прежнему остается нашим суровым, полностью отрезанным от мира Закопане, и мы

наслаждались (какие наслаждения!) и гуляли (какие прогулки!), взбираясь выше, чем собирались вначале, чтобы полюбоваться знакомой панорамой, и горцы так радушно встречали нас. Я знаю, что ты хотел остаться до воскресенья. Но так мы причиним Хенрику еще больше страданий. Он будет скучать по нас еще сильнее, если мы останемся дольше. Какой лик у Йозефины, какие волосы. Вы не находите ее привлекательной, Хенрик? Вы слепец, друг мой. Где мы? В Закопане. Но я не хотела ехать в Закопане. Мы в Кракове. Но я не хочу оставаться в Кракове. Питер, обними свою бабушку, тетушек, дядюшек и двоюродных братьев и сестер. Ну конечно, ты можешь попрощаться с паном Глиньским! Богдан, любимый, я знаю, что покажусь тебе непростительно капризной, но я не хочу здесь больше оставаться, как мы запланировали. Давай уедем в Париж немедля. Мне нужны наряды, да, многодневные примерки. И каждый вечер мы будем ходить в театр. Возможно, в „Комеди-Франсез“ сейчас играет *она.* Я знаю, что возненавижу ее и влюблюсь в нее. Меня уже гложет зависть, когда я представляю себе, как она произносит торжественные фразы Расина и его величавые периоды. Возможно, мне не понравится ее „Адриенна Лекуврер“ и „Дама с

камелиями“, но ее „Эрнани“ и „Федра“ — больше всего на свете! До тех пор, пока она не узнает, что я сижу в зрительном зале. Мама, я непременно приеду следующим летом. А вы с Йозефиной приезжайте жить к нам в Америку, когда у нас с Богданом появится свое ранчо. Ты — старая? Не смеши меня, мама. Ах, Польша! Не стань моей несчастной любовью. Будь моей силой, гордостью и щитом, который я несу в мир. Ах, Рышард, твои руки, губы, *ton sexe*[95]! Богдан, у тебя все хорошо? У меня — да. Я смиряюсь и торжествую, Хенрик. Кто бы мог подумать, что все случится именно так?»

Они уехали из Польши в конце июля; прибыли в Париж, где Марына три недели шила дюжину новых гардеробов, позировала для портрета, ходила в театр (она увидела Сару Бернар в роли доньи Соль в «Эрнани» Виктора Гюго и затем пошла за кулисы, чтобы засвидетельствовать почтение своей великолепной сопернице), посещала галереи и Всемирную выставку. 20 августа они отплыли из Шербура и через неделю добрались до Америки, как раз застав последний месяц зловонного нью-йоркского лета. Они снова оста-

---

[95] Примечания: 95
Твой член *(фр.).*

новились в театральном районе, неподалеку от Юнион-сквер: номер-люкс в отеле «Кларендон» был завален цветами, которые быстро портились в этой изнурительной, одуряющей жаре. Марына нашла *свой* отель, где всегда будет останавливаться, выступая в Нью-Йорке; и во время своего второго турне по Соединенным Штатам она добьется еще большей, неизменной популярности. Люди «странствующих» профессий хотят, чтобы их непременно встречали и носились с ними в продолжительных паузах гастрольных турне. Когда останавливаешься в одном и том же номере знакомого отеля или каждый вечер ужинаешь в одном и том же ресторане, удовольствие заключается в том, что тебе почти не приходится решать.

Марына была счастлива, что возвращается в Америку, но не смогла подавить разочарования (воображение ее подвело), когда они вошли в док. Было ли это огорчением из-за того, что ее никогда по-настоящему не понимали? Или нетерпимостью ко всем этим колоритным, забавным, убежденным, самодовольным американцам? Но какими же она их себе представляла? Впрочем, все это — разочарование, огорчение и нетерпимость — прошло, как только она начала

прослушивания актеров для своей труппы. Чтобы чувствовать себя уверенно, ей достаточно было приходить каждое утро в театр и брать в руки бразды правления — в театр, где она откроет сезон в начале октября и будет играть шесть недель подряд. Когда Марына выходила на улицу после полудня, ей становилось дурно от солнечного света, жары и наглых, неумолимых толп. Приходилось напоминать себе, что это не Америка, а всего лишь Нью-Йорк — такой важный, потный, тесный и переполненный. Домом — тем уголком ее новой родины, который Марына могла бы назвать «домом», — был не Нью-Йорк, где начиналась эмигрантская Америка, а то место, где Америка встречалась с океаном и заканчивалась. Богдану нужна была Калифорния — конец и последнее начало; ей тоже.

Во время второго нью-йоркского сезона в театре «Пятая авеню» Марына снова сыграла, с еще более шумным успехом, свою Адриенну, Маргариту Готье и Джульетту, а в последние две недели добилась очередного триумфа в заглавной роли «Фру-Фру» — еще одной горячо любимой французской пьесы о расплате за адюльтер. Сюжет? Ах, сюжет! Жизнерадостная, незрелая Жильберта де Сарторис по прозвищу Фру-Фру впускает в дом

свою скромную незамужнюю сестру Луизу — образец женской добродетели, которая замещает испорченную жену-ребенка и становится объектом сыновней и супружеской любви. После этого Фру-Фру, вообразив, что сестра ее предала, сбегает со своим бывшим невоспитанным поклонником, который никогда не переставал ее добиваться, но возвращается через несколько лет, раскаявшись и смертельно ослабнув, и муж прощает ее и позволяет ей перед смертью обнять ребенка.

— По-моему, она не такая слащавая, как «Ист-Линн», — сказала Марына. — Нет?

— «Ист-Линн» — английская пьеса, «Фру-Фру» — французская, — ответил Богдан. — Американская публика охотнее проливает слезы над судьбой обесчещенных женщин, если они — иностранки.

— Да еще богатые. Да еще титулованные, — заметила мисс Коллингридж.

— Богдан, скажи, ведь она не такая же плохая.

— Я бы с радостью. Но вспомни, как они обе заканчиваются: ты лежишь, готовясь испустить дух, в аристократической гостиной того дома, который ты безрассудно и преступно покинула. В «Ист-Линн» твои последние слова (все мы знаем их наизусть): *«Ах, это смерть? Как тяжело расставаться! Прощай, дорогой Арчибальд! Мой*

бывший муж, я люблю тебя на смертном одре, как не любила никогда прежде! Прощай, пока не наступит вечность! Думай обо мне иногда, сохрани крохотный уголок в своем сердце для меня — твоей бедной — заблудшей — погибшей Исабель!» Занавес.

— Надеюсь, побитый молью, — сказала Марына и рассмеялась.

— *«Ах, это смерть?»* — произнес Питер.

— А тебя никто не спрашивает, — сказала Марына, заключая его в объятия.

— *«Думай обо мне иногда, сохрани крохотный уголок в своем сердце для меня»*, — сказала мисс Коллингридж.

— И вы туда же! — воскликнула Марына.

— Тогда как во «Фру-Фру», — продолжал Богдан, — ты говоришь (хотя лежать можешь на той же софе, только обитой другой тканью): *«Ах, как тяжело умирать в такую минуту! Нет, не скорбите обо мне»*. Эти слова обращены к твоему мужу, сестре и отцу, которым велено рыдать в носовые платки, чтобы публике проще было переключить все внимание на тебя. *«Я думала, что умру всеми брошенная, в отчаянии и одиночестве! Но вместо этого, окруженная теми, кого люблю, я умираю мирно — счастливо — без*

мучений — тихо и спокойно...»

— Пощади меня! — воскликнула Марына.

— Твои последние слова сопровождаются тихой музыкой и громкими рыданиями: *«Вы все простите — правда? — Фру-Фру — бедную Фру-Фру!»* Занавес. А теперь попробуй сказать, что это не одна и та же пьеса!

— Одна и та же.

— Но почему Фру-Фру должна умереть? — спросил Питер. — Она могла бы вскочить и сказать: «Я передумала».

— *Это* было бы совсем другое дело, — ответила Марына, целуя его волосы.

— А потом она могла бы уехать в Калифонию, сесть на дирижабль и сказать: «Поймайте меня, если сможете».

— Эта концовка мне нравится намного больше, — сказала мисс Коллингридж.

— Мне тоже, — подхватила Марына. — Да уж, я становлюсь настоящей американкой. Предпочитаю счастливые концовки.

— Невероятно, — сказал Богдан. Невероятным был гастрольный план. — Ты погубишь себя.

Во время своего первого турне Марына ограничивалась игрой только в тех театрах, где были постоянные труппы, которых оказалось намно-

го меньше, чем десять лет назад. Со своей же труппой, состоявшей из тринадцати женщин и двенадцати мужчин, она могла выступать везде, где есть театры. А театры были во всех американских городах, и многие назывались оперными для пущей важности, несмотря на то что никаких опер там никогда не ставили.

В одном только штате Нью-Йорк Уорнок ангажировал ее на один или два спектакля в Поукипси, Кингстоне, Хадсоне, Олбани, Ютике, Сиракьюсе, Эльмире, Трое, Итаке, Рочестере и Буффало.

После недели в Бостоне, на сей раз — в театре «Глобус», прошел ряд выступлений в Лоуэлле, Лоренсе, Хеверхилле, Фолл-Ривере, Холиоке, Броктоне, Вустере, Нортгемптоне и Спрингфилде.

В Пенсильвании — между неделей в Филадельфии и четырьмя днями в Питтсбурге — отдельные спектакли в Бредфорде, Уоррене, Скрентоне, Эри, Уилкс-Барре, Истоне, Ойл-Сити…

— Ойл-Сити[96]. Необычное название для города восточной части Америки, если я не ошибаюсь, — пробормотал Богдан.

В Огайо…

---

[96] Примечания: 96
Нефтяной город *(англ.).*

— Каламазу, — сказал Питер. — Наверно, индейское название.

— Мой пасынок хочет сказать, — продолжал Богдан, — что в Мичигане *все* ангажементы у мадам — на один-единственный вечер. Каламазу, Маскигон, Гранд-Рапидс, Сагино, Бэттл-Крик, Энн-Арбор, Бэй-Сити, Детройт. Восемь городов за десять дней.

— Вождь Сагино и его жена Детройт разбили лагерь у Бэй-Сити под Энн-Арбор за Бэттл-Крик, перед тем как сплавиться на плоту по Гранд-Рапидс и возвратиться в Каламазу-у-у-у-у, — сказал Питер.

— Маскигон пропустил, — вставила мисс Коллингридж.

— Но они не забудут взять с собою сынишку по имени Маскигон.

— Великолепно, — сказала мисс Коллингридж.

— Мотаться по стране, — Богдан свернул карту, — и в течение нескольких недель спать каждый раз в новой некомфортабельной гостинице? Вы хотите погубить свою звезду, мистер Уорнок? Эти однодневные ангажементы, что безжалостно следуют один за другим, придется убрать из гастрольного расписания.

— Вы шутите, милостивый государь. Одно-

дневные гастроли приносят самую большую прибыль.

Марына сделала вид, что не участвует в битве и готова к любым испытаниям; Богдан негодовал; Уорнок бесновался. Он утверждал, что все турне потерпит крах, если…

Богдану пришлось признать, что решение Уорнока разумно.

— Наш личный железнодорожный вагон? В Америке такое практикуется? — спросила Марына.

Нет, конечно. Ее труппа станет первой выезжать на гастроли тем способом, которым раньше пользовались только железнодорожные магнаты и застреленные президенты. Марыне нравилось опережать будущее. А Уорноку нравилось внимание прессы, которое привлечет ее вагон. В каждом городе они будут приглашать репортеров полюбоваться двойной крышей, «водными» фресками на потолке (Моисей в камышах, Нарцисс у зеркального пруда, король Артур на своей погребальной барке), резным ореховым интерьером, бархатными шторами, посеребренными газовыми лампами и скобяными изделиями, персидским ковром и пианино в салоне мадам, а также полосатым ковром, псише в позолоченной

раме и портретом великой актрисы верхом на лошади и в ковбойском наряде — в ее спальне. Помимо больших апартаментов с гардеробной и уборной для мадам и ее мужа, там есть также уютный офис и примыкающая к нему спальня для импресарио мадам, спальни для сына мадам и для секретаря мадам и два ряда полок для актеров, личной служанки мадам и одевальщицы («спальные места для дам и джентльменов ночью разделяются ширмой посредине вагона», которую складывают днем, освобождая место для кресел и обеденного стола); в дальнем конце вагона имеются три уборных, кухня и чуланы для одежды и постельных принадлежностей. Уорнок утверждал, что новый дизайн интерьера и обустройство бывшего семидесятифутового «Вагнера» обошлось в девять тысяч долларов. Снаружи вагона, выкрашенного в темно-бордовый цвет, овальные таблички с обеих сторон возвещали кудрявым золоченым шрифтом: ЗАЛЕНСКА И ТРУППА, ГАРРИ Г. УОРНОК, ИМПРЕСАРИО. Он любил уточнять, что его второе имя — Ганнибал. Сам же вагон теперь носил название «Польша».

Приобретение личного спального и багажного вагонов с помещением для расторопного обслуживающего персонала (чернокожих — повара,

двух официантов и носильщика) и удобно разделенным на секции складом для костюмов и декораций позволило Уорноку увеличить число однодневных гастролей.

Больше не нужно паковать и распаковывать вещи! Они целыми неделями спали и ели в поезде и каждый день (или через день) приезжали в новый город и выступали в новом театре.

По прибытии Марына и Уорнок отправлялись прямиком в театр, где Богдан и вся труппа должны были вскоре к ним присоединиться. Уорнок проверял кассовый сбор и обсуждал с рабочими технические проблемы, которые могли возникнуть с декорациями, если колосники оказывались слишком низкими, а пространство кулис — меньше положенной половины авансцены. Марына же в это время вступала во владение «звездной» гримерной и вывешивала план маршрута рядом с зеркалом, чтобы не забыть название города, театр и имя главного режиссера. После обеда устраивали репетицию, если сегодняшнюю пьесу не показывали больше недели, и отводили время для обмена любезностями с делегацией местных театралов — поэтом с развевающимся галстуком, помешанной на театре юной леди и ее матушкой, редактором городской газеты и президентом

местного отделения Женского христианского общества трезвости. Потом — обратно в гримерную, наложить грим и надеть костюм, выйти на сцену и сыграть спектакль, принять местных знаменитостей в артистическом фойе, отобрать несколько цветов из множества букетов и вернуться в полночь на вокзал, где «Польшу» вместе с багажным вагоном прицепят к хвосту первого попавшегося поезда, который отправляется в тот город, где у них следующий ангажемент.

Способ зарабатывать на жизнь только гастролями, не имея своего театра, где можно репетировать и показывать пьесы, означал для Марыны, что ей так и не удастся разучить свой огромный репертуар по-английски. (В Имперском театре она сыграла пятьдесят шесть ролей!) Тем не менее, полностью отрепетировав целых шесть пьес, «Заленска и труппа» предлагали уже больше, чем большинство ведущих актеров Америки, колесивших по стране. Некоторые актеры предпочитали год за годом играть одну, самую популярную роль; амбиций у них оставалось все меньше, презрения к публике — все больше. Но актер всегда (и справедливо) не доверяет публике. (Если бы только зрители знали, что актеры судят их самих!) Голова кружится от усталости

и облегчения, что на сегодня работа окончена, актер всматривается в зеркало и, намазывая толстым слоем кольдкрем и снимая грим, тоже выносит приговор сегодняшнему залу. Внимательный? Глупый? Мертвый? С глупостью ничего не поделаешь, но вниманием Марына умела завладеть, растормошить «мертвую» публику — например, подойти к самому краю авансцены, посмотреть в зал, повысить голос и его тембр — или заглушить чей-то кашель. Кашель говорит о том, что зрителям скучно. (Во время декламации никто не кашляет первые десять минут и при исполнении на бис.)

Театры не всегда бывали заполнены. Причиной могли служить непогода, плохая реклама, алчные директора театров, заломившие слишком высокую цену на билеты, или же организованные протесты против оскорбительных иностранных или слишком нью-йоркских пьес. «Пускай Нью-Йорк смотрит свои „постельные“ трагедии. Огайо будет устремлять помыслы к возвышенному», — так заканчивалось письмо в лимскую газету, автор которого призывал к бойкоту «Заленской и труппы» в театре «Форо», где давали «Камиллу». Письмо было подписано: «Американская мать». Рецензент из Терр-От упомянул о «женственной

грации» Марыны в роли Маргариты Готье лишь затем, чтобы упрекнуть — «она тем самым делает грешную жизнь более чувственно-привлекательной».

Когда Марына наотрез отказалась вносить в программу ряд дополнительных, «искупительных» представлений «Ист-Линн» в Огайо и Индиане, Уорнок, надеясь отвлечь публику, объявил, что мадам Заленска потеряла «крест и тиару с бриллиантами стоимостью сорок тысяч долларов». Он тут же телеграфировал лучшему парижскому ювелиру, и курьер, который везет еще более дорогой бриллиантовый крест и тиару, уже сел на ближайший пароход в Шербуре, но пока это сокровище не достигло Индианы, он, Гарри Г. Уорнок, не ручался за настроение звезды. Марына возражала, говорила, что он делает из нее посмешище. «Вовсе нет, — объяснял Уорнок, — американская публика готова к тому, что знаменитая актриса расстается со своими драгоценностями как минимум раз в год».

— Только с фальшивыми драгоценностями? Или с настоящими тоже?

— Мадам Марина, — нетерпеливо фыркнул он, — звезды всегда очень беспечно относятся к своим ценностям.

— Кто вам сказал такую чушь, мистер Уорнок?

— Это было доказано двадцать лет назад Барнумом…

— Ну, конечно, — наигранно вздохнула Марына. — Слыхала я о вашем Барнуме.

— …когда он привозил Дженни Линд. Этот «Шведский соловей», как ее окрестил Ф. Т., и к тому же подлинный гений, три раза терял все свои драгоценности во время турне.

И Уорнок оказался прав. После того как он обнародовал историю с драгоценностями, на представлениях «Камиллы» всегда был аншлаг.

Но случались и казусы: после семи вызовов на сцену, которыми завершилась торопливая «Камилла» в Музыкальной академии в Форт-Уэйне, тучный мужчина в пожелтевшем парике набекрень проложил себе дорогу в толпе поклонников, осыпавших ее подарками в артистическом фойе (ей уже всучили бронзовую статуэтку Гайаваты, сборник речей Улисса С. Гранта и музыкальную шкатулку, которую поставили на соседний столик и несколько раз подряд завели «Карнавал в Венеции»), и настоял на том, чтобы Марына приняла в дар его любимого, толстого, одышливого мопса цвета шампанского.

— Это не драгоценности, мадам Зе, но он разве-

селит вас, это уж точно.

— Я назову его Опсом, — сказал Марына, и все улыбнулись. В тот вечер она чувствовала себя уставшей, даже раздраженной.

— Прош прощ? — переспросил поклонник.

Марыне, которая любила только больших собак, причем со здоровой дыхательной системой, неожиданно пришлось пообещать Уорноку, что она оставит Опса у себя. Еще один афоризм Уорнока: «Все знаменитые актрисы заводят собачонок», — и в этом отношении он был непреклонен. Но мисс Коллингридж, которая должна была ухаживать за животным, разрешили переименовать Опса в Индиану.

В Джексонвилле Марыне преподнесли пару зеленых детенышей аллигатора.

— А этих оставлять необязательно, — сказал Уорнок. Мисс Коллингридж уже нашла для них большую клетку и с удовольствием сыпала в их открытые пасти целые банки насекомых и улиток, а также кровянистые кусочки сырой говядины.

— А я оставлю, — сказала Марына. — Я уже дала им польские клички. Это — Кася. А ее дружок — Клеменс. Мисс Коллингридж уверяет, что они очень славные создания и что их маленькие

беленькие зубки еще не острые и не опасные.

— Вы издеваетесь надо мной, мадам Марина!

— Как вы могли такое подумать? Вы разве не слышали, что у Сары Бернар есть львенок, гепард, попугай и обезьянка?

— Сара Бернар — французская актриса, мадам Марина. А вы — американская.

— Верно, мистер Уорнок. Я бы сказала, отчасти верно. Но не будь я обречена жить в вагоне, то уже давно приобрела бы…

— Ладно, — сказал Уорнок. — Оставьте себе аллигаторов.

Когда Уорнок велел ей сфотографироваться с Касей и Клеменсом и заявил репортерам, что аллигаторов мадам Заленской подарили в Новом Орлеане, Марыне, которая сама любила приврать для пользы дела, стало любопытно, почему он так сказал.

— Потому что «Новый Орлеан» звучит лучше «Джексонвилля».

— Лучше? В каком смысле, мистер Уорнок?

— Романтичнее. По-заграничному.

— А для Америки это хорошо? Не сердитесь на меня. Я просто хочу понять.

— Иногда — да, иногда — нет.

— Ну, разумеется. А потом вы расскажете, что в

Новом Орлеане ко мне привели девяносточетырехлетнюю ворожею-креолку, чтобы она сняла злые чары, которые увидела у меня над головой. И что я рассмеялась над предсказанием старухи. Но когда кусок свинцовой трубы упал с колосников и пролетел в каком-то дюйме от меня во время овации на «Ромео и Джульетте» в Нэшвилле, я решила, что мне будет спокойнее рядом с этими злобными тварями.

— В самую точку! — воскликнул Уорнок. — Я вижу, сударыня, вы поняли… все.

— Мистер Уорнок, я всегда все понимала. Но не соглашалась. В этом-то и дело.

Перед «Как вам это понравится» в оперном театре «Шульц» в Зэйнсвилле, Огайо, публике была предложена лекция «Шекспир и комическое», которую прочел профессор Стил Крейвен. В оперном театре «Догени» в Каунсил-Блаффс, Айова, ее «Джульетте» предшествовала эстрадная программа на авансцене шириной двадцать футов (чревовещатель, моноциклист, танцующие собачки). В оперном театре «Чаттертон» в Спрингфилде, Иллинойс, перед «Фру-Фру» исполнялся двадцатиминутный музыкальный номер «Элиза убегает по льду». В Музыкальной академии Оуэна в Чарльстоне, Южная Каролина, «Адриенна»

последовала за «Попурри из коротких пьес Беллини, Мейербера и Вагнера». В оперном театре «Пиллот» в Хьюстоне публику подготовил к «Ист-Линн» конферансье Тадеуш — «но я отзываюсь также на Тадпола»[97] — Мёрч. Стоя за кулисами, Марына слышала, как он входит в раж:

— Тадпол — это потому что я был совсем крошкой в детстве. А Мёрч — потому что мой папа был Мёрчем. Дудльболлом Мёрчем. Его называли Дудльболлом потому…

Богдан взорвался. Или Уорнок сделает так, чтобы никто — никогда — не выступал перед «Заленской и труппой», или мадам расторгнет контракт на оставшуюся часть турне.

Одно из преимуществ уютной двойственности брака: поскольку Богдан выразил ужас и возмущение самой Марыны, она получила право на другой, более снисходительный тон:

— Чего же ты хотел, дорогой? Это же Америка. Зрители должны быть уверены, что их развлекают. Но этим вахлакам нравится и то, что предлагаю я.

В оперном театре «Минг» в Хелене, Монтана, миссис Обертина Вудворд Де Кей сыграла в честь

---

[97] Примечания: 97
Tadpole — головастик *(англ.).*

Марыны шопеновскую мазурку, оп. 7, № 1, и полонез ля-бемоль-мажор, затем подняли занавес для «Камиллы» в исполнении «Заленской и труппы», а после дали банкет для всей труппы в особняке Де Кей. Все это было так наивно и делалось из самых лучших побуждений. «Моя европейская привередливость тает на глазах, — подумала Марына. — Мне понравилось угождать».

Ее репертуар теперь включал в себя еще три шекспировские роли, которые она играла в Польше: Виола в «Двенадцатой ночи», Беатриче в «Много шума из ничего» (она любила истории о неравных или соревнующихся парах, где в конце все становилось на свои места) и Гермиону в «Зимней сказке», в которой Питер мог играть маленькую роль несчастливого сына Гермионы — Мамиллия. Она знала, что Питер должен поступить в пансион, но никак не могла с ним расстаться. Однако Богдана пришлось отпустить.

— Завидую тебе. Я не смогла бы вести две жизни одновременно, — сказала Марына, не глядя Богдану в глаза. — Я слишком дорого заплатила за то, чтобы вести хотя бы одну.

— Я не поеду, — сказал он.

— Нет, я хочу, чтобы ты поехал. У меня будет уйма работы.

Она ощущала себя героиней. И удивлялась, что некоторые люди считали ее меланхоличкой.

— Когда я вошел, вы показались мне немного грустной, — осмелился сказать сердобольный репортер из «Мемфис Дейли Аваланш».

— Разве вы встречали польское лицо без тени грусти? — возразила Марына. — Однако я грущу, только когда рядом нет моего мужа. Мы всегда вместе, но недавно он был вынужден уехать по делам в Калифорнию на несколько месяцев, и все это время я скучаю по нему.

Телеграмма была отправлена 23 февраля 1879 года:

ФОН
РЕБЛИНГ РАЗРЕШИЛ ПОНАБЛЮДАТЬ ПОЛЕТОМ ТЧК ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ ПОДНЯТЬСЯ ВОЗДУХ

Чем занимается Богдан? Она надеялась, что он не будет ее тревожить. И не просила успокаивать ее.

Следующая телеграмма пришла через восемь дней:

ВРЕМЯ ВОЗДУХЕ ДЕСЯТЬ МИНУТ ТЧК БЕСПОДОБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Зрелище с земли? Или с воздуха? Но как она могла верить тому, что писал Богдан? Она переживала бы еще больше, если бы не шесть однодневных гастролей в Миссури и пять — в Кентукки. Ее репертуар состоял теперь из девяти пьес (пять из них шекспировские), которые она сыграла в тридцати четырех театрах только за последние два месяца. Она решила добавить к ним «Цимбелин», когда они добрались до Небраски на обратном пути по Среднему Западу. Она обнаружила, что «Цимбелин» — одна из самых популярных в Америке пьес эвонского барда. Публике нравился целый поток примирений в конце, который охватывал как злобного соблазнителя добродетельной Имогены, так и ее вспыльчивого простофилю-мужа.

Мужья всегда правы. Виновная жена должна умереть. Если она взаправду неверна, то умирает взаправду. Если же ее несправедливо подозревают в измене, нужно умереть понарошку — и подождать, пока разъяренный муж не образумится и не простит ее.

Конечно, это больше не отвечало действительности. Наступили другие времена. Муж не всегда прав. Но женщина по-прежнему обязана признавать свою мучительную зависимость от мужа.

Богдан! Муж мой! Ляг со мной. Обними меня. Согрей. Я хочу уплывать в сон вместе с тобой, мне так не хватает этого.

Еще одна телеграмма, датированная 17 марта 1879 года:

МАРЫНА МАРЫНА МАРЫНА ТЧК ВСЕ ЦЕЛО ТЧК ВЕЗДЕ ВОДА

Затем — молчание. Может, он сошел с ума? Исчез навсегда?

Но я, конечно, смогу жить без него. До тех пор, пока буду гастролировать. Эти турне помогают сохранить душевное равновесие. Движение, волнение и сознание долга гонят прочь дурные мысли и подавляют дурацкие желания.

Муж мой! Друг! Делай, что считаешь нужным. Только не мучай меня. Я не настолько сильна. Пока еще.

— Каждый аппарат строится по особому принципу, — сообщил Богдан по возвращении. — Этот назывался «Аэро-сердцем». «Аэро-корасон». Иногда просто «Корасон».

— Назывался? Значит, он разбился.

— Марына, ты не поняла. Он поднялся в воздух. Почти вертикально вверх. Отличительна черта этого аэростата в том, что у него нет крыльев.

Вертикально вверх, без всяких внешних приспособлений, примерно на сто футов! И потом он величественно, изумительно парил целых десять минут!

— Расскажи подробнее, — попросила она.

— Ах, Марына, я так глупо себя чувствую. Что я делаю с нами со всеми? Я просто одержим.

— Нет, это не так. Ты просто рассказываешь мне сказку.

— Я не рассказываю сказок!

— Нет, рассказываешь. — Она тихо засмеялась.

— Что ты хочешь узнать?

— Какой он?

— Это гигантский колокол с полностью закрытой кабиной и огромным, широким винтовым пропеллером, торчащим над крышей, который в движении похож на волчок. Я сказал тебе, что у него нет крыльев? Ну конечно, сказал. Подъемная сила обеспечивается устройством, которое сами изобретатели называют «воздуховыжималкой», — такая трубка, через которую сжатый воздух выбрасывается внизу аппарата. «Выжималка» и пропеллер запускают машину вертикально на заданную высоту, после чего она останавливается и дальше летит горизонтально — этого почему-то не получилось — в том

направлении, куда повернута. Со скоростью до восьмидесяти миль в час, как утверждают Хуан-Мария и Хосе.

— Я думала, что все изобретатели — немцы.

— Почти все.

— И твои мексиканские друзья остались целыми и невредимыми, когда аппарат разбился. Ты бы мне сказал, если бы они погибли или…

— Да, «Корасон» великолепно оснащен на случай крушения. Воздушный шар, который в три раза больше его по величине и называется «компенсатором», быстро надувается, чтобы замедлить стремительный спуск, а из нижней части аппарата выбрасываются эластичные «ножки», смягчающие удар о землю.

— Но ты же не поднимался вместе с ними?

— Марына, я обещал тебе.

— Значит, нет?

— Я чуть не попросил, чтобы они взяли меня с собой. Но боялся, что не смогу перебороть страх. Я знал, и они знали, что приземление будет мягким, заурядным, не смертельным. Но полной уверенности все равно не было. Это и есть приключение, не правда ли? Цветы в волосах, а лица-то и нет…

— Что-что, Богдан?

— …и Дрейфус *тоже* заинтересовался. И мне

кажется, я уговорю фон Рёблинга встретиться с ним. А потом выполню свою миссию. Марына, Марына, прошу тебя, не качай так головой!

Уехать из Америки? Потому что — самая американская из причин — «пора двигаться дальше»? Уорнок не понимал:

— Но вы же только начали карьеру в Америке. Вы можете нажить здесь состояние. Вас все любят.

Но как мог человек, подобный Уорноку, понять всю притягательность Лондона для подлинной поклонницы Шекспира? Быть актрисой в Англии, а не просто играть по-английски! В Англии она достигнет таких вершин, до которых никогда не поднималась во время своего второго, самого успешного американского турне.

— Нет, вы не уедете, — сказал Уорнок.

Пока озадаченный, рассерженный Уорнок продолжал пророчить, что ее лондонская авантюра завершится провалом, Марына отдала себя в руки Эдварда Дадли Браунлоу, английского импресарио. 1 мая 1879 года состоялся ее лондонский дебют в «Камилле», хотя и под другим названием, поскольку «Камилла» (как почему-то называли по-английски «Даму с камелиями») была запрещена лордом Чемберленом. Марына

всегда уважала Англию не только как родину Шекспира, но и как колыбель всех гражданских свобод, и с удивлением узнала о существовании в Лондоне правительственного цензора. Точь-в-точь как в Варшаве. Нет, не как в Варшаве — английская цензура оказалась такой слабой, что ее можно было обойти, изменив название пьесы. Марыне очень понравилось новое название — «*Heartsease»,* приятно и ненавязчиво умиротворяющее, и была разочарована, узнав от Браунлоу, что *heartsease* — всего лишь название другого цветка[98]. Она чувствовала, будто ее понизили подобно цветку-символу чистосердечной куртизанки. Она надеялась, что этот лорд Чемберлен не заставит ее «даму с камелиями» умирать в пятом акте на ложе, усыпанном… анютиными глазками!

Она выбрала «Камиллу», а не шекспировскую пьесу, по той же причине, по которой начала в Америке с «Адриенны Лекуврер»: во французской пьесе ее акцент не резал бы так сильно слух. Если в Америке она училась произносить английские звуки с немного расслабленной нижней челюстью, то в Лондоне Марыне пришлось напрягать

---

[98] Примечания: 98

Heartsease — 1) душевное спокойствие; 2) анютины глазки *(англ.).*

ее, следуя наставлениям мисс Коллингридж. Паузы между слогами были заново пересмотрены и отточены, согласные из задней части рта перекочевали в переднюю, а губы стали тоньше.

— Англичане такие снобы, они любят выискивать недостатки в нашем американском произношении, — заметила мисс Коллингридж. — В частности, они не выносят того, что называют «протяжной интонацией американских актеров».

— Протяжная интонация! — воскликнула Марына. — С каких это пор я начала говорить протяжно?

Марына не хотела признаваться себе, что англичане внушали ей страх. Она уже привыкла к болтливой американской разговорной «атаке» — к словоохотливости и нарочитой фамильярности. В Америке никого не интересовала трагическая судьба ее родины, но при этом она чувствовала себя желанной гостьей. Здесь же журналисты с засаленными воротничками и соседи на званых обедах опасались, что она будет надоедать им своей Польшей, между тем как ей самой хотелось вести чисто английскую беседу. О театральном сезоне в Лондоне. О мистере Дизраэли и мистере Гладстоне. О погоде, наконец.

Марына предчувствовала, что англичан не удастся покорить так же быстро, как американцев. Но она не предполагала, что их вообще не удастся покорить — разве что условно. Она решила для себя, что если ее «очаровательный» или «обворожительный» акцент упомянет не более половины рецензентов лондонских газет, то можно будет продолжить свою триумфальную карьеру в Англии. Все отзывы были хвалебными. Ее акцент упомянул каждый критик.

Ее хвалили, но на руках не носили. В отличие от американцев, англичане не знали, что делать с алчущими славы иностранцами. (О том, чтобы позволить им стать англичанами, не было и речи.) А она, Марина Заленска, была дважды иностранкой: полька, да еще из Америки.

В конце мая, когда закончился ее сезон в Придворном театре («Анютины глазки», «Ромео и Джульетта» и «Как вам это понравится»), она пошла вместе с Богданом и мисс Коллингридж посмотреть и, возможно, насладиться игрой прославленной романтической пары, Эллен Терри и Генри Ирвинга, в ирвинговском театре «Лицей». Марына была готова склонить голову перед этими новыми божествами английской сцены, но почти разочаровалась в них, как она

призналась Богдану, обнаружив, что сама играет ничуть не хуже Терри. Она пристально изучала ее игру в старомодной, но неизменно популярной бульвер-литтоновской «Даме из Лиона». Что же касается великого Генри Ирвинга в роли героя-простолюдина, то его прихрамывающая походка и слабый гортанный голос решительно уступали грации и безупречной дикции Эдвина Бута.

По крайней мере, Марына с удовлетворением узнала, что, если бы ей не была заказана карьера в Англии, поскольку она всецело посвятила себя игре на английском языке, она могла бы посостязаться с Терри. Но она не могла конкурировать с Сарой Бернар, которая должна была скоро приехать и выступить в «Гейети» на французском языке.

В тот день, когда Бернар и «Комеди-Франсез» под бурные аплодисменты давали премьеру «Федры», Марына отправилась на летние гастроли по английской провинции. Она предложила Розалинду и Джульетту, а также Офелию и Виолу, которых Браунлоу хотел представить в следующем лондонском сезоне, осенью; но у Марыны не было желания оставаться в Англии, добиваться более прочного успеха. Неужели, печально спрашивала себя Марына, она уже исчерпала

отведенное ей число невыполнимых подвигов, которые способна совершить ее воля? Но даже если так, оставались почти невыполнимые подвиги. То есть просто очень трудные.

Благодаря приезду в Англию, Марына поняла, насколько проще было (но так ли *просто* это было?) одержать победу в Америке: стране, населенной людьми, которые верят в силу воли.

На званом обеде, данном в ее честь леди Уолсингтон, Марыну посадили рядом с выдающимся американским романистом и театральным критиком Генри Джеймсом, недавно переселившимся в Лондон, и мистер Джеймс спросил, не желает ли она выпить с ним чаю в следующий вторник в «Кафе-Рояль». Там он попытался сказать ей обиняком, что она, будем надеяться, не сочтет его хищной натурой, если… он запнулся, погладил аккуратную шелковистую бородку; он запинался уже несколько раз, с тех пор как они уселись за столик с мраморном столешницей.

— Если что, дорогой мистер Джеймс?

— Если я признаюсь в том, что можно назвать лишь большой заинтересованностью, если не сказать очарованностью, которую я испытываю как романист и (позволю себе доверить вам одну из своих заветных надежд) будущий драматург,

так вот, в том, что я очарован актрисой как современным *типом.* Я говорю об актрисе не как о человеке, способном на необычную выразительность, которая в определенной степени сопряжена со склонностью рисковать, необходимой, подобно таким ценным качествам, как выразительность и смелость, для ее искусства, но об актрисе, современной актрисе, как самом ярком воплощении женского успеха.

Мистер Джеймс говорил с многозначительными ударениями, иногда в начале, но обычно в конце своих часто бессвязных предложений.

— Я не думаю, что добилась полного успеха в Лондоне, — сказала Марына. — По крайней мере, такого, на который надеялась, но я глубоко признательна за вашу сочувственную статью.

— Не торопите англичан, дорогая мадам Заленска. Боюсь, что вы немного испорчены нашей американской прямолинейностью. Несмотря на нехватку *простора* на этих компактных островах, здесь гораздо больше *пространства*: говорится одно, а подразумевается другое, они осторожны и бывают недоверчивы, они не любят прилагать много усилий, их можно назвать скорее немного туповатыми, чем слишком умными, они (как бы это сказать?) *воздерживаются.* Но я предрекаю

вам, что они исправятся.

Вне всякого сомнения, он хотел казаться любезным.

— Англия не так расплывчата и уютна, как Америка, — заявил он. Он сам был по-хорошему расплывчатым и уютным, этот полноватый, многословный и бесспорно блистательный человек. — Бессмысленно, — говорил он воодушевленно, — сосредоточивать все внимание на различиях между Англией и Америкой, — которые он призывал Марыну рассматривать как «одно большое англосаксонское целое»… «Мистер Джеймс бывал в последнее время в родном Нью-Йорке? Он когда-нибудь ступал на землю Калифорнии? Конечно, нет».

— …одно большое англосаксонское целое, которому суждено до такой степени слиться, что настаивать на их различиях представляется праздным и педантичным, — говорил Джеймс, — и это слияние наступит тем скорее, чем охотнее мы будем принимать его как должное и считать жизнь обеих стран непрерывной или более или менее *обратимой.*

«Обратимой, возможно, для американцев, — подумала Марына. — Или для *таких* американцев». Своим акцентом, запинками, ригидностью и

зловеще-непроницаемой вежливостью мистер Джеймс походил на настоящего англичанина. Впрочем, он писатель, и…

— Две главы одной книги, — произнес нараспев Джеймс, словно прочитав ее мысли.

— Или два акта одной пьесы.

— Совершенно справедливо, — сказал Джеймс.

Да, но только не для актеров. Она могла стать американской, но только не английской актрисой.

Она узнала старую американскую «песню», сочетание сильной воли и беззаветной веры. Генри Джеймс был американцем до мозга костей. Он умудрился воспитать в себе огромную силу воли.

Английский актер всегда мог переехать в Америку: многие так и сделали. Отец Эдвина Бута, Юний Брут Бут, который в молодости играл и соперничал с Эдмундом Кином на лондонской сцене, бросил жену и ребенка ради цветочницы с Боу-стрит и убежал с ней в Америку, где обрел новую семью, десятерых детей и сделал карьеру великого американского артиста. Трудно представить себе, что американской актер мог бежать в Англию и добиться такого же выдающегося успеха. Американцы, которых шумно приветствовали лондонские критики (как, например,

Шарлотту Кушмен из предыдущего поколения с ее Порцией, Беатриче, леди Макбет и Ромео, которого она играла в паре со своей сестрой Джульеттой), не собирались оставаться в Англии.

Марына и Богдан возвратились в Америку после короткой поездки в Краков в конце августа. Неудача становится неудачей, только если ее признать таковой. Английская публика была очень радушной, сказала она суетливой, потной и крикливой толпе журналистов, поджидавшей у причала «Белой звезды». Да, кивнула она, был соблазн остаться в Лондоне. («Нет, нет! Прошу вас, джентльмены! Повторяю вам, я не говорила, что оставляю американскую сцену».) Но ей очень приятно (это было правдой) снова вернуться в Америку.

Америка — не просто другая страна. Если несправедливый ход европейской истории привел к тому, что поляк не мог быть гражданином Польши (а только России, Австрии или Пруссии), справедливый ход мировой истории создал Америку. Марына навсегда останется полькой — этого нельзя изменить, да она и не хотела. Но она могла, если бы пожелала, стать еще и американкой.

Она немедленно приступила к организации

нового нью-йоркского сезона и еще одного турне по Соединенным Штатам. Не в силах простить Уорнока за то, что он в очередной раз оказался прав, Марына посоветовалась с Богданом и наняла нового ревностного личного импресарио с «прелестным» именем Ариель Н. Пибоди.

— Оно еще прелестнее, чем мы думали, — сообщила Марына Богдану. — Я вспомнила, как мистеру Уорноку нравилось его второе имя, и решила сделать мистеру Пибоди приятное. «Вы имеете в виду Н.?» — воскликнул он. — Марына склонила голову, подражая Пибоди очень похожим голосом: — «Ах, вы будете смеяться, мадам Марина. Оно означает, — пауза, — мое второе имя, — широкий жест, поклон, — Нуль».

— Америка никогда не разочаровывает, — заметил Богдан.

— *Nomen — omen*[99]. Возможно, в нем не будет ничего от мистера Уорнока. Никакого надувательства (мне нравится это слово!), никаких потерянных бриллиантов, собачонок, аллигаторов и небылиц!

— Я бы на это не рассчитывал, — сказал Богдан. — Но Марина Заленска не нуждается в

---

[99] Примечания: 99

Игра слов: *лат. nomen* — «имя»; *англ. omen* — предзнаменование.

советах А. Нуля Пибоди, как ей поступать.

«Ее успех растет, словно снежный ком», — писала «Норфолк Паблик Леджер». Она добавила новые шекспировские пьесы: в 1880 году — «Мера за меру», а в следующем — «Венецианского купца» и, наконец, «шотландскую пьесу». Марына придерживалась американского «звездного» стиля: к концу третьего турне по стране она выучила эту роль назубок.

Вы разъезжаете в собственной роскошной квартире на колесах — личном вагоне с готическими окнами из травленого стекла, бархатными шторами, пальмами в горшках, небольшой библиотекой, фортепьяно и будуаром, в котором помещаются туалетный столик из красного дерева и кровать с пологом, а другие актеры и обслуживающий персонал следуют за вами во втором частном пульмановском вагоне; у вас мопс по кличке Индиана, его большой акварельный портрет висит на стене в гостиной вашего личного вагона; вы снимаете самые большие и роскошные апартаменты, когда вы останавливаетесь в отелях — лучших отелях, и заказываете самую изысканную еду; пишете записки на тончайшей льняной бумаге с тисненым гербом — обычные слова благодарности

тем, кто пытался развеселить вас или угодить каким-либо иным способом, доброжелательные слова ослепленным юным барышням, у которых хватило смелости попросить вас о встрече («Вы не представляете, как много девушек пишет мне каждый день и спрашивает, как стать актрисой, но как я могу поддержать их, если в Америке практически нет репертуарных театров?»). Вы водите дружбу с живыми легендами: Лонгфелло — ваш закадычный друг, Теннисон принимал вас в Лондоне, а Оскар Уайльд преподнес вам охапку белых лилий и пообещал написать для вас пьесу. Вы не придерживаетесь условностей (но, конечно, не до такой степени, как Оскар Уайльд): ваше индивидуальное пренебрежение условностями — вы женщина, но курите — относится к тому разряду вещей, которых люди от вас ждут. Вы беспечно относитесь к своему имуществу, ничего не выбрасываете и постоянно приобретаете: выгрузили шестьдесят пять единиц багажа, когда прошлым летом вернулись из Парижа («и краткого путешествия в родную Польшу»), как сообщали нью-йоркские газеты. У вас множество резиденций: «Вскоре она с мужем, графом Дембовским, уедет на месяц в южную Калифорнию на свое ранчо. Недавно завершенное главное

здание было спроектировано другом мадам Заленской, выдающимся архитектором и заядлым театралом Стэнфордом Уайтом».

В Польше вам позволяли иногда потакать своим желаниям, но предполагали вашу искренность и высокие идеалы — за это люди вас уважали. В Америке вам нужно проявлять смятенную внутреннюю страстность, выражать мнения, которые никто не обязан принимать всерьез, и обладать эксцентричными слабостями и экстравагантными запросами, которые говорили о силе вашей воли, о ваших устремлениях и вашей заботе о себе — обо всех этих превосходных качествах.

Катаясь (Бостон, Филадельфия, Чикаго) в своей личной карете, вы внезапно желали остановиться у книжной лавки, а выходили от букиниста с дюжиной поэтов в самых изысканных веленевых, сафьяновых и телячьих переплетах. У нее крайне взыскательный вкус, сообщали журналисты. Она по-королевски тратит деньги налево и направо, говорили они, с легкостью принцессы. В то же время вы должны умело обращаться с деньгами и безжалостно вести переговоры, но при этом заниматься благотворительностью (вы постоянно получаете душераздирающие письма от бедных польских эмигрантов), вести безупреч-

ную, то есть благопристойную жизнь, мечтать о домашнем уюте и быть любящей матерью. Женщина должна всегда утверждать, что семья для нее важнее карьеры.

Ее подлинной семьей была, конечно же, труппа, вечно меняющийся состав которой продолжал набираться мастерства благодаря суровому, но гибкому руководству Марыны.

— Поднимается занавес, и вы должны завладеть публикой, — здесь она могла схватить актера за руку. — Пригвоздите публику взглядом, а затем возьмите ее за душу своим голосом. Полностью используйте диафрагму, вам ясно? — Здесь она могла завопить. — Не пищите и не кричите!

Марына обсуждала все тонкости и ловушки сценических объятий. Сцена смерти, объясняла она, не должна быть ни слишком торопливой, ни слишком затянутой. Она обучала технике кашля, обморока и молитвы. Актеру, который сильно волновался за кулисами задолго до своего выхода, она предписывала «выходить из гримерки только в самую последнюю минуту».

— Не бойтесь поворачиваться лицом к заднику, — наставляла она. — Лицо может сказать слишком много, но по вашей спине публика прочтет только то, что ей нужно.

И еще:

— Не двигайте головой во время ходьбы. Шея перестает быть выразительной.

Еще:

— Не понижайте голос. Он должен быть обращен к другому актеру. А ваш голос слишком явно обращен к публике.

Из сан-францисского Чайнатауна регулярно приходили посылки с сырым имбирем, и Марына сумела убедить всех членов труппы в пользе имбирного чая: если выпить его горячим, а затем съесть измельченный сырой имбирь со дна чашки, то это решает почти все проблемы с голосом, что возникают в последнюю минуту, говорила она. Она указывала, что если страх и тревога вызывают у мужчин повышение температуры («Температуры!» — оценивающе восклицала мисс Коллингридж), поэтому им нужно неусыпно следить за пятнами пота, выступающими в верхней части костюма, то у женщин эти же самые эмоции вызывают озноб, поэтому им нужно хорошо укутываться перед спектаклем и в антрактах.

— Но, мадам, — говорил Уоррен Бэнкрофт (ее Ромео, Бенедикт, Орландо, Арман Дюваль и Морис во время второго сезона труппы), — волнуясь, я становлюсь холодным, как ледышка.

— Вздор, — отвечала Марына.

— Играть всегда должно быть нелегко, — говорила она, подчеркивая слово «нелегко». — Иначе вы забываете себя. Забываете, где находитесь. Вы никогда, никогда, никогда не должны забывать, что вы на сцене. Поэтому вам всегда будет страшно. Вам страшно, но вы — победитель. Если вы на сцене, какую бы роль вы ни играли, вы — победитель. Вы должны ощущать себя очень высоким, когда стоите на сцене. Внутри все должно выпрямиться и сжаться вокруг страха. Даже в горе, которое имеет вогнутую форму, вы остаетесь прямой линией. Эта линия доходит до самого последнего ряда верхнего яруса. Держитесь за нее! Станьте источником света. Вы — свеча. Выпрямите спину, не расслабляйте шею. Почувствуйте, как из вашей макушки вырывается пламя.

О Эбнере Дикси, уволенном после первого же сезона (он играл Жака в «Как вам это понравится», Мальволио в «Двенадцатой ночи» и, еще топорнее — капитана Левисона, коварного распутника в «Ист-Линн»), она лаконично сказала:

— Он ничего не преображает. Актер должен преображать.

— Большинство правил поведения на сцене, — говорила она актерам, — применимы и к

реальной жизни. («За исключением тех случаев, — добавляла она, блаженно и загадочно улыбаясь, — когда они неприменимы».) Одно из таких правил: никогда не признавать неудачи. Однажды, во время исполнения «Меры за меру» в оперном театре «Тейлор» в Трентоне, когда актер, игравший Клавдио — брата, осужденного на смерть, — бросился к ногам Изабеллы, моля удовлетворить низменную просьбу Анджело (чтобы спасти себе самому жизнь), он ненароком опрокинул тюремную скамью. Сохраняя ту же безумную интонацию, которой требовало жалкое положение Клавдио, актер проворно поставил скамью на место. После многочисленных вызовов, которые Марына великодушно разделила с этим молодым актером, новым участником их труппы, она тихо сказала ему:

— Никогда не пытайтесь исправить оплошность во время спектакля. Тем самым вы только обращаете на нее внимание публики.

Конечно, некоторые оплошности трудно не заметить, как, например, во время представления «Макбета» в театре «Маквикер» в Чикаго («Конечно же, „шотландской пьесы“!»), когда Марына по глупости решила в сцене сомнамбулизма выйти с закрытыми глазами, оступилась и порвала су-

хожилие на лодыжке. Он сыграла сцену до конца, не ропща, не морщась и не меняя походки.

Ваши замечания язвительны, но по-отечески справедливы. Ваш пример блистателен.

Члены вашей труппы платят вам лестью, страхом и беззаветной, страстной преданностью.

Вы рисуетесь, изумляя их. Вы — в полном расцвете. Вы чувствуете, что ваши способности безграничны.

Они собирали полные залы и очаровали публику в Колорадо. После последнего спектакля недели в денверском Большом оперном театре «Табор» («Джульетта», как в программе их труппы называлась «Ромео и Джульетта», «Адриенна», «Камилла» и «Зимняя сказка»), Пибоди устроил прощальный ужин с бесплатной выпивкой для членов труппы в пустом ресторане отеля. Когда Марына присоединилась к ним, большинство мужчин, да и не только мужчин, были уже навеселе, и кокетливая Лора Фитч, игравшая порочную королеву Англии в «Цимбелине», Одри в «Как вам это понравится» и Паулину в «Зимней сказке», как раз заканчивала свою застольную декламацию:

Мы были малыми детьми.

Мы жили не тужили.
Тут матушка нам и скажи:
«Я к батюшке, в могилу».
Рыдали долго мы над ней,
Глаза насквозь промокли,
И вот бредем — рука в руке —
Швейцарские сиротки!

— Гм, — сказал Джеймс Бриджер, новый Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Оселок в «Как вам это понравится» и верный Гастон в «Камилле», который был влюблен в Лору. — Где же моя сцена?

Он с ловкостью Меркуцио запрыгнул на стойку бара и, ударив себя кулаком в грудь, заголосил:

«Я живот надорвал в борьбе за металл!» —
Так банкир лепетал сквозь рыданья.

— О! — и спрыгнул на пол.

При виде Марыны все съежились и приняли виноватый, по-детски серьезный вид.

— Продолжайте, прошу вас!

— Мы просто шутили, мадам, и читали друг другу стишки, — сказала Корнелия Скаддер, молодая актриса, которой Марына дала роли Селии в «Как вам это понравится», Пердиты в «Зимней сказке»,

Геро в «Много шума из ничего» и добродетельной сестры Луизы во «фру-фру».

— В таком случае я настаиваю, чтобы вы продолжали, — Марыне нравилась Корнелия. Она обвела взглядом все лица. — Никто не хочет читать для меня? Никто не хочет меня рассмешить? — Она улыбнулась их замешательству. — Очень хорошо. — Она степенно кивнула. — Тогда я сама почитаю для вас. Думаю, вам будет интересно, хоть это и на польском.

Марына начала шепотом. Ее неровный голос был хриплым, но затем стал более мелодичным. Ее исполнение поначалу изобиловало паузами — признак души, полной глубокого чувства, нежного, горького, души, не знающей, что же она хочет выразить. Потом, набрав силу, актриса перешла к высокой интонации насмешки. Напыщенные, журчащие фразы пестрили грубыми, резавшими слух звуками, перемежались беззаботным, сумасшедшим смехом, а затем рыданиями и вздохами. Безучастно глядя перед собой, она понизила голос до хрипоты, словно сорвав его от горя, и закончила на вибрирующей высокой ноте, говорившей о возрожденной надежде и решимости.

Околдованные актеры безмолвно смотрели

на нее. Сидевшая напротив мисс Коллингридж написала что-то на клочке бумаги и передала ей через стол. Марына нахмурилась. Наконец кто-то отважился заговорить.

— Потрясающе, — выдохнул Хорас Петри, их новый Постум в «Цимбелине», Анджело в «Мере за меру» и Банко в «Макбете».

— Тс-с-с! — зашипела Мейбл Хоули, исполнительница ролей служанок (кормилицы Джульетты, Нанины в «Камилле» и Джойс в «Ист-Линн»), которую, дабы сдержать ее нарастающее недовольство, наградили ролью принцессы Бульонской в «Адриенне».

— Не знаю, что вы читали, мадам, но вы меня загарпунили, — сказал Гарри Келлог, завитой осанистый принц Бульонский в «Адриенне», Анри де Сарторис во «Фру-Фру», Леонт в «Зимней сказке» и герцог-отец в «Как вам это понравится». Он родился в семье китобоев из Нью-Бедфорда, Массачусетс.

— Это стихотворение, мадам? — спросила Мейбл. — Или монолог из старинной польской трагедии?

Марына улыбнулась и закурила.

— Что это, мадам? Что это? — воскликнул Чарльз Уиффен, ее Якимо в «Цимбелине», Клав-

дио в «Мере за меру», Орсино в «Двенадцатой ночи» и Арчибальд Карлайл — опозоренный муж в «Ист-Линн».

— Я просто… — начала она, не спеша разворачивая записку мисс Коллингридж. Там было написано: «Вы прочитали польский алфавит. Дважды». Марына расхохоталась.

— Скажите же нам! Что это, мадам?

— Скажите им, Милдред, что я прочитала.

— Молитву, — дерзко заявила девушка. И покраснела.

— Совершенно верно, — сказала Марына. — Актерскую молитву. В моей печальной набожной стране есть молитвы на все случаи жизни.

Мисс Коллингридж улыбнулась.

— Милдред, вы случайно не изучали польский язык у меня за спиной? — спросила Марына на следующее утро, когда они ехали в поезде на вечернее представление «Фру-Фру» в Лидвилле. Одетая к чаю в кружевное платье, она полулежала в шезлонге, лениво помахивая сигаретой; мисс Коллингридж покачала головой. — Что ж, если бы я не знала вас так хорошо, я решила бы, что вы — колдунья.

— Мадам Марина, это самый приятный комплимент, который вы мне когда-либо делали.

— И как он вам был, мой алфавит?

— По-английски говорят: «И как вам мой алфавит?»

— Так и запишем, — сказала Марына. — Ну, и как?

— Грандиозно, — вздохнула мисс Коллингридж.

Марына никак не могла понять, почему в Америке даже образованные люди так недоверчиво относятся к искусству и питают такую антипатию к театру. Женщина, с которой Марыну познакомили в вестибюле отеля «Планкинтон» в Милуоки, похвалялась тем, что ни разу не бывала в театре:

— Когда я вижу двери театра, сразу же перехожу на другую сторону улицы.

Но во всех городах Америки было не счесть молодых женщин, которые считали (или матери которых считали), что они рождены для сцены.

Одна-две из них могли стать актрисами. Но ни одна из тех, кого видела Марына, — а она старалась быть великодушной, — никогда не стала бы звездой.

Убедительность, своеобразие, бархатистость — вот что делает актрису звездой. И еще незабываемый голос. Вы сможете делать *все, что угодно,*

со своим голосом, как только узнаете, какие ноты следует выделять, а какие — оставлять в тени. Управляя дыханием, вы делаете все, что вам нужно: плавные фразы, яркий цветовой спектр, неуловимые изменения тембра, пронзительный крик, хрустальный шепот или неожиданную паузу. Голос льется без усилий, не спеша, во всей своей чистоте, завораживает зал, который замирает в почтительном молчании. Кто не ощущал, как облагораживает возвышенная мольба Изабеллы?

Но человек,

Но гордый человек, что облечен

Минутным, кратковременным величьем

И так в себе уверен, что не помнит,

Что хрупок, как стекло, — он перед небом

Кривляется, как злая обезьяна,

И так, что плачут ангелы над ним...[100]

Вы можете заставить всех зрителей глубо-

---

[100] Примечания: 100

«Мера за меру», акт II, сцена 2 *(пер. Т. Щепкиной-Куперник).*

ко задуматься, хотя бы на мгновение. Можете произнести: *«Все еще держится запах… крови»,* пошевелить только пальцами изящной руки, скромно прижатой к телу, пока вы смотрите на парализованную преступную ладонь (не нужно ее нюхать, лизать или подносить к пламени свечи), стонете, вздыхаете, звените, как колокол: *«Все благовония Аравии не надушат эту маленькую руку. О, о, о!»*[101] *— и все сердца в зале содрогнутся от ужаса.*

Иногда Марына репетировала с актером новую роль с полуночи до пяти часов утра, вставала и приходила на первую встречу в девять, была занята весь день, а вечером выступала. Она никогда не выглядела уставшей. Когда ее спрашивали, как это часто бывало, о секретах ее красоты, она первое время отвечала:

— Счастливая жизнь… мой муж и сын, мои друзья, моя жизнь в театре, умеренный сон, хорошее мыло и вода.

В Америке было принято говорить, что звезда, несмотря на все привилегии, ничем не отличается от обычных людей, но обычные люди, лишь смутно догадываясь об этих привилегиях,

---

[101] Примечания: 101
«Макбет», акт V, сцена 1 *(пер. М. Лозинского).*

знали, что это неправда. Поклонницам Марыны больше нравилось, когда она начинала хвалить что-нибудь такое, что они сами могли купить: косметические кремы Гарриет Хабберд Эйер или лосьон для волос «Ангельская Звезда».

Ей и самой хотелось бы найти подходящий крем или лосьон, особенно когда она неохотно начала использовать новый грим на жировой основе. Стандартизованные, подобно множеству черт современной жизни, компоненты нового грима продавались уже готовыми в форме закругленных палочек, каждая из которых пронумерована и помечена этикеткой. Он наносился быстрее, чем сухой грим, и считался безопаснее, если верить слухам о том, что определенные химикаты, входящие в состав некоторых видов пудры, например висмут, а также красный и белый свинец, ядовиты. (Если бы можно было использовать одновременно сухой и влажный грим — подобно тому, как пароходы, что бороздят Атлантику и выпускают дым через огромные трубы, в случае поломки двигателя могут щегольнуть полным комплектом парусов!) Марыне пришлось также смириться с резким, нелицеприятным освещением — не имеющим запаха, безопасным (разве безопасность *так* уж важна?)

и более ярким (о, намного более ярким!). То, что было сенсацией на улице, в театре приводило к катастрофе. Тусклый, мягкий газовый свет с его милыми пятнышками и пылинками придавал необходимую иллюзорность многим сценам, которые электричество теперь обнажило во всей нищете. Она слышала, что Генри Ирвинг и Эллен Терри наотрез отказались заменить газ электричеством в своем «Лицее». Но в Америке никто не мог отвергнуть часто неприятные веления прогресса. Газовый свет устарел, и точка. Американское пристрастие ко всему новому выражалось фразой: все можно усовершенствовать. Или заменить. Марына вскоре забыла, подписывала ли она письмо, датированное 7 мая 1882 года, которое появилось во многих журналах под заголовком «Марина Заленска отдает дань восхищения американскому изобретению», только из-за гонорара, или она действительно пользовалась некоторое время этим забавным новым продуктом.

Милостивый государь!

В октябре прошлого года, находясь в Топеке, Кан., я приобрела несколько коробочек Ваших «Войлочных таблеток»

(«Идеальный полировщик зубов») и с тех пор регулярно ими пользуюсь. Я с радостью присоединяю свое свидетельство об их ценности к числу прочих и верю в то, что это изобретение в конечном счете почти полностью вытеснит щетки, изготовленные из щетины. Я боюсь только, что когда-нибудь мои таблетки закончатся, а мне негде будет их купить.

Искренне Ваша, Марина Заленска.

Стало труднее (неужели это всегда случается с великими актерами?) вспомнить разницу между тем, что она творила, и тем, что думала. После того как она провозгласила своего друга, мистера Лонгфелло, величайшим поэтом Америки, она прервала свое турне, чтобы прочитать «Крушение „Геспера“» и сказать несколько добрых слов на его похоронах, и Богдан осмелился ее упрекнуть.

— Неужели ты действительно считаешь Лонгфелло таким же хорошим поэтом, как Уолт Уитмен? — воскликнул он.

— Я… не знаю, — сказала Марына. — Ты думаешь, я глупею, Богдан? Вполне возможно. Или просто становлюсь рабой условностей? Это меня вовсе не радует.

Наконец, ее позвали выступить в паре с Эдвином Бутом на его бенефисе в «Гамлете» в нью-йоркской «Метрополитен-Опера», и Марына пела песни Офелии под музыку, которую Монюшко сочинил для нее, когда она играла Офелию в Варшаве много лет назад.

— А, призрак моего отца! — прокричал Бут, когда Марына постучала в его дверь за час до начала спектакля; она хотела показать ему драгоценный оригинал партитуры. Он сидел в темноте, одетый в костюм Гамлета, и пил; она с трудом рассмотрела его худое, важное лицо. В гримерной пахло мочой. Она часто слышала, что он рос задумчивым, грустным ребенком, что его юность, когда ему приходилось прислуживать своему деспотичному, сумасбродному отцу, была горькой и что он так и не оправился после смерти любимой молодой жены через три года после женитьбы, за которой вскоре последовал постыдное деяние его младшего брата Джона Уилкса Бута. У Марыны были свои причины для уныния, но ни одна не могла сравниться с его невзгодами. Она больше не нарушала его одиночества.

Марына ощущала безмятежность. И надеялась, что дело не в старости. Каждый вечер, наложив грим и надев костюм, она выбирала какую-нибудь

сцену и пыталась освежить чтение некоторых реплик: после этого она становилась спокойной, сосредоточенной, чуткой. Сидя в гримерной между двумя актами в ярко-красном кимоно поверх костюма (подарок японского посла в Вашингтоне, ее поклонника) и с шерстяным шарфом вокруг горла, чтобы не простудить голосовые связки, с сигаретой в маленьком золотом зажиме, приклепанном к кольцу, которое она носила на указательном пальце, Марына размышляла над доской, раскладывая карты величиной чуть больше ногтя… пока мальчик, вызывающий на сцену, не отрывал ее от игры.

Играя в одиночку, вы не жульничаете. Но не каждый расклад вас устраивает; вы сдаете и пересдаете их до тех пор, пока не получите расклад (например, два короля и хотя бы один туз), который дает вам больше шансов выиграть. Иногда она задумывалась, или что-нибудь планировала, или вспоминала, например Рышарда. Часто возникало вкрадчивое, коварное желание поиграть в другую игру. Пришли новости о Рышарде. Он женился. Первым написал Хенрик, а потом остальные. Ревность вспыхнула ярким пламенем. (Да, она была достаточно тщеславна, чтобы предположить, что он не сможет полюбить кого-

нибудь еще.) Горечь сожаления прожгла сердце, затем злость охладила ее. (Ей даже в голову не приходило, что он мог жениться не по любви.) Она сдала самой себе карты. И проиграла. Если вы проигрываете, то вам приходится отыгрываться. Вы думаете: «Ну, еще разок». Но даже если выигрываете, вам все равно хочется играть дальше.

— Я хочу поговорить с мадам Заленской и ее детьми, — сказал высокий худощавый призрак, выросший в дверях ее вагона.

Всего час назад они въехали в железнодорожное депо в Лексингтоне, Кентукки, чтобы дать два вечерних спектакля, и Марына удивилась, как эта женщина прошла мимо Мелвилла, их расторопного носильщика, которому было приказано не пускать никого, кроме членов труппы. Девушки, караулившие ее у служебного входа или топтавшиеся на тротуаре возле отеля (если Марына останавливалась в их городе на неделю) в надежде хоть одним глазком взглянуть на своего кумира, не могли бы пройти незамеченными даже на территорию вокзала. Но Марына сразу поняла, что эта женщина не стремилась попасть на сцену.

— Чем могу служить? — Марына поднялась.

— Вы — мадам Заленска, а это… — Бледно-го-

лубые глаза женщины внимательно осмотрели длинный стол, за который как раз уселись Богдан, мисс Коллингридж. Пибоди и полдюжины актеров, чтобы поужинать вместе с Марыной. — …это ваши дети?

Тридцатипятилетний Морис Бэрримор (одаренный английский актер и начинающий драматург, который играл у Марыны Ромео, Орландо, Клавдио, Мориса и Армана Дюваля уже несколько сезонов подряд) и шестидесятилетний Фрэнсис Макгиверн (ее брат Лоренцо, Анджело, Мишонне и отец Армана) расхохотались.

— Тихо, малыши, а не то я отшлепаю вас и отправлю спать без ужина! — сказала Марына. — Поскольку все мы знаем, что великая актриса не имеет возраста, благодарю вас за комплимент, миссис…

— Миссис Уэнтон.

— …но, к сожалению, у меня только один ребенок, да и тот далеко, в пансионе близ Бостона.

— Я говорю о вашей труппе. Они тоже ваши дети — духовные дети, их спасение целиком зависит от вас.

— Как вы считаете, много ли религиозных фанатиков в Америке? — прошептал Богдан мисс Коллингридж.

— Что вы там шепчете, сэр? Послушайте, что я скажу вашей матери.

— Я не актер, мадам, и, по-видимому, моей душе не грозит непосредственная опасность. И я никому не позволю утверждать, что с этой дамой меня связывают сыновние отношения.

Эбен Стопфорд, борец Шарль в «Как вам это понравится» и привратник в «Макбете», стукнул по столу своей широкой ладонью.

— Я вижу, надо мной здесь смеются.

— Мадам Марина, можно мне проводить даму к выходу?

— Не надо, Эбен. Все нормально.

Миссис Уэнтон торжествующе улыбнулась, затем подошла к столу и пристально посмотрела Марыне в лицо.

— Позвольте поговорить с вами. С глазу на глаз. Меня прислал к вам со священным поручением тот, кто очень дорог моему сердцу.

— С глазу на глаз. Очень хорошо. Только я возьму с собой джентльмена, который сказал, что он — не актер.

В гостиной Богдан взял со столика журнал, сел на диван, скрестил ноги и нахмурил брови. Марына усадила незваную гостью напротив себя, в кресло возле книжного шкафа. Мелвилл,

которого Марына решила не корить за то, что он не справился со своими обязанностями часового, принес кофе. Сурово отмахнувшись от него, непрошеная посетительница разинув рот наблюдала, как Марына вставила что-то в короткую золотую трубочку, которую прихватила губами, наклонилась вперед, когда Богдан встал и чиркнул спичкой, чтобы поджечь кончик трубочки, и снова откинулась, положив кисть на кружевную салфетку, что накрывала ручку мягкого кресла.

— Вы никогда не видели даму с сигаретой?

— Никогда!

— Теперь увидели, — сказала Марына. — Будьте так любезны, пересильте свое удивление и расскажите, что вам от меня нужно, или позвольте мне вернуться к столу.

— Я могу начинать? Вы слушаете меня?

— Можете начинать, миссис Фэнтон.

— Уэнтон. Не знаю, получится ли, когда у вас дым валит изо рта и ноздрей.

— Получится, — сказала Марына. — Попробуйте.

— Прошлой ночью ко мне приходил мой сын из горнего мира. Мой маленький сын, которому было всего лишь три годка, когда он утонул в пруду рядом с нашим домом, и у него в глазах сверкали

звезды. «Мама, — сказал он, — ступай к мадам Заленской и скажи ей, что пол сцены — решетка, под которой пылает адский огонь. Предупреди ее, мама, что, если она будет и дальше подавать дурные примеры, ей не будет никакой пощады. Однажды она сделает один-единственный шаг, и под ней с треском провалится пол, и она упадет в огненную бездну, и остальные актеры вместе с ней». — Миссис Уэнтон смотрела на Марыну влажным, умоляющим взглядом.

— Я очень сочувствую вашему горю. Когда это случилось с вашим сыном?

— Много лет назад. Но он всегда со мной. «Мама, — сказал он прошлой ночью, — во имя блага людей, пойди и попроси мадам Заленскую, чтобы она спасла себя и множество других душ, которые она развращает».

— Марына, только не…

— Развращает? Я кого-то развращаю?

— Да! — И гостья разразилась тирадой против пьес, в которых играла Марына, особо выделив «Адриенну», прославляющую сцену, «Камиллу» — историю куртизанки и «Фру-Фру» — историю легкомысленной женщины, бросившей мужа и маленького сына. — Все три, — заключила она, — адские исчадия французских авторов.

— И вас не удовлетворяет, что все эти несчастные женщины — Адриенна, Маргарита и бедняжка Жильберта — умирают в конце пьесы? Если даже они так порочны, как вы говорите, неужели они недостаточно наказаны?

— Но прежде чем они получают наказание, вы, мадам Заленска, благодаря своему искусству, представляете их очень привлекательными.

— Так, значит, меня тоже нужно наказать? Вы это хотите сказать?

— Марына, можно мне…

— Нет, Богдан, я хочу выслушать миссис Уэнтон до конца. Я хочу понять ее.

— Нечего здесь понимать, мадам Заленска. Я пришла во имя морали и религии.

— Какой религии, позвольте спросить?

— Я — евангелистка. Представительница всех религий.

— Да что вы говорите? В Америке так много различных церквей и даже — как мне говорили — семей, члены которых принадлежат различным конфессиям. И вы верите во *все* эти религии, миссис Уэнтон? Феноменально! Но я принадлежу только одной церкви — римско-католической и следую ее заповедям милосердия и любви.

— Слава богу, я не принадлежу римской церк-

ви, но все мы хорошо понимаем разницу между добром и злом. Бог дал вам талант. Прекрасный талант. Почему же не использовать его во благо? Зачем вы показываете такие аморальные пьесы?

— Надеюсь, вы не считаете аморальным Шекспира?

— Еще один прекрасный талант, который был употреблен во зло! Не везде, конечно, но у Шекспира полно непристойностей! Похоть, которая называет себя любовью, служит темой «Ромео и Джульетты» и «Сна в летнюю ночь», где все спят вповалку на земле, а в «Как вам это понравится» и «Двенадцатой ночи» есть женщины, которые скачут по сцене в *трико*! И еще есть колдовство в той пьесе, где жена уговаривает мужа убить короля, после того как ведьмы напророчили…

— Прошу вас, не произносите, — сказала Марына.

— Чего?

— Миссис Уэнтон, какие пьесы вы хотите видеть в моем исполнении? Наверное, «Страсти».

— Еще одна мерзкая французская пьеска? Судя по названию…

— Нет-нет, это религиозная пьеса, которую показывают в Австрии. Ее тема — страдания Христа.

— Послушайте меня, мадам Заленска. У вас великолепная внешность, великолепный голос. Вы способны влиять на людей. Это женский дар. Станьте женщиной-оратором, а не лицемерным созданием, что притворяется на сцене кем-то другим. Вы могли бы говорить от чистого сердца. Вам нужно стать проповедником!

— И что же станет с моим искусством?

— Искусство — обман! Самый большой обман в мире. Слава — тоже.

— А деньги?

— Деньги — это не обман, а ловушка.

— Тонкое различие, — сказала Марына. — Но я не могу представить себе американца, который считает деньги просто-напросто обманом.

— Зачем вы критикуете страну, которая так добра к вам?

— Ах, — вздохнула Марына, погасив сигарету и поднявшись, — тут вы правы. Это критика, плоская и неоригинальная, — кто не осуждал американский «роман» с деньгами? — но я имею право, чисто американское право, выдвигать это обвинение против своей приемной родины. Как вы, возможно, знаете, в этом году мы с мужем — прошло семь лет с тех пор, как мы сюда приехали, — стали американскими гражданами. Я

очень благодарна этой стране. И поверьте, я тоже не считаю деньги обманом.

— Марына, пора… — вставил Богдан.

— Да, сейчас. Ответьте, миссис Уэнтон, вы часто ходите в театр?

— Я вынуждена ходить… — Она смотрела на Марыну снизу вверх, многозначительно подняв голову. — Чтобы следить за наступлением бесчестия.

— Тогда вам наверняка захочется посмотреть пьесу, которую я сейчас разучиваю и буду играть в субботу в Луисвилле, в театре «Маколей». Там есть сцена, где молодой муж ужасно возбуждается при виде своей жены, которая танцует зажигательную тарантеллу и трясет бубном у него перед носом.

Миссис Уэнтон вскочила с места.

— Может, вы хотите, чтобы я станцевала для вас сейчас?

— Вы упорствуете в своих дьявольских ухищрениях.

— Упорствую.

— Мой сын очень расстроится. «Мама, — скажет он, — тебе не удалось спасти мадам Заленскую». Надеюсь, он не рассердится на меня. — Она собралась было уходить, но обернулась: — Помните,

врата ада распахнуты.

— «Как жаль, что мистер Линкольн погиб у самых врат ада!» — нараспев произнесла Марына. — Мне говорили, что после его трагической смерти в «Форде» все театры закрыли на несколько недель, а священники из северных штатов в своих воскресных проповедях от имени Господа осуждали мою дьявольскую профессию.

— Я родилась и выросла в Кентукки и не проливала слез над этим атеистом мистером Линкольном. Но все же вертеп — плохое место для смерти.

— А я ничего не имею против того, чтобы умереть в театре, — сказала Марына. — На самом деле мне бы хотелось умереть именно там.

— Я буду молиться за вас, бедная заблудшая душа.

— Ах, миссис Уэнтон, что делать с такими людьми, как вы? Вы и вам подобные лишаете театр возможности стать чем-то большим, чем пустое развлечение. Вы сами губите Америку!

— Так или иначе, — сказал Богдан, швыряя журнал на пол, — вы загубили наш ужин. Пошли, Марына! Пошли!

3 декабря. Пьеса с тарантеллой. Сладострастные извивания. Ворвалась религиозная фанатичка.

Патетические угрозы, тирады. Адское пламя. Проклятие. М. обворожительна, настроена поспорить.

4 декабря. Не могу понять, почему М. так волнует эта пьеса. Это же «Фру-Фру» навыворот. Испорченная жена-ребенок только притворяется наивной и глупой, потому что такой она нравится мужу. Но оказывается очень умной. Не бросает семью ради незаконной связи. Проблема: она понимает, что вышла замуж за недостойного человека. Виноват муж, и его не прощают. Публика даже не подозревает, что ее стремление к самостоятельности — чтобы узнать, кто она на самом деле! — может привести к несчастью. Пьеса не осуждает ее за то, что она бросила дом и детей. Троих детей, как в «Ист-Линн»!

5 декабря. Запретное желание нарастает, а затем прорывается. Луна — меньше облака, что закрывает ее. Последний приезд в Калифорнию. Отдыхаю полулежа. Журчание ручейка. Нервные улыбки и покрытые пушком, бронзовые, покорные… То, о чем мечтал, стало таким осязаемым. Я погрустнел. Словно бы потерял их. Грязное желание. Снилась М. Не смогу бросить ее. Никогда. Никогда. Никогда.

6 декабря. Восток и запад. Безопасность и бес-

печность. Дом и риск. Любовь и похоть. Привезти Хуана-Марию на восток и сделать его носильщиком или официантом в труппе? Неужели я *этого* хочу?

7 декабря. Вероятно, ошибкой будет пробовать в Луисвилле нашу новую, уже нашумевшую пьесу из Старого Света. В Кентукки жена не может бросить мужа и троих детей, сказал я М. Кентукки никогда этого не позволит. Жене придется остаться и приложить все старания. Взгляд М. По крайней мере, нужно изменить название. Американцы мыслят слишком буквально, и публика может подумать, что это пьеса для детей. В следующую субботу тротуар возле «Маколея» заставят детскими колясками. А Морис полагает, что если дать героине скандинавское имя, то это поможет публике лучше понять пьесу. Предложил Тору. Тора и ее муж Торвальд? Не чересчур ли по-скандинавски?

8 декабря. Самое сложное, конечно, концовка. Готова ли американская публика принять образ женщины, которая бросает мужа и детей не потому, что безнравственна, а потому, что серьезно относится к жизни? Вряд ли. Не лучше ли, говорю я М., если пьеса будет заканчиваться примирением жены и мужа? Он раскаялся. Она дает ему

возможность исправиться. А если М. настаивает на том, чтобы она его бросила, то уход в морозную зимнюю ночь кажется совершенно невероятным. Куда она пойдет в столь поздний час? В гостиницу, если в этой маленькой деревушке вообще есть гостиница? Не слишком ли мелодраматично? Она что, не может подождать до утра?

9 декабря. Я думал, тебе нравятся счастливые концовки, говорю я. Мне кажется, это *и есть* счастливая концовка, говорит М. Ты что, не понимаешь, почему она хочет уйти? Прекрасно понимаю, говорю я. Все мечтают разорвать узы брака и начать все сначала. Да, говорит М., но я не мечтаю. А ты, Богдан? Ты хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос? — парирую я. Я думал, мы обсуждаем концовку пьесы. Ах, муж мой, говорит М., о чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о себе. Да, отвечаю. Так зачем менять концовку, спросила она. Я не ухожу, сказал я.

11 декабря. М. с неохотой согласилась. Нора — нет, Тора! — подумает о том, чтобы уйти. Но не уйдет. И простит мужа. Если все пройдет удачно, мы восстановим подлинную концовку, когда привезем пьесу в Нью-Йорк.

12 декабря. Вчера — премьера «Торы». М. великолепна. Морис вполне прилично выглядел

в роли бестолкового мужа. Публика достойна сожаления. Рецензенты в гневе, несмотря на счастливый конец. Чего я и боялся. Оскорбление христианской морали и американской семьи. И — ах, тарантелла!

«Тора» Генрика Ибсена с Мариной Заленской в главной роли была показана один-единственный раз в Луисвилле, Кентукки.

Пока Марына подыскивала новую пьесу, Морис Бэрримор решил написать для нее драму, которая непременно должна иметь успех. Он взял тему, на которую Марына часто и с большим чувством говорила при нем: Польша под игом русских угнетателей. Пьеса называлась «Надежда», именем одной из двух героинь, созданных для Марыны: прекрасной польской женщины, мужа которой русские бросили в тюрьму за участие в Восстании 1863 года. Шеф полиции, князь Забуров, уговаривает Надежду отдаться ему, взамен обещает освободить ее мужа; вместо этого Забуров отправляет его на расстрел и возвращает Надежде его мертвое тело, после чего она призывает свою маленькую дочь отомстить за отца, выпивает яд, падает на тело мужа и умирает. Марына должна была сыграть также прекрасную дочь, Надину, которая вырастет и отомстит за смерть родите-

лей. Однажды вечером Забуров, все такой же развратный и вероломный, приглашает Надину к себе в кабинет; когда он бросается к ней, она успевает ударить его ножом, который схватила с соседнего столика, накрытого для интимного ужина. Пьеса заканчивается тем, что Надина выпивает яд и умирает на руках своего возлюбленного (эту роль Бэрримор написал для себя), когда узнает, что он — сын человека, которого она убила.

Марына не могла отказаться играть в этой пьесе: это подарок Мориса, а Морис — чудесный актер. Она очень любила Мориса. Если бы только любовь к ней не вдохновила его на эту слащавую карикатуру на польский патриотизм, польские страдания и польское благородство! Например, когда Надина перед побегом ставит две свечи у головы Забурова и читает короткую молитву… Морис, право же!

— Слащаво? Да что вы! Я просто хотел сказать, что она раскаивается в своем преступлении. Этот благочестивый поступок так трогателен, мадам Марина. Вы не находите?

— Нет, Морис, не нахожу. Это сентиментальность, а не благочестие. Надина могла прийти в ужас от своего преступления, но никогда бы не

раскаялась. Шеф царской полиции получил по заслугам.

После нескольких спектаклей в Балтиморе в феврале 1884 года Марына открыла «Надеждой» сезон в нью-йоркском театре «Стар» и показала пьесу более пятидесяти раз в весенне-летнем турне по Соединенным Штатам.

Когда на следующий год Марына не захотела играть «Надежду», двуличный драматург послал свое творение Саре Бернар, заявив, что ему будет очень лестно, если она прочтет его пьесу, поскольку обе ведущие роли, как он смеет признаться, написаны специально для нее.

И, наверное, пьеса чем-то приглянулась Бернар, поскольку она, очевидно, передала ее Викторьену Сарду, своему штатному драматургу и любовнику: два года спустя актриса открыла сезон в Париже спектаклем, который поразительно напоминал «Надежду». Конечно, Сарду внес несколько мастерских изменений. История, растянувшаяся на двадцать лет, была ужата до действия, которое занимало время от позднего утра одного дня до рассвета дня следующего. Неудавшееся польское Восстание 1863 года превратилось в неудавшееся республиканское Восстание в Риме в конце восемнадцатого столетия, благородная

польская жена — в запальчивую итальянскую оперную певицу, а ожидающий казни муж — в пылкого любовника и художника Вместо матери с дочерью и двух самоубийств там была одна героиня — певица, которая, обеспечив свободу любовнику (как она думала) и убив развратного шефа полиции, взбирается на крышу замка на берегу Тибра, посмотреть на обещанную мнимую казнь, но видит, что казнь оказалась настоящей, прыгает и разбивается насмерть.

Марыну не трогало горе Мориса. Да, она отказалась от «Надежды». Но напрасно он послал пьесу Бернар. Он понес справедливое наказание.

Несмотря на то что Сарду сохранил нелепые свечи, поставленные по обе стороны тела шефа полиции, Марыне показалось, что он существенно улучшил пьесу Мориса. Теперь, когда главными героями уже не были польские патриоты, Марыне захотелось в ней сыграть. Пибоди написал Сарду, предложив условия приобретения прав на его пьесу в Америке. Прежде чем ей стало стыдно за то, что она так по-свински повела себя с Морисом, Сарду прислал по телеграфу вежливый отказ. Может, он испугался, что Морис подаст на него в суд за плагиат? Скорее всего, вето исходило от самой Бернар, которая

не могла допустить, чтобы самая успешная из ее ролей, написанная специально для нее, перешла к Марине Заленской.

Даже не подозревая о запланированном предательстве Марыны и потерпев неудачу с судебным иском, незадачливый автор решил совершить повторный плагиат своей же собственной пьесы, превратив «Тоску» Сарду в историю времен Гражданской войны. Лидия — нет, Аннабель, прекрасная жена шпиона союзников, который был приговорен к смерти военным судом Джорджии, — умоляет генерала конфедератов пощадить мужа. Развратный генерал Доннард, который некогда был ее поклонником, предлагает подлую сделку, условия которой он к тому же не собирается выполнять. В оранжерее особняка Доннарда, построенного в стиле греческого возрождения, добродушный дворецкий Джордж зажигает мерцающие серебряные канделябры на столе, накрытом для позднего ужина с устрицами и шампанским, пока хозяин Джорджа дожидается прихода прелестной просительницы, которая наивно полагает…

Не может быть и речи, Морис! И речи быть не может! Богдан наложил вето на эту идею, и Марына вернулась к пьесам, что гарантированно

приводили к успеху.

— Вот послушай, Богдан! «Величайшая актриса на американской сцене — полька. В самом деле, у мадам Заленской нет ныне здравствующих соперниц, кроме Сары Бернар, которую… — слушай! — которую, на мой взгляд, она во многом превосходит».

— Кто это написал? Уж не Уильям ли Уинтер?..

— Вряд ли он на такое способен, — рассмеялась Марына и заговорила скрипучим уинтеровским голосом: — «Американцы должны сплотить свои ряды в непреклонной решимости, дабы помешать аморальному использованию Театра, которое совершается под благовидным предлогом. Я говорю о моде на непристойные „проблемные“ пьесы». Помнишь, как он набросился на нашу маленькую авантюрку с Ибсеном?

— Вечно восторженная Дженетт Гилдер?

— Да нет же! Критик из «Театра», с которым я ни разу не встречалась.

— Ну что ж, дело сделано, Марына. Ты победила.

— Мне осталось только поверить в то, что я прочитала.

В следующем году она должна была совершить турне по стране вместе с Эдвином Бутом: сыг-

рать Офелию в паре с его Гамлетом, Дездемону в паре с его Отел-ло, Порцию в паре с его Шейлоком, а в «Ришелье», бульвер-литтоновской драме, в которой Бут добился второго успеха после «Гамлета», — сыграть Жюли де Мортемар, беззащитную подопечную кардинала. Еще одна женщина-жертва!

— Бедная Марына, — сказал Богдан. — Какая невероятно напряженная жизнь! Подобострастные критики, которые не смеют не превозносить ее. Неискренний муж, который не смеет сказать ей правду, однако пытается хотя бы намекнуть о том… что звучит слишком грубо.

— Если хочешь уйти, — сказала Марына, — уходи. Теперь у меня хватит сил.

— Упаковать вещи, сорвать с себя свадебную ленту и сунуть ее тебе, распахнуть дверь, захлопнуть и уйти в снежную ночь?

— Ты мог бы вести другую жизнь.

— Это можно сказать о многих людях, — произнес Богдан.

— Но сейчас я говорю о тебе.

— Ты считаешь меня трусом.

— Нет, я думаю, что ты любишь меня. Супружеской любовью. По-дружески. Но мы оба знаем, что существуют другие виды любви. — Завязав

волосы в пучок, Марына протянула руку. Богдан передал ей коробочку с жирным гримом. — Поверь, я всегда хотела, чтобы ты нашел то, что тебе нужно.

— Никогда не найду.

— Не найдешь?

— Я уже сформировался. Полностью. Окончательно. Моя Америка — это ты. По-прежнему ты. Когда я нахожусь… там… Ты не можешь представить, как я скучаю по тебе!

— А ты не можешь представить себе, мой дорогой Богдан, потому что я и сама этого не понимаю до конца, как сильно я тебя люблю. Хочешь, я снова попробую оставить сцену?

— Марына!

— Я сделала бы это ради тебя.

— Марына, любимая, я запрещаю тебе даже думать о подобной жертве.

— Вряд ли это большая жертва. — Она тонким слоем наносила масло какао на лоб и щеки. — Как ты сказал, я — не люблю это слово — победила. Остается только продолжать, повторяться, стараясь не опошлиться и не выйти в тираж. В какое страшилище я превращусь, когда совершу двадцать турне по стране? А тридцать? Сорок? — Она по-девичьи рассмеялась. — Когда я соглашусь

играть кормилицу Джульетты? Нет, никогда не соглашусь на кормилицу! Лучше уж играть ведьму в «Макбете»!

— Марына!

— Как я люблю шокировать тебя, Богдан, — сказала она своим грудным голосом. — «Макбет». И снова повторю: «Макбет». Как ты думаешь, нас поразит молния?

— Тебе всегда удается очаровать меня, Марына. Ты доводишь меня до безумия. Я поднимался в аэростате вместе с Хуаном-Марией и Хосе. Я продолжаю летать с ними.

— Я так и думала. Ты — смелый человек. — Она встала, протянула руки и обняла его за голову.

— Ты так добра ко мне! — сказал он. — Я думал, что растворюсь в себе самом. Возможно, я *надеялся*, что аэростат упадет и разобьется.

— Но он же не разбился, милый Богдан, — она поцеловала его. Он заключил ее в объятия. — И, как видишь, никакой молнии! Хотя хорошо было бы умереть сейчас вместе. Треск! Огонь! Пепел.

— Марына!

— А теперь, раз уж тебе удалось довести меня до слез, ты должен покинуть мое маленькое царство. Как я смогу наложить грим, стоя под дождем примирения? Ступай, любовь моя, ступай! — На

ее лице светилась лучезарная улыбка. — И не забудь… — Ее ужалило воспоминание, она подняла глаза к потолку, полуоткрыв рот. — Не забудь запереть дверь, чтобы не ворвались непрошеные гости.

Марына села и посмотрела в зеркало. Конечно, она плакала от счастья — если только оно возможно, а наивысшим идеалом, которого дано достичь человеку, не служит жизнь героя. Счастье бывает разным, жить ради искусства — привилегия и блаженство, и женщины обладают даром отказываться от сексуального благополучия. Она услышала, как дверь гримерной со скрипом закрылась. И прислушалась к щелчку, когда муж запер ее на задвижку.

9

— Видите ли, дорогая Марина… Думаю, можно обойтись без «мадам Марины» и «мистера Бута» теперь, когда мы одни, а я измучен, пресыщен аплодисментами и уже достаточно пьян… Должен сказать, мне не понравилось, когда вы сегодня вышли на авансцену и прикоснулись ко мне. Когда вы пристально смотрели на меня всю сцену, не замечая никого в зале суда, я не возражал. Мы договорились о том, что речь будет обращена к Шейлоку. *«Не действует по принужденью милость; как теплый дождь, она спадает с неба»*[102]. Да, не действует, но суть не в этом, суть в том… что Порция пытается убедить Шейлока и тем самым растрогать его. Его не так-то просто растрогать. Он перенес слишком много обид. Этому бедняге самому впору растрогать Порцию. Но Порция не должна прикасаться к Шейлоку. Даже к его плечу. К плечу или к любой другой части тела.

Только не прикасаться! Шейлок страдает. [*Смотрит в зеркало, которое держит в руках.*]

---

[102] Примечания: 102

«Венецианский купец», акт IV, сцена I *(пер. Т. Щепкиной-Куперник).*

А когда человек страдает., он легко возбудим. [*Смотрит вверх.*] Полагаю, вы хотели показать, что Порция остается женщиной даже под красной мантией судьи, женщиной до мозга костей, и поэтому интуитивно догадывается, что этот изверг тоже способен испытывать любовь, страсть и обиду. Но это — дурацкий сентиментальный жест. [*Качает головой.*] Вы чудовищно сентиментальны, женщина, вам кто-нибудь говорил об этом? Лично я предпочитаю широкие, гневные жесты. Что, однако, не означает, что я не прикоснусь к вам сегодня вечером, если еще немного выпью. Только не говорите мне, что вы замужем, уже немолода или что-нибудь в этом роде. Вы на тринадцать лет моложе меня, если, конечно, не лжете насчет своего возраста, как поступают все привлекательные женщины, но давайте отложим разговоры о прикасаниях и всем остальном до лучших времен. [*Становится у камина.*] Сейчас я настаиваю лишь на том, чтоб вы со мною выпили. Никакого дамского сопротивления? Хороший знак. Превосходно. Но если вы будете просто кивать и улыбаться своей безотказно чарующей улыбкой или поправлять прелестные волосы — этого мало. Скажите громко: «Да, Эдвин. Да… Эдвин». Браво! Молодчина. [*Допивает*

бокал.] И ты молодчина, Нед! [*Ставит пустой бокал на каминную полку.*] Недом меня называли в детстве. Но вам нельзя. Ведь вы только недавно стали называть меня Эдвином. Нед — слишком интимно, не правда ли? А нам с вами больше подходит нечто умеренно-интимное. Мы же актеры. [*Ставит правую ногу на каминную решетку.*] Вы никогда не хотели снова стать ребенком, Марина? А, и вы тоже. У нас есть что-то общее. Хотя я подозреваю, что общего не так уж много, за исключением того, что мы — актеры. Согласен, это очень много. Не так ли, Марина? Безраздельно ли я завладел вашим вниманием, Марина? Я вижу, взгляд ваш блуждает в смущении, скажем так, по бюсту Шекспира на книжном шкафу. Не смотрите туда. Здесь в каждой комнате есть портрет или бюст Шекспира. Снять вам его? [*Подходит к книжному шкафу.*] Нет? Вот видите, лучше смотреть на меня. [*Гладит Шекспира по голове.*] Мы с вами играем, Марина. Сегодня вечером мы вместе играли перед публикой. Могу добавить, вполне сносно. Давайте продолжим игру *sans*[103] публики, идет? Только, конечно же, совершенно искренне. [*Сценический поклон.*] Кого буду играть

---

[103] Примечания: 103
Без *(фр.).*

я? Пожалуй, исполню роль Эдвина Бута. Отличная мысль! По-моему, он гораздо интереснее Шейлока и точно так же несчастен. Очень несчастен и задумчив, идеально подходит для трагических ролей. Но, не сочтите меня деспотом, я бы предпочел… чтобы вы сегодня… не играли Марину Заленскую. [*Берет бутылку виски из шкафчика.*] Как вы на это смотрите? Уважьте меня. В вашем репертуаре наверняка найдется еще несколько «я». Весьма забавно, что за последние десять лет все сошлись на том, что величайшей актрисой в англоговорящем мире является полька. Полька с акцентом. Да-да, Марина. Никто о нем больше не упоминает, это часть вашей магии, но о-он о-оче-ень и о-оче-ень заметен. Только, ради бога, не дуйтесь на меня, женщина. Я не стану отрицать, что, несмотря на акцент и прочее, вы строите фразы лучше, чем большинство исконных носителей языка. Еще бокал? Хорошо. Интересно поглядеть, когда на вас подействует. [*Вертится вокруг нее.*] Вы очаровательны, Марина Заленска. Либо я совершенно искренен, либо просто хочу польстить вам. Как вы думаете? Или ни то ни другое. А может, я — попугай. [*Пронзительно кричит, как попугай.*] Не бойтесь. Мой отец иногда так делал. За кулисами. Ухмылялся, визжал

и кричал перед самым выходом, а потом мгновенно становился благородным, красноречивым, певучим. О чем это я? Ах да, они говорят: «Самый обаятельный человек, которого я встречал». Это никогда вас не беспокоило, Марина? Вы никогда не спрашивали себя: «Во имя всего святого, *что я* гакогос собой сделала, что люди стали считать меня настолько обаятельной?» [*Целует ей руку.*] Вы, вероятно, знаете, что я не имел успеха в роли Ромео и вскоре исключил ее из репертуара. А что касается Бенедикта Я никогда не был хорошим Бенедиктом! Не хватало легкости. Во мне есть что-то земное. И мне никогда от этого не избавиться. Ну да ладно. Мы должны делать то, что у нас лучше всего получается. Вы не согласны? Мне нравится играть злодеев. Жаль, что мы не даем «Ричарда III» в этом турне. [*Изгибается всем телом и становится похож на урода.*] Это была первая большая роль отца. А вы бы сыграли леди Анну, — хотя, увы, еще не со мной, — которая не в силах устоять перед Диком Горбуном, когда он играет героя-любовника. [*Выпрямляется.*] Скажите, вы *действительно* настолько моложе меня? Не краснейте, женщина! Мы же с вами не на сцене. Ну же! Я умею хранить тайны. Вижу, вы стесняетесь. Хотите мне угодить. Я так и думал.

Что ж, вы все равно моложе меня на семь лет. И прекрасно выглядите. Для женщины это — главное. Я излишне саркастичен? Вам нужен бальзам? Всем актерам нужна лесть. Кому это знать, как не Эдвину Буту? Посмотрим, смогу ли я сделать вам комплимент, который окажется правдой. Ах да. [*Тычет в нее пальцем.*] Вы хорошо ходите. Сегодня мне понравилась ваша походка. Вы не забываете, что действие происходит в Венеции. Порция идет, словно ступая по мрамору. Я это запомню. А значит — украду. Отныне Шейлок тоже будет ходить по мрамору. [*Идет по комнате. Начинает семенить. Останавливается. Смеется.*]

Видите, спустя все эти годы я продолжаю работать над ролью. Когда отцу нужно было играть Шейлока, он ходил и бормотал что-то по-еврейски. Или что-то похожее на еврейский. Однажды в Атланте он зашел в самый изысканный ресторан города и заказал ветчину с зеленью, а когда официант поставил блюдо на стол, он сбросил его на пол с воплем: «Фу! Нечистое! Фу!» — и опрометью выбежал на улицу. Конечно, я — само воплощение здравого смысла и ни секунды не думаю так, как Шейлок, если не стою на сцене в темно-коричневом длиннополом кафтане и желтоватой фетровой шляпе с опущенными

полями, сжимая в унизанной перстнями правой руке суковатый посох. [*Протягивает к ней руку.*] И я не думаю, как Отелло, пока не становлюсь черным, как мавр. И даже как Ричард III, хотя я очень люблю эту роль. То же самое относится к Ришелье. Гамлет… пожалуй. Можно сказать, что у меня слабость к Гамлету. Но не потому, что все считают меня похожим на Гамлета. Я похож на Гамлета? «Фу!» — как сказал бы отец. Но Гамлет чем-то похож на меня. Возможно, все дело в том, что Гамлет — актер. Да, Марина, в этом его суть. Он играет. Он кажется одним человеком, а что под этой видимостью? Ничего. Ничего. Ничего. Черный как смоль костюм, который он надевает во второй сцене. Этот упорный, показной траур по отцу. У всех умирают отцы, напоминает ему Гертруда, и она права: «*Что ж кажется тогда столь редкостной тебе твоя беда?*» И Гамлет истошно вопит, вы помните: «*Не кажется, сударыня, а есть. Мне „кажется“ неведомы*»[104]. Но «кажется» ему ведомы. И не ведомо больше ничего. В этом его беда. Гамлет отдал бы все на свете за то, чтобы не быть актером, но он обречен. Обречен быть актером! Он надеется прорваться

---

[104] Примечания: 104

«Гамлет», акт I. сцена 2 *(пер. Б. Пастернака).*

сквозь эту видимость, эту игру, чтобы просто *быть*, но по ту сторону видимости нет ничего, Марина. Кроме смерти. Кроме Смерти. [*Окидывает взглядом комнату.*] Я ищу череп Йорика. Куда же я его положил? Йорик! То есть Фило! Где же ты? Куда запропастился этот череп? [*Откидывает крышку стола. Швыряет на пол бумаги.*] Мой черепок. Полцарства за черепок! Последняя строка звучала бы намного убедительнее, если бы я потрясал черепом. Ничего, кроме смерти. Кроме Смерти. Вы услышали большую «С» во втором слове «смерть»? Из таких крохотных деталей складываются великие спектакли. Но вы наверняка услышали, Марина. Вы — идеальный зритель для сокрушенного трагика. [*Протягивает к ней руку.*]Моя маленькая принцесса. Моя польская королева. Вы любезно согласились составить компанию Неду, пока он напивается. Вы знаете, что он совершенно безопасен, поскольку мертвецки пьян, так что вашей добродетели ничто не угрожает. Даже если вы — почтенная замужняя женщина, уже не молодая и так далее. Но берегитесь старины Неда! Он — хитрец. [*Делает пируэт.*] Возможно, он только притворяется пьяным. А на самом деле — просто не в себе. И поэтому совсем чу-уть-чу-уть опасен. Как

Гамлет, он ведь тоже хитрец. Притворяется, что не играет. И дает другим уроки актерской игры: *«Читайте, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки…»* Вам не кажется, что его наставления актерам самоочевидны? Даже слишком. *«Согласуйте действие со словом и слово с действием…»*[105] Ба! Да он банален, как Полоний! А где же огонь? Где безрассудство? Наверное, мне нужно играть Гамлета на цыпочках, всю пьесу от начала до конца, как мой отец когда-то играл Лира в Буффало. Или шепотом, как он играл Яго в Филадельфии. Конечно, отец был сумасшедшим. Или пьяным. Или сумасшедшим и пьяным. Трудно сказать. Как и обо мне. Вы об этом сейчас подумали, Марина? Да? А я-то решил, что вы будете откровенной со своим старым другом Недом. [*Подсаживается к ней на диван.*] Но безумен ли Гамлет? Об этом много написано. Я должен сказать, что Гамлета *необходимо* считать безумным, потому что только безумец мог скрываться под маской безумца, хотя перед ним было такое множество других масок. Впрочем, нет.

Наверное, масок было не много. Предположим, что безумие оказалось *единственной* доступной

---

[105] Примечания: 105

«Гамлет», акт III, сцена 2 *(пер. Б. Пастернака и А. Радловой).*

маской (что скажете, Марина?), и в данном случае выбор Гамлета становится понятен. Прекраснейший, рассудительный, обаятельный… принц датский, как я всегда о нем говорю. Несчастное детство, конечно. Очень несчастное. Но если быть несчастным означает быть безумным, тогда бы мы все были безумцами. [*Снимает туфли и чешет ноги.*] Я утомил вас? Надеюсь, нет, потому что сейчас я перехожу к вашей роли. [*Вскакивает.*] Но Офелия *сходит* с ума, а это неинтересно. Бредит о цветах. Гамлет был к ней невнимателен. Бедная девочка. Гамлет вонзил клинок в живот ее отцу. Правда, его мать действовала ему на нервы. К тому же, он думал, что за пологом — крыса. [*Берет кочергу с камина и размахивает ею, как шпагой.*] И ушла она под воду. Вы что-нибудь смыслите в безумии, Марина? Не думаю. Держу пари, вы — большой знаток по части отражения бед. Не до конца, конечно. Я прав? Совсем чу-уть-чу-уть страданий. Ах, европейцы! Вы создали трагедию и думаете, что обладаете монополией. А мы, американцы, — незрелые оптимисты. Верно. Как раз сейчас у меня приступ незрелого оптимизма. Как это освежает! А-а-ах-х-х-х… Еще виски, Марина? Знаете, я видел вашу Офелию по-настоящему безумной только один раз — на

прошлой неделе в Провиденсе, когда вы (что для вас нехарактерно) были настолько рассеянны (не из-за меня ли, что скрежетал зубами рядом с вами за кулисами?), вышли на сцену в четвертом акте с пустыми руками и, ничуть не смутившись, раздали цветы Гертруде, Клавдию и Лаэрту. Невидимые цветы. Отец бы это оценил по достоинству. [*Наливает себе.*] Я говорил, что мой отец кричал попугаем? Помню одно представление «Гамлета» в Натчезе, когда во время сцены безумства Офелии за кулисами кто-то закукарекал — это был, конечно, отец, он взгромоздился на самый верх лестницы. [*Кукарекает.*] Вот так. Так что, дорогая Офелия, будьте осторожны, когда сходите с ума. Это может оказаться заразным Моя мать очень боялась за отца, когда он ездил на гастроли, и в четырнадцать лет меня приставили к нему в качестве костюмера и «компаньона». Не для того, чтобы я учился играть, боже упаси! Актером должен был стать Джонни — наследник.

Отец сказал, что я стану премьер-министром, и поэтому я удивился, когда однажды вечером он пригласил меня отведать вместе с ним Шекспира в Уотербери «Горько», — подумал я. «Очень вкусно», — сказал он. Несколько страниц из «Лира». А Гамлет (мы ведь говорили о Гамлете) — принц,

который должен был (по праву должен был) стать наследником. [*Возвращается к камину.*] Как вы думаете, отец Гамлета был сумасшедшим? По-моему, чистое безумие — обращаться призраком и являться сыну. Но у Гамлета, по крайней мере, не было брата, который мог бы к нему являться. Знаете, после выстрела Джонни выпрыгнул из президентской ложи на сцену и прокричал свою реплику: *«Sic semper»*[106], ну, вы знаете. И сломал себе ногу. [*Прихрамывая, подходит к столу.*] Я хочу выпить еще, Марина. Хорошо? Одним из симптомов приближающегося запоя у моего отца был особый жест, вот такой [*рассекает воздух правой рукой рядом с головой*], и если я пытался помешать ему выпить, что входило в мои обязанности, он делал этот угрожающий жест и орал: «Подите вон, молодой человек, вон! Клянусь Господом, сэр, я отправлю вас на военный корабль, сэр». Полная чушь, как вы видите. Ничто не могло его остановить. Оставалось только раздеть его после всего и убрать за ним блевотину. [*Поднимает бокал.*] За тебя, старый крот! Он был великим актером. Можете поверить на слово, Марина. Поистине великим.

---

[106] Примечания: 106
И так будет всегда *(лат.).*

Он покорил Лондон в роли Ричарда III, когда ему был двадцать один, и его провозгласили соперником и преемником Кина. И он дебютировал в Нью-Йорке через несколько лет в той же роли. Отец в образе горбатого злодея стал частью моей жизни с раннего детства. Когда он выходил на сцену с левой стороны, разражалась целая буря неистовых рукоплесканий. Вначале из-за кулис появлялась его поднятая нога, затем — остальное тело и, наконец, склоненная голова. Он медленно подходил к рампе, задумчиво пиная ногой шпагу, которую заправлял за кушак. Минуло сорок лет, а я по-прежнему слышу ее лязг и чувствую, как три тысячи зрителей, затаив дыхание, ждут, когда он откроет рот. *«Итак, преобразило солнце Йорка в благое лето зиму наших смут»*[107], — мне кажется, отцовский стиль игры был напыщенным и театральным. Во всяком случае, по нынешним меркам. Никто не называл его склонным к самоанализу интеллектуалом, как называют меня. [*Смеется.*] Он слушался своих страхов. Признавал дьявола внутри себя. Отец поклялся не есть мяса, «мертвой плоти», как он его называл, и однажды, нарушив это правило, принес покаяние

[107] Примечания: 107
«Ричард III», акт 1, сцена 1 (пер. М. Донского).

— насыпал в обувь сухого гороха, прибил к ней свинцовые подошвы и прошел пешком всю дорогу от Балтимора до Нью-Йорка. Он считал себя порочным. Он знал (понимал время от времени), что безумен. «Я не умею читать! Я — из приюта! Я не умею читать! Заберите меня в сумасшедший дом!» — закричал он однажды во время представления «Лира» в сиракьюсском «Вайетинге». Его стащили со сцены под довольно многочисленные свистки. Но подобные срывы на сцене случались редко. О! Что я вижу? Я до сих пор в чулках! [*Снова надевает туфли.*] Я болтаю об отце, потому что больно говорить о брате. Когда я говорю о Джонни, я плачу. [*Поднимает руку повелительным жестом.*] Только не сейчас. Подождите. «Убить короля — большое дело, — витийствовал Джонни. — Вот увидишь, скоро фамилию Бут узнают все». Я думал, у Джонни это поза. Как можно принимать актера всерьез? Это же сплошное притворство, тщеславие и хвастовство. Актер всегда стремится быть интересным. Вначале для себя самого. А потом — для других. Вы считаете себя интересной, Марина? [*Ищет бокал.*] Угрозы, предсказания — а мы слышим лишь то, что хотим услышать. Разве жена Линкольна придала значение словам Великого Освободителя, когда

тот рассказал о своем сне, в котором плыл один вниз по темной реке. Нет, они пошли в театр. [*Смеется.*] Джонни уже восторгались. Кто знает, возможно, он добился бы большего успеха, чем я, даже чем отец, если бы не… если бы остался жив. Он был изумителен в романтических ролях. Особенно в роли Ромео. Но только не в роли злодеев — Ричарда III, Яго и шотландского лорда или в роли великих «самообманщиков» — Гамлета и Отелло. Каждую неделю он получал сотни писем от снедаемых любовью женщин и девушек, не говоря уже о записочках от тех женщин, которым посчастливилось снискать его благосклонность. [*Начинает плакать.*] Джонни хотелось любви. [*Вынимает вышитый платок.*] Вы думаете, это актерские слезы? А как же! Разве у актера нет глаз? Если их выколоть, разве из них не польется кровь? Когда это случилось, я играл в бостонском театре. Поначалу решили, что это — семейный заговор, и Юния, моего старшего брата, арестовали, но вскоре выпустили. Меня не задерживали, но за моими передвижениями следила полиция. Всем Бутам угрожала смерть. [*Смотрит на свои руки.*] О политике мы с Джонни спорили, как бешеные, потому что я был за Союз и отмену рабства. Я дважды голосовал за Линкольна. Джонни считал,

что убил тирана. Он надеялся, что его провозгласят героем. Его смерть была мучительной. А Буты теперь навсегда останутся *его* семьей. Что такое актер по сравнению с цареубийцей — да нет же, убийцей святого? Почему меня не линчевали? Я был готов. А когда через много лет кто-то действительно попытался меня убить, — и это не был ненавистник театра, а заядлый театрал, «увлеченный театром душевнобольной», как его окрестили в газетах, — я уже не был готов к этому. Гистриомания, по-моему, так называется эта разновидность безумия. Да вы знаете эту историю. Нет? [*Снова садится.*] Это случилось в Чикаго, в «Маквикере», во время представления «Короля Ричарда II». Некто Марк Грей сидел с пистолетом во втором ярусе. Я находился на сцене, в темнице замка Помфрет, и читал последний монолог печального юного короля:

Живя в тюрьме, я часто размышляю,
—
Как мне ее вселенной уподобить?
Но во вселенной — множество существ,
А здесь — лишь я, и больше никого.

Как сравнивать?[108]

Он выстрелил в меня дважды. Я выжил только потому, что изменил свою привычную позу. На словах *«Как сравнивать?»* я всегда обхватывал голову руками. Но в тот раз, поддавшись внезапному порыву, я выпрямился. [*Встает.*] И что же произошло после того, как бедняга промахнулся? Вот это было представление! Великий трагик — то есть я, Марина, ваш покорный слуга, — спокойно подошел к рампе, указал на этого сумасшедшего, попросил, чтобы его схватили, но не причиняли вреда, ненадолго ушел со сцены, дабы успокоить жену, которая, стоя, как обычно, за кулисами, впала в истерику, вернулся и спокойно закончил спектакль. [*Смеется.*] Все восхищались моим *sang-froid*[109]. Откуда им было знать, что сердце выскакивало у меня из груди? И продолжало бешено колотиться еще целые сутки? Я показал себя, точнее *показался,* храбрецом. Но даже это обернулось против меня. Потому что в нескольких газетах написали, будто я сам подстроил покушение на свою жизнь, чтобы при-

---

[108] Примечания: 108
«Ричард II», акт V, сцена 5 *(пер. М. Донского).*

[109] Примечания: 109
Хладнокровием *(фр.).*

влечь зрителей. Рекламный трюк. Боже правый! Впрочем, общество, в котором все продается и каждое достойное событие *барнумизируется,* не может не превратить всех людей в циников. Публика убедилась бы, что я не нанимал этого сумасшедшего, только в том случае, если бы меня тяжело ранили. Желательно, убили. Тогда бы можно было спокойно говорить о трагическом проклятии семьи Бутов и подобных вещах. [*Наливает себе еще.*] Позже я извлек одну из пуль, пролетевших над головой, из декорации, где она застряла, и вставил в золотую гильзу с надписью «Эдвину Буту — от Марка Грея», которую я ношу как талисман на цепочке от часов. Хотите взглянуть на эту зловещую реликвию? [*Вынимает часы.*] Черт возьми, уже поздно. А я еще не устал. Ваше присутствие, Марина… взбодрило меня. Так когда, вы сказали, видели меня в первый раз в «Калифорнии», двенадцать, тринадцать лет назад? Тогда я был намного лучше. Намного, намного лучше. Вы склонны к восторгам, не правда ли? Я тоже. Так выпьем же за Генри Ирвинга. Нет, вы не правы. Он — *очень* хороший актер. Его Гамлет, возможно, даже лучше моего. [*Поднимает бокал.*] Не выпьете за Ирвинга? Боже, да вы преданная женщина. Я почти тронут. Не сказал

бы, что мой Гамлет лишен достоинств. В действительности, у меня на счету — один небольшой сценический эффект для этого ополоумевшего датчанина. Когда я готовился играть Гамлета в «Уинтер-Гарден», то купил шпагу с украшенным драгоценностями эфесом, принес ее домой и повесил у себя в ногах над кроватью. Ночью я постоянно вставал, жег спички, чтобы взглянуть на нее, и менял ее положение, пока меня вдруг не осенило, что — *«О силы неба, защитите нас!..»*[110] — меч — это на самом деле крест, и его можно использовать, подняв эфес высоко вверх, для защиты Гамлета от призрака отца. Конечно, если мы будем чересчур оригинальными, то угробим Шекспира. Но чу-уть-чу-уть оригинальности, как сказали бы вы, Марина… Я был оригинальным и очень безумным принцем датским. Говорят, однажды миссис Дэвид Гаррик пришла к Кину и сказала: «Дэви делал одну удивительную вещь, а вы ее не делаете. Он переворачивал стул, когда являлся призрак». Кин попытался это сделать; заметив призрака, он встал, приставил каблук к ножке стула и опрокинул его. Но у него не получилось как следует. Он постоянно спрашивал

---

[110] Примечания: 110
«Гамлет», акт I, сцена 4 *(пер А. Радловой).*

себя: «Я правильно все делаю?» Роковая ошибка! [*Переворачивает стул.*]Видите ли, ничего нельзя повторить. Вы можете переворачивать стул до второго пришествия, но никогда не сделаете этого так же, как Гаррик. [*Опрокидывает пинком еще один стул.*] Не хотите попробовать? Сейчас такой жест можно сделать и женщине. Почему бы убитой горем Офелии не перевернуть стул? Поторопитесь, Марина, если хотите украсть у меня эту идею. Современная жизнь ускоряется. Никогда к этому не привыкну. Да мне это и не нужно. И вам тоже. В молодости у меня был один театральный режиссер из Калифорнии, который считал, что на репетиции нужно постоянно выкрикивать: «Быстрее! Хватит в бирюльки играть! Больше жизни! Не ждите подсказок!» Хотелось бы мне увидеть, как он репетирует «Гамлета». Ведь там нужно играть не спеша. *«Какой же… я… холоп… и негодяй!»*[111] Я вернулся на сцену из-за слабости. После… несчастья, учитывая ту оправданную ненависть, которую вызывала у всех фамилия Бут, я решил оставить сцену навсегда. Моя отставка продолжалась меньше полугода. Нужно было зарабатывать на жизнь.

---

[111] Примечания: 111
«Гамлет», акт II. сцена 2 *(пер Б. Пастернака).*

Друзья же говорили, что я должен вернуться во имя Театра. Меня даже обвиняли в трусости. А я хотел, чтобы люди могли подумать о чем-нибудь другом, слыша фамилию Бут. Я вернулся сюда, в «Уинтер-Гарден», в роли Гамлета. Пять лет я слепо подражал Джонни. А затем совершил безрассудный поступок — открыл храм театрального искусства. Конечно, у нас никогда не будет такого национального театра, как во Франции, но мы могли бы иметь театр с серьезным актером во главе, и художественная ценность ставилась бы в нем выше коммерческого успеха. Х-ха! Вы знаете, сколько просуществовал Театр Бута. Либо я полный идиот в бизнесе, либо подобные предприятия не для Америки. Либо и то и другое. Да, и то и другое. [*Набирает дров из ведерка.*]

И однажды поздней ночью, вместе с театральным плотником, которого я позвал на помощь, я бросил всю одежду Джонни, все его книги, сувениры и наряды из сценического гардероба (некоторые костюмы достались ему в наследство от отца) в пылающую печь в подвале театра. Там были дневники Джонни и целые связки писем от разных женщин. [*Бросает дрова в камин.*]Женщины любили Джонни. Его голова, шея и плечи были поистине прекрасны, и бледная кожа цвета

слоновой кости, густые темные волосы, тяжелые веки лучистых глаз, полные губы… [*Ворошит дрова кочергой.*] В Бутах есть что-то восточное. Отец хвастал, что мы наполовину евреи — что его дедушка Джон Бут был серебряных дел мастером, еврейские предки которого, по фамилии Бет, были изгнаны из Португалии. Мне это нравилось. Возможно даже, что это правда. [*Поворачивается к Марыне.*] Отец был очень низкорослым, как я. И кривоногим. Вон там висит его портрет. Нет, не вставайте. [*Снимает его со стены и подносит к сидящей Марыне.*] Губы у отца были ровные, а не изогнутые, как изображено здесь. Красивый орлиный нос считался самой благородной чертой его лица, но, когда мне было десять лет и я еще жил на ферме близ Балтимора вместе с матушкой, братьями и сестрами, отец подрался с хозяином конюшни в Чарльстоне, где тогда выступал. [*Вешает картину обратно на стену. Возвращается к камину. Облокачивается на каминную полку.*] Как вы поняли, у отца была сломана переносица. Уильям Уинтер опустил этот изъян чуть ниже. Но вы же знаете, насколько точны критики. «Кротики», как называла их моя Эдвина, когда была маленькой. «Не волнуйся о кротиках, папа». Они ничем не лучше публики. Ублажать публику,

презирать публику. Нет. Нужно ненавидеть публику. Наверное, мне нужно быть благодарным за то, как меня приняли обратно после… 1865 года. Но я не чувствую благодарности. Они могут лизать вам лицо. Реветь и пускать слюни… держу пари, что над «Ист-Линн» было пролито больше слез, чем за всю Гражданскую войну… а потом отрубят вам голову. [*Плюет в камин.*] Неужели они и вправду все это чувствуют? Тогда они уж точно идиоты. Тем больше оснований у актера не заботиться об искренности. Порой я уповаю на вдохновение. Но никогда не стремлюсь прочувствовать роль. Экая блажь! Во всяком случае, невозможно до бесконечности покорять вершины вдохновения, не прибегая к разрушительным действиям. Однажды я умудрился помочиться, когда стоял в могиле Офелии, и никто этого даже не заметил, кроме ошарашенного Лаэрта. А в другой раз, умирая на руках Горацио, который со словами: *«Покойной ночи, милый принц!»*[112] — печально прижался ко мне щекой, я зашептал ему на ухо непристойности, и он побелел как полотно. Но так я поступаю только с мужчинами. С женщинами я по-рыцарски благороден и по-

[112] Примечания: 112
«Гамлет», акт V, сцена 2 *(пер. А. Кронеберга).*

кровительственен. [*Садится напротив Марыны и вынимает сигару из хумидора на маленьком столике рядом со стулом.*] Не хотите попробовать? Вы уверены? Сколько штук выкурили в своей жизни? [*Подкуривает сигару.*] Не больше одной, правда ведь? Но на одной нельзя построить мнение. Ко всему нужно привыкнуть — и к огорчениям, и к удовольствиям. [*Роняет сигару на ковер.*] Нет-нет, не беспокойтесь. [*Вскакивает.*] Я не собираюсь поджигать дом. [*Бросает сигару в камин.*] Голова немного закружилась. Да, лучше сесть. [*Садится рядом с ней.*] Вы не боитесь старину Неда? Как видите, он не опасен. Пьяный старина Нед. [*Берет ее за руку.*] Нечего бояться, что наш вечерний *tête-a-tête может перерасти в corps-à-corps*[113]. Ах, вы улыбнулись. Мой нелепый французский? Пытаюсь произвести на вас впечатление. Вы же, европейцы, знаете французский с пеленок, не так ли? Зато у нас есть Шекспир. Шекспир делает нас добродетельными. Его король Генрих VIII говорит: *«Сказал удачно — будто сделал славно!»*[114] Шекспир чуть не сделал меня добродетельным. Как бы низок я

[113] Примечания: 113
Букв.: «тело к телу» *(фр.).*

[114] Примечания: 114
«Генрих VIII», акт II, сцена 2 *(пер. В. Томашевского).*

был без него! Благодаря его словам я всегда могу перенестись на более высокий уровень. Но потом думаю: «Увидев себя самого в Шекспире, я разрушил его. Шекспир отравлен мною. Я убил Шекспира». А потом думаю: «Нет, безумец, что ты несешь? [*Хлопает себя полбу.*] Это же не ты, а Шекспир». Шекспир слишком хорош для нас. Что может означать сейчас этот словесный рай для Америки? Какая польза демократии от прекрасного и возвышенного в искусстве? Никакой, абсолютно никакой. Важно то, что я имел ошеломительный успех. Я зарабатывал кучу денег и стремительно тратил их на различные дурацкие авантюры, например на свой театр. Я увяз в зыбучих песках народной любви и проводил свою жизнь в мечтах. Вот, Марина, перед вами панорама моей души. [*Встает.*] Мне уже лучше. Нет, я постою. Марина, у меня взрослая дочь. А у вас — сын в университете. Надеюсь, он не захочет стать актером. Не дайте расцвести древу таланта. Срубите его, женщина. Срубите! [*Пошатывается.*] Нет, все в порядке. Вы не думали вернуться в Польшу, нет? Никогда не нужно возвращаться. Никогда. Нет-нет… Мне надо просто опереться. [*Подходит к каминной полке.*] Вот тема для нас! Может ли женщина быть великой актрисой?

Нед говорит: «Нет, коль скоро она стремится быть образцом женственности». В вас есть что-то ласковое, успокаивающее, Марина. Наверное, это есть во всех великих актрисах, возможно, за исключением Бернар (не морщитесь, женщина!), если не считать того, что ее потуги не быть ласковой кажутся совершенно театральными. Домашние львята, это же надо! Спит в обитом атласом гробу. Не верю. Но она утверждает, что спит. Нет, великий актер неистов, он редко бывает любезным, он глубоко… обозлен. Где же ваша ярость, Марина? [*Берет кочергу и угрожающе заносит ее.*] В вас не чувствуется опасности, Марина. Вы не признали своего краха. Вы просто играли, торговались с ним. Вы продали душу за то, чтобы думать время от времени, будто вы счастливы. Да, Марина, продали душу. Как вы проницательны, Эдвин! [*Размахивает кочергой.*] Конечно, вы не об этом думаете. Вы чувствуете, что я нападаю на вас. И я действительно нападаю. Это право того, кто признал *свой* крах. [*Ставит на место кочергу.*] Ах, Марина, нужно научить вас проклинать. К вашим безмятежным чертам не мешало бы добавить характер. [*Начинает ходить взад и вперед.*] Не бойтесь поражения, Марина. Это идет на пользу душе. Господи, какая

аморальная у нас профессия! Мы думаем, что отстаиваем правду и красоту, а на самом деле поощряем тщеславие и ложь. О, вам кажется, что я говорю сейчас сли-и-ш-шком по-американски. Да, я американец. И вы теперь тоже, отрекшаяся от престола польская королева, и если вы не будете осторожны, то старые новоанглийские истины настигнут и вас. Вы даже не заметите, как вас собьют с толку и вы станете мрачной и придирчивой. Но вам нравится Калифорния — хороший знак для европейца. Так что, возможно, вы — исключение. Сомневаюсь, что я когда-нибудь приму ваше приглашение приехать к вам на ранчо. Калифорния мне больше не по душе. Я хочу сидеть взаперти, в тесноте, в душном городе. Расскажите о вашем тамошнем муже. Когда он приезжал на нашу неделю в Миссури, вы так мило смотрелись вместе. [*Берет маленькую фотокарточку со стола.*]

Вот еще один снимок. Мать Эдвины. Мэри. Моя первая жена была ангелом. Знаете, что такое ангел? Это женщина, которая думает только о своем муже. Моя вторая сошла с ума. В последние годы своей несчастной жизни она была уверена, что я где-то прячу другую жену, с которой по-настоящему счастлив. Ах, если бы это было

правдой! У моего отца было две жены. Одну он бросил в Англии, а вторая — моя мать. [*Кладет фотокарточку на стол.*] Вам нравятся счастливые концовки, Марина? Я всеми силами борюсь с ними. Да, борюсь. Вероятно, вам нравится, как в течение сотни лет коверкали «Короля Лира» в Англии и Америке: шут изгнан, у Эдгара и Корделии — роман, Лир и Корделия остаются живы. Одна из немногих вещей, которыми я горжусь, — я положил этому конец. Не люблю счастливые концовки. Ненавижу. Но только потому, что их не существует. [*Садится. Берет Марыну за руку.*] В последнем акте должна наступать разрядка, вы так не думаете? Как в жизни. Старость — это разрядка. Смерть, если повезет, тоже разрядка. Кто станет упрекать пьесу в том, что она не заканчивается на самой высокой ноте? «Гамлет» не может заканчиваться словами умирающего Гамлета, верно, Марина? Должен выйти Фортинбрас и отвлечь внимание публики от жалкой участи Гамлета. Затем мы можем его оплакать, если захотим. Или не оплакать. [*Снова встает.*] Уже поздно, чувствуется разрядка? Скоро полночь. *«Ужель боюсь я? Кого, себя? Здесь больше нико-*

го»[115], — как говорит король Дик, когда к нему приходят призраки на Босуортском поле. Мне не хочется отпускать вас, Марина. *«Мы слышали звон колокола в ночи, мистер Шеллоу!..»*[116], но американцы никогда его не слышали. Должно быть, вы слышали звон колокола в ночи у себя в Польше, Марина. Но у нас в Америке в ночи не звонят. Мне хотелось бы прожить один день — хотя бы день, за который я не вспомнил бы ни одной строчки Шекспира! Пора сделать последний, разряжающий глоток. [*Наливает себе еще виски.*] Это неправда, что шекспировские строки постоянно теснятся у меня в голове. Бывают дни, когда я не думаю ни о чем, если не говорю и не декламирую. Я пью. Сплю. Хожу. Мрачнею. Дайте руку, Марина. Нет, у меня есть задумка получше. Закройте глаза, Марина. Не бойтесь. И гоп-ля, абракадабра! — или какую там еще тарабарщину выкрикивают фокусники. Откройте глаза. А вот и череп. [*Размахивает им.*] Мой череп Йорика. Это не черепок обычного бедолаги, Марина, который выкопали на кладбище бродяг и продали театру. Это череп преступника. Я даже знаю его имя. Фи-

---

[115] Примечания: 115
«Ричард III», акт V, сцена 3 *(пер. М. Донского).*

[116] Примечания: 116
«Генрих IV» часть 2, акт III, сцена 2.

ло Перкинс. Повешен за конокрадство. Никакой милости, ниспадающей теплым дождем, и так далее. И знаете, каким было его последнее желание, когда этот несчастный поднялся на эшафот? Чтобы с его головы, после того как ее снесут с плеч, аккуратно сняли кожу, а череп отослали в качестве подарка, с поклоном, великому трагику Юнию Бруту Буту (понятно, где подарок можно было использовать). Да, этот конокрад оказался заядлым театралом. Большим поклонником отца, на которого он ходил смотреть при любой возможности. И его палачи благородно выполнили просьбу, и эта серенькая штуковина многие годы служила моему отцу черепом Йорика, а затем перешла ко мне. А еще говорят, что американцы ничего не смыслят в серьезном театре! Ну-ну, ну-ну… [*Кладет череп посредине ковра. Отходит назад и смотрит на него.*] Страдаю ли я? Я слышу, как люди шепчутся у меня за спиной. Бедный Эдвин Бут. Бедный Эдвин Бут. И я не хочу их разочаровывать. Поэтому я страдаю. Такова моя роль. Всю жизнь угрюмый, терзаемый горем. Я был бы подлинным чудовищем, если бы не страдал. Но я не возражаю быть подлинным чудовищем. Смерть Мэри. Смерть… Джонни. Возможно, я вообще не страдал. Просто стал очень тонким,

как страничка в книге. Если вы можете сказать: «Я страдаю», значит, вы не страдаете по-настоящему, Марина. Вы — актер. [*Ставит лампу на ковер рядом с черепом.*] Иногда мне кажется, что я просто становлюсь собственным отцом. Что все те процессы, которые делают меня все больше и больше похожим на отца, набирают силу и скорость и устремляются к обрыву, подобно водопаду, а затем они сбросят меня в темную, мутную воду, и я утону в его безумии. Если только прежде не умру. Уж об этом-то я позабочусь. Невзирая на то что Всевышний наложил Свой запрет на самоубийство… Я играю, Марина. Наверное, вы заметили. Ох уж этот Нед! Никогда не говорит того, что думает. Я не покончу с собой. Слишком труслив. Отец умирал один, совсем один. Мне уже было девятнадцать. Он оставил меня в Сан-Франциско. В Новом Орлеане сел на миссисипское речное судно, отправлявшееся в Цинциннати; на пятый день поездки упал навзничь — вот так. [*Валится на пол.*] Нет, не помогайте мне. Я потерял счет времени и событий, живу, как в тумане. Мне говорят, что я играю лучше, чем обычно. Это неправда. Да, Фило? [*С трудом поднимается.*] Но сегодня, мне кажется, мы играли довольно хорошо. И вы согласились пойти со мной в клуб.

Я могу пригласить почтенную женщину к себе домой, потому что живу в актерском клубе. Но это — мой дом, как вы знаете, и вы находитесь в моей частной квартире. Можно дотронуться до вашего лица? Все равно дотронусь, нравится вам это или нет. Я вижу, вам нравится. Вы чертовски привлекательны, Марина. [*Икает.*] Я же говорил, что я не Ромео. [*Еще раз икает.*] Страданий ровно столько, сколько вы способны вынести, а затем наступает комедия желаний. Или не наступает. *«Кто женщину вот этак обольщал? Кто женщиной овладевал вот этак?..»*[117] Лучше бы я потратил столько времени на то, чтобы выучить названия созвездий, а не великие роли эвонского барда. Когда опускаешься во тьму, Марина, становится трудно представить, что, когда ты уйдешь, свет по-прежнему будет сиять. Да, как только мы понимаем, действительно понимаем, что умрем, астрономия становится единственным утешением. Взгляните на небесный театр, Марина. [*Распахивает окно.*] Померзнем немного. Снег идет. Скоро вам захочется обратно в «Кларендон». Взгляните на звезды, Марина. На деревья и огни, что выстроились вдоль авеню. Вы озябли?

---

[117] Примечания: 117
«Ричард III», акт I, сцена 2 *(пер. М. Донского).*

Хотите, чтобы кто-нибудь вас согрел? Пойдемте в спальню, Марина. Я поделюсь с вами одним секретом. Рядом с моей кроватью стоит портрет Джонни в рамочке. Можете лечь вместе со мной. Возможно, я не так уж пьян и еще смогу заняться с вами любовью. [*Марына стоит.*] Да, прижмитесь ко мне. Нет, черт возьми, я прижмусь к вам. Погодите, погодите. Возможно, вам интересно, откуда я столько о вас знаю. Но я же *играл* с вами, женщина! Я видел, как вы притворяетесь. Нет ничего более откровенного. Вы обнажены передо мной, словно моя невеста. А я — ваш муж по искусству. Ваш пожилой муж. Ваш дряхлый, слабоумный муженек. Ваш приземистый, тонкогубый, гладковолосый, сумасшедший…

— Ну хватит, Эдвин, — сказала она. — Дорогой Эдвин.

— Ах, женское милосердие. Совершенно не заслуживаю. И с величайшей благодарностью принимаю. Великодушный, благожелательный, непостижимый женский призыв остановиться.

— Перестаньте, Эдвин.

— Я перестану. На самом деле, мне хотелось обсудить один эффект, если вы не возражаете. После того, как вы выходите и Порция говорит мне. То есть в тот момент, когда Шейлок говорит

вам, Порции… Кажется, Марина, можно бы улучшить эту сцену. Не знаю, наверное, вы все-таки *можете* прикоснуться ко мне Я не такой уж ярый противник нововведений. И не настолько привержен традиции. К тому же терпеть не могу пустых повторений. Но я ненавижу импровизацию. Актер не должен ничего *выдумывать*. Давайте пообещаем друг другу, здесь и сейчас, всегда предупреждать, если собираемся внести что-то новое, хорошо? Нам еще предстоит долгое турне.